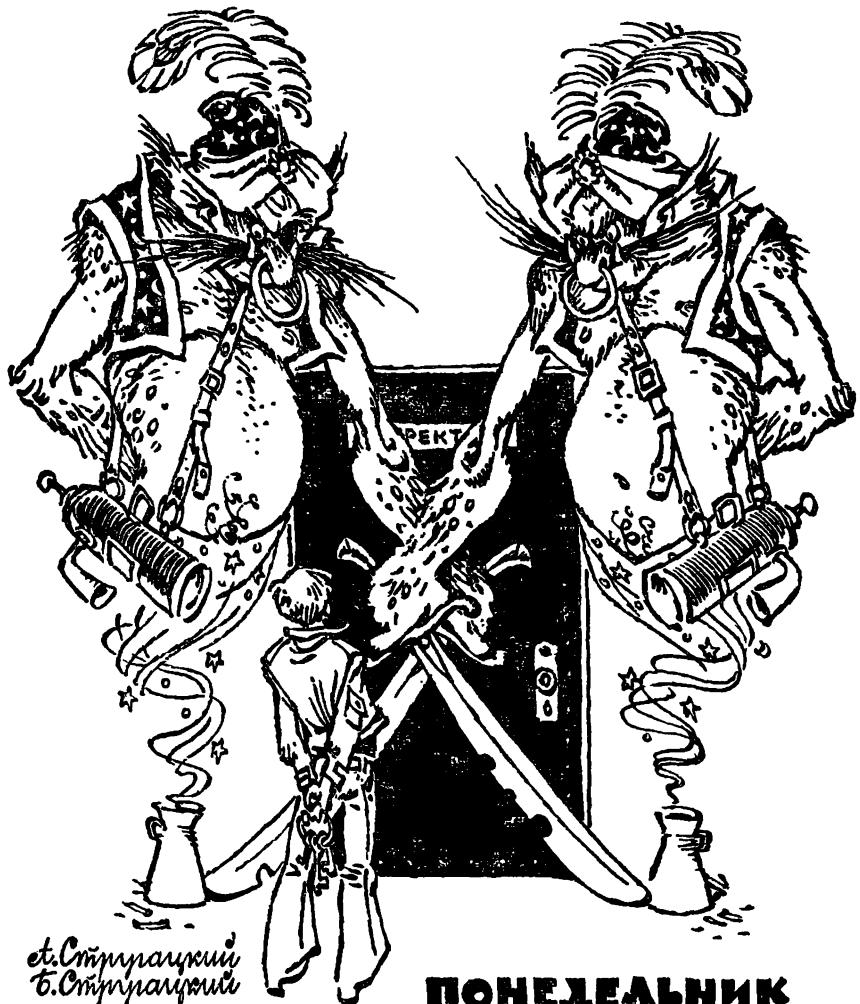


а. Стругацкий
б. Стругацкий

**ПОНЕДЕЛЬНИК
НАЧИНАЕТСЯ в СУББОТУ**

Л





д. Стругацкий
б. Стругацкий

**ПОНЕДЕЛЬНИК
НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ**

Фантастические повести

МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1979

P2
C87

**Рисунки
Е. МИГУНОВА**

Стругацкий А., Стругацкий Б.

C87 Понедельник начинается в субботу. Фантастические повести. Худ. Е. Мигунов. М., «Дет. лит.», 1979. 320 с. ил.

В пер. 70 к.

Фантастическая повесть «Понедельник начинается в субботу» рассказывает о современной науке, об ученых и о том, что уже в наше время человек совершает самые на первый взгляд фантастические открытия и подвиги.

«Парень из пренсподней» показывает обреченность темных сил реакции.

**70803—078
С М101(03)79 89Р—78**

P2

**© ИЛЛЮСТРАЦИИ.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1979 г.**

ПОНЕДЕЛЬНИК
НАЧИНАЕТСЯ
В СУББОТУ



СКАЗКА
для научных сотрудников
среднего возраста



Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты, признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно... нет, нет, совсем не понимаю.

H. B. Гоголь



ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

Света вокруг дивана

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Учитель: Дети, запишите предложение: «Рыба сидела на дереве».

Ученик: А разве рыбы сидят на деревьях?

Учитель: Ну... Это была сумасшедшая рыба.

Школьный анекдот

Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня, прижимаясь к самой дороге, зеленел лес, изредка уступая место полянам, поросшим желтой осокой. Солнце садилось уже который час, все никак не могло сесть и висело низко над горизонтом. Машина катилась по узкой дороге, засыпанной хрустящим гравием. Крупные камни я пускал под колесо, и каждый раз в багажнике лязгали и громыхали пустые канистры.

Справа из леса вышли двое, ступили на обочину и остановились, глядя в мою сторону. Один из них поднял руку. Я сбросил газ, их рассматривая. Это были, как мне показалось, охотники, молодые люди, может быть, немногого старше меня. Их лица понравились мне, и я остановился. Тот, что поднимал руку, просунул в машину смуглое горбоносое лицо и спросил улыбаясь:

— Вы нас не подбросите до Соловца?

Второй, с рыжей бородой и без усов, тоже улыбался, выглядывая из-за его плеча. Положительно, это были приятные люди.

— Давайте садитесь,— сказал я.— Один вперед, другой назад, а то у меня там барабан, на заднем сиденье.

— Благодетель! — обрадованно произнес горбоносый, снял с плеча ружье и сел рядом со мной.

Бородатый, нерешительно заглядывая в заднюю дверцу, сказал:

— А можно, я здесь немножко того?..

Я перегнулся через спинку и помог ему расчистить место, занятое спальным мешком и свернутой палаткой. Он деликатно уселся, поставив ружье между коленей.

— Дверцу прикройте получше,— сказал я.

Все шло, как обычно. Машина тронулась. Горбоносый повернулся назад и оживленно заговорил о том, что много приятнее ехать в легковой машине, чем идти пешком. Бородатый невнятно соглашался и все хлопал и хлопал дверцей. «Плащ подберите,— посоветовал я, глядя на него в зеркало заднего вида.— У вас плащ защемляется». Минут через пять все, наконец, устроилось. Я спросил: «До Соловца километров десять?» — «Да,— ответил горбоносый.— Или немножко больше. Дорога, правда, неважная — для грузовиков».— «Дорога вполне приличная,— возразил я.— Мне обещали, что я вообще не проеду».— «По этой дороге даже осенью можно проехать».— «Здесь — пожалуй, но вот от Коробца — грунтовая».— «В этом году лето сухое, все подсохло».— «Под затонью, говорят, дожди»,— заметил бородатый на заднем сиденье. «Кто это говорит?» — спросил горбоносый. «Мерлин говорит». Они почему-то засмеялись. Я вытащил сигареты, закурил и предложил им угощаться. «Фабрика Клары Цеткин,— сказал горбоносый, разглядывая пачку.— Вы из Ленинграда?» — «Да».— «Путешествуете?» — «Путешествую,— сказал я.— А вы здешние?» — «Коренные»,— сказал горбоносый. «Я из Мурманска»,—

сообщил бородатый. «Для Ленинграда, наверное, что Соловец, что Мурманск — одно и то же: Север», — сказал горбоносый. «Нет, почему же», — сказал я вежливо. «В Соловце будете останавливаться?» — спросил горбоносый. «Конечно, — сказал я. — Я в Соловец и еду». — «У вас там родные или знакомые?» — «Нет, — сказал я. — Просто подожду ребят. Они идут берегом, а Соловец у нас — точка рандеву».

Впереди я увидел большую россыпь камней, притормозил и сказал: «Держитесь крепче». Машина затряслась и запрыгала. Горбоносый ушиб нос о ствол ружья. Мотор взревывал, камни били в днище. «Бедная машина», — сказал горбоносый. «Что делать...» — сказал я. «Не всякий поехал бы по такой дороге на своей машине». — «Я бы поехал», — сказал я. Рассыпь кончилась. «А, так это не ваша машина», — догадался горбоносый. «Ну откуда у меня машина! Это прокат». — «Понятно», — сказал горбоносый, как мне показалось, разочарованно. Я почувствовал себя задетым. «А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта». — «Да, конечно», — вежливо согласился горбоносый. «Глупо, по-моему, делать из машины идола», — заявил я. «Глупо, — сказал бородатый. — Но не все так думают». Мы поговорили о машинах и пришли к выводу, что если уж покупать что-нибудь, так это ГАЗ-69, но их, к сожалению, не продают. Потом горбоносый спросил: «А где вы работаете?» Я ответил. «Колоссально! — воскликнул горбоносый. — Программист! Нам нужен именно программист. Слушайте, бросайте ваш институт и пошли к нам!» — «А что у вас есть?» — «Что у нас есть?» — спросил горбоносый, поворачиваясь. «Алдан-3», — сказал бородатый. «Богатая машина», — сказал я. — И хорошо работает?» — «Да как вам сказать...» — «Понятно», — сказал я. «Собственно, ее еще не отладили, — сказал бородатый. — Оставайтесь у нас, отладите...» — «А перевод мы вам в два счета устроим», — добавил горбоносый. «А чем вы занимаетесь?» — спросил я. «Как и вся наука, — сказал горбоносый. — Счастьем человеческим». — «Понятно, — сказал я. — Что-нибудь с космосом?» — «И с космосом тоже», — сказал горбоносый. «От добра добра не ищут», — сказал я. «Столичный город и приличная зарплата», — сказал бородатый негромко, но я услышал. «Не надо, — сказал я. — Не надо мерять на деньги». — «Да нет, я пошутил», — сказал бородатый. «Это он так шутит, — сказал горбоносый. — Интереснее, чем у нас, вам нигде не будет». —

«Почему вы так думаете?» — «Уверен». — «А я не уверен». Горбоносый усмехнулся. «Мы еще поговорим на эту тему, — сказал он. — Вы долго пробудете в Соловце?» — «Дня два максимум». — «Вот на второй день и поговорим». Бородатый заявил: «Лично я вижу в этом перст судьбы — шли по лесу и встретили программиста. Мне кажется, вы обречены». — «Вам действительно так нужен программист?» — спросил я. «Нам позарез нужен программист». — «Я поговорю с ребятами, — пообещал я. — Я знаю недовольных». — «Нам нужен не всякий программист», — сказал горбоносый. — Программисты — народ дефицитный, избаловались, а нам нужен небалованный». — «Да, это сложнее», — сказал я. Горбоносый стал загибать пальцы: «Нам нужен программист: а — небалованный, бэ — доброволец, цэ — чтобы согласился жить в общежитии...» — «Дэ, — подхватил бородатый, — на сто двадцать рублей». — «А как насчет крыльышек? — спросил я. — Или, скажем, сияния вокруг головы? Один на тысячу!» — «А нам всего-то один и нужен», — сказал горбоносый. «А если их всего девяносто?» — «Согласны на девять десятых».

Лес расступился, мы переехали через мост и покатили между картофельными полями. «Девять часов, — сказал горбоносый. — Где вы собираетесь ночевать?» — «В машине переночую. Магазины у вас до которого часа работают?» — «Магазины у нас уже закрыты», — сказал горбоносый. «Можно в общежитии», — сказал бородатый. — У меня в комнате свободная койка». — «К общежитию не подъедешь», — сказал горбоносый задумчиво. «Да, пожалуй», — сказал бородатый и почему-то засмеялся. «Машину можно поставить возле милиции», — сказал горбоносый. «Да ерунда это, — сказал бородатый. — Я несу околесицу, а ты за мной вслед. Как он в общежитие-то пройдет?» — «Да-да, черт, — сказал горбоносый. — Действительно, день не поработаешь — забываешь про все эти штуки». — «А может быть, трангрессировать его?» — «Ну-ну, — сказал горбоносый. — Это тебе не диван. Ты не Кристобаль Хунта, да и я тоже...»

— Да вы не беспокойтесь, — сказал я. — Переночую в машине, не первый раз.

Мне вдруг страшно захотелось поспать на простилях. Я уже четыре ночи спал в спальном мешке.

— Слушай, — сказал горбоносый, — хо-хо! Изнакурнонж!

— Правильно! — воскликнул бородатый. — На Лукоморье его!

— Ей-богу, я переношу в машине,— сказал я.

— Вы переночуете в доме,— сказал горбоносый,— на относительно чистом белье. Должны же мы вас как-то отблагодарить...

— Не полтинник же вам совать,— сказал бородатый.

Мы въехали в город. Потянулись старинные крепкие заборы, мощные срубы из гигантских почерневших бревен, с неширокими окнами, с резными наличниками, с деревянными петушками на крышах. Попалось несколько грязных кирпичных строений с железными дверями, вид которых вынес у меня из памяти полуизвестное слово «лабазы». Улица была прямая и широкая и называлась проспектом Мира. Впереди, ближе к центру, виднелись двухэтажные шлакоблочные дома с открытыми сквериками.

— Следующий переулок направо,— сказал горбоносый.

Я включил указатель поворота, притормозил и свернул направо. Дорога здесь заросла травой, но у какой-то калитки стоял, приткнувшись, новенький «Запорожец». Номера домов висели над воротами, и цифры были едва заметны на ржавой жести вывесок. Переулок назывался изящно: «Ул. Лукоморье». Он был неширок и зажат между тяжелых старинных заборов, поставленных, наверное, еще в те времена, когда здесь шастали шведские и норвежские пираты.

— Стоп,— сказал горбоносый. Я тормознул, и он снова стукнулся носом о ствол ружья.— Теперь так,— сказал он, потирая нос.— Вы меня подождите, а я сейчас пойду и все устрою.

— Право, не стоит,— сказал я в последний раз.

— Никаких разговоров. Володя, держи его на мушке.

Горбоносый вылез из машины и, нагнувшись, протиснулся в низкую калитку. За высоченным серым забором дома видно не было. Ворота были совсем уж феноменальные, как в павловском депо, на ржавых железных петлях в пуд весом. Я с изумлением читал вывески. Их было три. На левой воротине строго блестела толстым стеклом синяя солидная вывеска с серебряными буквами:

НИЧАВО

ИЗБА НА КУРИНЫХ НОГАХ

ПАМЯТНИК СОЛОВЕЦКОЙ СТАРИНЫ

На правой воротине сверху висела ржавая жестяная табличка: «Ул. Лукоморье, д. № 13, Н. К. Горыныч», под нею красовался кусок фанеры с надписью чернилами вкось:

К О Т Н Е Р А Б О Т А Е Т

Администрация

— Какой КОТ? — спросил я.— Комитет Оборонной Техники?

Бородатый хихикнул.

— Вы, главное, не беспокойтесь,— сказал он.— Тут у нас забавно, но все будет в полном порядке.

Я вышел из машины и стал протирать ветровое стекло. Над головой у меня вдруг завозились. Я поглядел. На воротах умашивался, пристраиваясь поудобнее, гигантский — я таких никогда не видел — черно-серый, с разводами кот. Усевшись, он съто и равнодушно посмотрел на меня желтыми глазами. «Кис-кис-кис»,— сказал я машинально. Кот вежливо и холодно разинул зубастую пасть, издал сиплый горловой звук, а затем отвернулся и стал смотреть внутрь двора. Оттуда, из-за забора, голос горбоносого произнес:

— Василий, друг мой, разрешите вас побеспокоить.

Завизжал засов. Кот поднялся и бесшумно канул во двор. Ворота тяжело закачались, раздался ужасающий скрип и треск, и левая воротина медленно отворилась. Появилось красное от натуги лицо горбоносого.

— Благодетель! — позвал он.— Заезжайте!

Я вернулся в машину и медленно въехал во двор. Двор был обширный, в глубине стоял дом из толстых бревен, а перед домом красовался приземистый необъятный дуб, широкий, плотный, с густой кроной, заслоняющей крышу. От ворот к дому, огибая дуб, шла дорожка, выложенная каменными плитами. Справа от дорожки был огород, а слева, посередине лужайки, возвышался колодезный сруб с воротом, черный от древности и покрытый мохом.

Я поставил машину в сторонке, выключил двигатель и вылез. Бородатый Володя тоже вылез и, прислонив ружье к борту, стал прилаживать рюкзак.

— Вот вы и дома,— сказал он.

Горбоносый со скрипом и треском затворял ворота, я же, чувствуя себя довольно неловко, озирался, не зная, что делать.





— А вот и хозяйка! — вскричал бородатый. — По здорову ли, баушка Наина свет Киевна!

Хозяйке было, наверно, за сто. Она шла к нам медленно, опираясь на суковатую палку; волоча ноги в валенках с галошами. Лицо у нее было темно-коричневое; из сплошной массы морщин выдавался вперед и вниз нос, кривой и острый, как ятаган, а глаза были бледные, тусклые, словно были закрыты бельмами.

— Здравствуй, здравствуй, внучек, — произнесла она неожиданно звучным басом. — Это, значит, и будет новый про-

граммист? Здравствуй, батюшка, добро пожаловать!..

Я поклонился, понимая, что нужно помалкивать. Голова бабки поверх черного пухового платка, завязанного под подбородком, была покрыта веселенькой капроновой косынкой с разноцветными изображениями Атомиума и с надписями на разных языках: «Международная выставка в Брюсселе». На подбородке и под носом торчала редкая седая щетина. Одета была бабка в ватную безрукавку и черное суконное платье.

— Таким вот образом, Наина Киевна! — сказал горбоносый, подходя и обтирая с ладоней ржавчину. — Надо нашего нового сотрудника устроить на две ночи. Позвольте вам представить... м-м-м...

— А не надо, — сказала старуха, пристально меня рассматривая. — Сама вижу. Привалов Александр Иванович, одна тысяча девятьсот тридцать восьмой, мужской, русский, член ВЛКСМ, нет, нет, не участвовал, не был, не имеет, а будет тебе, алмазный, дальняя дорога и интерес в казенном доме, а бояться тебе, бриллиантовый, надо человека рыжего, недоброго, а золоти ручку, яхонтовый...

— Гхм! — громко сказал горбоносый, и бабка осеклась. Воцарилось неловкое молчание.

— Можно звать просто Сашей... — выдавил я из себя заранее приготовленную фразу.

— И где же я его положу? — осведомилась бабка.

— В запаснике, конечно, — несколько раздраженно сказал горбоносый.

— А отвечать кто будет?

— Наина Киевна!.. — раскатами провинциального трагика взревел горбоносый, схватил старуху под руку и поволок к дому. Было слышно, как они спорят: «Ведь мы же договорились!..» — «...А ежели он что-нибудь стибрит?..» — «Да тише вы! Это же программист, понимаете? Комсомолец! Ученый!..» — «А ежели он цыкать будет?..»

Я стесненно повернулся к Володе. Володя хихикал.

— Неловко как-то, — сказал я.

— Не беспокойтесь, все будет отлично...

Он хотел сказать еще что-то, но тут бабка дико заорала:

— А диван-то, диван!..

Я вздрогнул и сказал:

— Знаете, я, пожалуй, поеду, а?

— Не может быть и речи! — решительно сказал Володя. — Все уладится. Просто бабке нужна мзда, а у нас с Романом нет наличных.

— Я заплачу, — сказал я. Теперь мне очень хотелось уехать: терпеть не могу этих так называемых житейских коллизий.

Володя замотал головой.

— Ничего подобного. Вон он уже идет. Все в порядке.

Горбоносый Роман подошел к нам, взял меня за руку и сказал:

— Ну, все устроилось. Пошли.

— Слушайте, неудобно как-то, — сказал я. — Она, в конце концов, не обязана...

Но мы уже шли к дому.

— Обязана, обязана, — приговаривал Роман.

Обогнув дуб, мы подошли к заднему крыльцу. Роман толкнул обитую дерматином дверь, и мы оказались в прихожей, просторной и чистой, но плохо освещенной. Старуха ждала нас, сложив руки на животе и поджав губы. При виде нас она мстительно пробасила:

— А расписочку чтобы сейчас же!.. Так, мол, и так: принял, мол, то-то и то-то от такой-то, каковая сдала вышеуказанное нижеподписанному...

Роман тихонько взвыл, и мы вошли в отведенную мне комнату. Это было прохладное помещение с одним окном,

завешенным ситцевой занавесочкой. Роман сказал напряженным голосом:

— Располагайтесь и будьте как дома.

Старуха из прихожей сейчас же ревниво осведомилась:

— А зубом они не цыкают?

Роман, не оборачиваясь, рявкнул:

— Не цыкают! Говорят вам — зубов нет.

— Тогда пойдем расписочку напишем...

Роман поднял брови, закатил глаза, оскалил зубы и потряс головой, но все-таки вышел. Я осмотрелся. Мебели в комнате было немного. У окна стоял массивный стол, накрытый ветхой серой скатертью с бахромой, перед столом — колченогий табурет. Возле голой бревенчатой стены помещался обширный диван, на другой стене, заклеенной разнокалиберными обоями, была вешалка с какой-то рухлядью (ватники, вылезшие шубы, драные кепки и ушанки). В комнату вдавалась большая русская печь, сияющая свежей побелкой, а напротив в углу висело большое мутное зеркало в облезлой раме. Пол был выскошен и покрыт полосатыми половиками.

За стеной бубнили в два голоса: старуха басила на одной ноте, голос Романа повышался и понижался. «Скатерть, инвентарный номер двести сорок пять...» — «Вы еще каждую половицу запишите!..» — «Стол обеденный...» — «Печь вы тоже запишете?..» — «Порядок нужен... Диван...»

Я подошел к окну и отдернул занавеску. За окном был дуб, больше ничего не было видно. Я стал смотреть на дуб. Это было, видимо, очень древнее растение. Кора была на нем серая и какая-то мертвая, а чудовищные корни, вылезшие из земли, были покрыты красным и белым лишайником. «И еще дуб запишите!» — сказал за стеной Роман. На подоконнике лежала пухлая засаленная книга, я бездумно полистал ее, отошел от окна и сел на диван. И мне сейчас же захотелось спать. Я подумал, что вел сегодня машину четырнадцать часов, что не стоило, пожалуй, так торопиться, что спина у меня болит, а в голове все путается, что плевать мне в конце концов на эту нудную старуху и скорее бы все кончилось и можно было бы лечь и заснуть...

— Ну вот, — сказал Роман, появляясь на пороге. — Формальности окончены. — Он помотал рукой с растопыренными пальцами, измазанными в чернилах. — Наши пальчики устали: мы писали, мы писали... Ложитесь спать. Мы уходим, а вы спокойно ложитесь спать. Что вы завтра делаете?

— Жду, — вяло ответил я.

— Где?

— Здесь. И около почтамта.

— Завтра вы, наверное, не уедете?

— Завтра вряд ли... Скорее всего — послезавтра.

— Тогда мы еще увидимся. Наша любовь впереди. —

Он улыбнулся, махнул рукой и вышел.

Я лениво подумал, что надо было бы его проводить и попрощаться с Володей, и лег. Сейчас же в комнату вошла старуха. Я встал. Старуха некоторое время пристально на меня глядела.

— Боюсь я, батюшка, что ты зубом цыкать станешь, — сказала она с беспокойством.

— Не стану я цыкать, — сказал я утомленно. — Я спать стану.

— И ложись, и спи... Денежки только вот заплати и спи...

Я полез в задний карман за бумажником.

— Сколько с меня?

Старуха подняла глаза к потолку.

— Рубль положим за помещение... Полтинничек за постельное белье — мое оно, не казенное. За две ночи выходит три рубли... А сколько от щедрот накинешь — за беспокойство, значит, — я уж и не знаю...

Я протянул ей пятерку.

— От щедрот пока рубль, — сказал я. — А там видно будет.

Старуха живо схватила деньги и удалилась, бормоча что-то про сдачу. Не было ее довольно долго, и я уже хотел махнуть рукой и на сдачу и на белье, но она вернулась и выложила на стол пригоршню грязных медяков.

— Вот тебе и сдача, батюшка, — сказала она. — Ровно рубли, можешь не пересчитывать.

— Не буду пересчитывать, — сказал я. — Как насчет белья?

— Сейчас постелю. Ты выди во двор, прогуляйся, а я постелю.

Я вышел, на ходу вытаскивая сигареты. Солнце, наконец, село, и наступила белая ночь. Где-то лаяли собаки. Я присел под дубом на вросшую в землю скамейку, закурил и стал смотреть на бледное беззвездное небо. Откуда-то бесшумно появился кот, глянул на меня флюoresцирующими глазами, затем быстро вскарабкался на дуб и исчез в темной листве. Я сразу забыл о нем и вздрогнул, когда он завозился где-то наверху. На голову мне посыпался мусор. «Чтоб тебя...» —

сказал я вслух и стал отряхиваться. Спать хотелось необычайно. Из дома вышла старуха, не замечая меня, побрела к колодцу. Я понял это так, что постель готова, и вернулся в комнату.

Бредная бабка постелила мне на полу. Ну, уж нет, подумал я, запер дверь на щеколду, перетащил постель на диван и стал раздеваться. Сумрачный свет падал из окна, на дубе шумно возился кот. Я замотал головой, вытряхивая из волос мусор. Странный это был мусор, неожиданный: крупная сухая рыбья чешуя. Колко спать будет, подумал я, повалился на подушку и сразу заснул.

ГЛАВА ВТОРАЯ

...Опустевший дом превратился в логово лисиц и барсуков, и потому здесь могут появляться странные оборотни и призраки.

А. УЗДА

Я проснулся посреди ночи оттого, что в комнате разговаривали. Разговаривали двое едва слышным шепотом. Голоса были очень похожи, но один был немного сдавленный и хрипловатый, а другой выдавал крайнее раздражение.

— Не хрипи,— шептал раздраженный.— Ты можешь не хрипеть?

— Могу,— отозвался сдавленный и заперхал.

— Да тише ты...— прошипел раздраженный.

— Хрипунец,— объяснил сдавленный.— Утренний кашель курильщика...— Он снова заперхал.

— Удались отсюда,— сказал раздраженный.

— Да все равно он спит...

— Кто он такой? Откуда свалился?

— А я почём знаю?

— Вот досада... Ну просто феноменально не везет.

Опять соседям не спится, подумал я спросонья. Я вообразил, что я дома. Дома у меня в соседях два брата-физика, которые обожают работать ночью. К двум часам пополуночи у них кончаются сигареты, и тогда они забираются ко мне в комнату и начинают шарить, стучать мебелью и перегугиваясь.

Я схватил подушку и швырнул в пустоту. Что-то с шумом обрушилось, и стало тихо.

— Подушку верните, — сказал я, — и убирайтесь вон. Сигареты на столе.

Звук собственного голоса разбудил меня окончательно. Я сел. Уныло лаяли собаки, за стеной грозно хранила старуха. Я, наконец, вспомнил, где нахожусь. В комнате никого не было. В сумеречном свете я увидел на полу свою подушку и барахло, рухнувшее с вешалки. «Бабка голову оторвет», — подумал я и вскочил. Пол был холодный, и я переступил на половики. Бабка перестала хранить. Я замер. Потрескивали половицы, что-то хрустело и шелестело в углах. Бабка оглушительно свистнула и захрапела снова. Я поднял подушку и бросил ее на диван. От рухляди пахло псиной. Вешалка сорвалась с гвоздя и висела боком. Я поправил ее и стал подбирать рухлядь. Едва я повесил последний салоп, как вешалка оборвалась и, шаркнув по обоям, снова повисла на одном гвозде. Бабка перестала хранить, и я облился холодным потом. Где-то поблизости завопил петух. В суп тебя, подумал я с ненавистью. Старуха за стеной принялась вертеться, скрипели и щелкали пружины. Я ждал, стоя на одной ноге. Во дворе кто-то сказал тихонько: «Спать пора, засиделись мы сегодня с тобой». Голос был молодой, женский. «Спать так спать, — отозвался другой голос. Послышался протяжный зевок. — Плескаться больше не будешь сегодня?» — «Холодно что-то. Давай банинки». Стало тихо. Бабка зарычала и заворчала, и я осторожно вернулся на диван. Утром встану пораньше и все поправлю как следует...

Я лег на правый бок, натянул одеяло на ухо, закрыл глаза и вдруг понял, что спать мне совершенно не хочется — хочется есть. Ай-яй-яй, подумал я. Надо было срочно принимать меры, и я их принял.

Вот, скажем, система двух интегральных уравнений типа уравнений звездной статистики; обе неизвестные функции находятся под интегралом. Решать, естественно, можно только численно, скажем, на БЭСМ... Я вспомнил нашу БЭСМ. Панель управления цвета заварного крема. Женя кладет на эту панель газетный сверток и неторопливо его разворачивает. «У тебя что?» — «У меня с сыром и колбасой». С польской полукопченой, кружочками. «Эх ты, жениться надо! У меня котлеты, с чесночком, домашние. И соленый огурчик». Нет, два огурчика... Четыре котлеты и для ровного счета четыре

крепких соленых огурчика. И четыре куска хлеба с маслом...

Я откинулся на краю и сел. Может быть, в машине что-нибудь осталось? Нет, все, что там было, я съел. Осталась поваренная книга для Валькиной мамы, которая живет в Лежневе. Как это там... Соус пикан. Полстакана уксусу, две луковицы... и перчик. Подается к мясным блюдам... Как сейчас помню: к маленьким бифштексам. «Вот подлость, — подумал я, — ведь не просто к бифштексам, а к ма-а-аленьким бифштексам». Я вскочил и подбежал к окну. В ночном воздухе отчетливо пахло ма-а-аленькими бифштексами. Откуда-то из недр подсознания всплыло: «Подавались ему обычные в трактирах блюда, как-то: кислые щи, мозги с горошком, огурец соленый (я глотнул) и вечный слоеный сладкий пирожок...» «Отвлечься бы», — подумал я и взял книгу с подоконника. Это был Алексей Толстой, «Хмурое утро». Я открыл наугад. «Махно, сломав сардиночный нож, вытащил из кармана перламутровый ножик с полусотней лезвий и им продолжал орудовать, открывая жестянки с ананасами (плохо дело, подумал я), французским паштетом, с омарами, от которых резко запахло по комнате». Я осторожно положил книгу и сел за стол на табурет. В комнате вдруг обнаружился вкусный резкий запах: должно быть, пахло омарами. Я стал размышлять, почему я до сих пор ни разу не попробовал омаров. Или, скажем, устриц. У Диккенса все едят устриц, орудуют складными ножами, отрезают толстые ломти хлеба, намазывают маслом... Я стал нервно разглаживать скатерть. На скатерти виднелись неотмытые пятна. На ней много и вкусно ели. Ели омаров и мозги с горошком. Ели маленькие бифштессы с соусом пикан. Большие и средние бифштессы тоже ели. Сыто отдувались, удовлетворенно цыкали зубом...

Отдуваться мне было не с чего, и я принялся цыкать зубом.

Наверное, я делал это громко и голодно, потому что старуха за стеной заскрипела кроватью, сердито забормотала, загремела чем-то и вдруг вошла ко мне в комнату. На ней была длинная серая рубаха, а в руках она несла тарелку, и в комнате сейчас же распространился настоящий, а не фантастический аромат еды. Старуха улыбалась. Она поставила тарелку прямо передо мной и сладко пробасила:

— Откушай-ко, батюшка, Александр Иванович. Откушай, чём бог послал, со мной переслал...

— Что вы, что вы, Наина Киевна, — забормотал я, — зачем же было так беспокоить себя...

Но в руке у меня уже откуда-то оказалась вилка с костяной ручкой, и я стал есть, а бабка стояла рядом, кивала и приговаривала:

— Кушай, батюшка, кушай на здоровье...

Я съел все. Это была горячая картошка с топленым маслом.

— Наина Киевна, — сказал я истово, — вы меня спасли от голодной смерти.

— Поел? — сказала Наина Киевна как-то неприветливо.

— Великолепно поел. Огромное вам спасибо! Вы себе представить не можете...

— Чего уж тут не представить, — перебила она уже совершенно раздраженно. — Поел, говорю? Ну и давай сюда тарелку... Тарелку, говорю, давай!

— По... пожалуйста, — проговорил я.

— «Пожалуйста, пожалуйста»... Корми тут вас за пожалуйста...

— Я могу заплатить, — сказал я, начиная сердиться.

— «Заплатить, заплатить»... — Она пошла к двери. А ежели за это и не платят вовсе? И нечего врать было...

— То есть как это — врать?

— А так вот и врать! Сам говорил, что цыкать не будешь... — Она замолчала и скрылась за дверью.

«Что это она? — подумал я. — Странная какая-то бабка... Может быть, она вешалку заметила?» Было слышно, как она скрипит пружинами, ворочаясь на кровати и недовольно ворчала. Потом она запела негромко на какой-то варварский мотив: «Покатаюся, поваляюся, Ивашкиного мяса поевши...» Из окна потянуло ночным холодом. Я поежился, поднялся, чтобы вернуться на диван, и тут меня осенило, что дверь я перед сном запирал. В растерянности я подошел к двери и протянул руку, чтобы проверить щеколду, но едва пальцы мои коснулись холодного железа, как все поплыло у меня перед глазами. Оказалось, что я лежу на диване, уткнувшись носом в подушку, и пальцами ощупываю холодное бревно стены.

Некоторое время я лежал, обмирая, пока не осознал, что где-то рядом хранит старуха, а в комнате разговаривают. Кто-то наставительно вешал вполголоса:

— Слон есть самое большое животное из всех живущих на земле. У него на рыле есть большой кусок мяса, который называется хоботом потому, что он пуст и протянут, как труба.

Он его вытягивает и сгибает всякими образами и употребляет его вместо руки...

Холодея от любопытства, я осторожно повернулся на правый бок. В комнате было по-прежнему пусто. Голос продолжал еще более наставительно:

— Вино, употребляемое умеренно, весьма хорошо для желудка; но когда пить его слишком много, то производит пары, унижающие человека до степени несмыслинных скотов. Вы иногда видели пьяниц и помните еще то справедливое отвращение, которое вы к ним возымели...

Я рывком поднялся и спустил ноги с дивана. Голос умолк. Мне показалось, что говорили откуда-то из-за стены. В комнате все было по-прежнему, даже вешалка, к моему удивлению, висела на месте. И к моему удивлению, мне опять очень хотелось есть.

— Тинктура экс витро антимонии,— провозгласил вдруг голос. Я вздрогнул.— Магифтериум антимон ангелий салаэ. Бафилии олеум витри антимонии алекситериум антимониалиэ! — Послышалось явственное хихиканье.— Вот ведь бред какой! — сказал голос и продолжал с завыванием: — Вскоре очи сии, еще не отверзаемые, не узрят более солнца, но не попусти закрыться ими без благоутробного извещения о моем прощении и блаженстве... Сие есть «Дух или Нравственные Мысли Славного Юнга, извлеченные из нощных сго размышлений». Продается в Санкт-Петербурге и в Риге в книжных лавках Свешникова по два рубля в папке.— Кто-то всхлипнул.— Тоже бредятина,— сказал голос и произнес с выражением:

Чинь, краса, богатства,
Сей жизни все приятства,
Летят, слабеют, исчезают,
О тлен, и щастье ложно!
Заразы сердце угрывают,
А славы удержать не можно...

Теперь я понял, где говорили. Голос раздавался в углу, где висело туманное зеркало.

— А теперь,— сказал голос,— следующее. «Все — единое Я, это Я — мировое Я. Единение с неведением, происходящее от затмения света, Я исчезает с развитием духовности».

— А эта бредятина откуда? — спросил я. Я не ждал ответа. Я был уверен, что сплю.

— Изречения из «Упанишад», — ответил с готовностью голос.

— А что такое «Упанишады»? — Я уже не был уверен, что сплю.

— Не знаю, — сказал голос.

Я встал и на цыпочках подошел к зеркалу. Я не увидел своего отражения. В мутном стекле отражалась занавеска, угол печи и вообще многое вещей. Но меня в нем не было.

— В чем дело? — спросил голос. — Есть вопросы?

— Кто это говорит? — спросил я, заглядывая за зеркало. За зеркалом было много пыли и дохлых пауков. Тогда я указательным пальцем нажал на левый глаз. Это было старинное правило распознавания галлюцинаций, которое я вычитал в увлекательной книге В. В. Битнера «Верить или не верить?». Достаточно надавить пальцем на глазное яблоко, и все реальные предметы — в отличие от галлюцинаций — раздвоются. Зеркало раздвоилось, и в нем появилось мое отражение — заспанная, встревоженная физиономия. По ногам дуло. Поджимая пальцы, я подошел к окну и выглянул.

За окном никого не было, не было даже дуба. Я протер глаза и снова посмотрел. Я отчетливо видел прямо перед собой замшелый колодезный сруб с воротами, ворота и свою машину у ворот. «Все-таки сплю», — успокоенно подумал я. Взгляд мой упал на подоконник, на расстretchedную книгу. В прошлом сне это был третий том «Хождений по мукам», теперь на обложке я прочитал: «П. И. Карпов. Творчество душевнобольных и его влияние на развитие науки, искусства и техники». Постукивая зубами от озноба, я перелистал книжку и просмотрел цветные вклейки. Потом я прочитал «Стих № 2»:

В кругу облаков высоко
Чернокрылый воробей
Трепеща и одиноко
Парит быстро над землей.
Он летит ночной порой,
Лунным светом освещенный,
И, ничем не удрученный,
Все он видит под собой.
Гордый, хищный, разъяренный
И летая, словно тень,
Глаза светятся как день.

Пол вдруг качнулся под моими ногами. Раздался пронзительный протяжный скрип, затем, подобно гулу далекого землетрясения, раздалось рокочущее: «Ко-о... Ко-о... Ко-о...» Изба заколебалась, как лодка на волнах. Двор за окном сдвинулся в сторону, а из-под окна вылезла и вонзилась когтями в землю исполинская куриная нога, провела в траве глубокие борозды и снова скрылась. Пол круто накренился, я почувствовал, что падаю, схватился руками за что-то мягкое, стукнулся боком и головой и свалился с дивана. Я лежал на половиках, вцепившись в подушку, упавшую вместе со мной. В комнате было совсем светло. За окном кто-то обстоятельно откашливался.

— Ну-с, так... — сказал хорошо поставленный мужской голос. — В некотором было царстве, в некотором государстве жил-был царь, по имени... мнэ-э... ну, в конце концов, неважно. Скажем, мнэ-з... Полуэкт... У него было три сына-царевича. Первый... мнэ-э-э... Третий был дурак, а вот первый?..

Пригибаясь, как солдат под обстрелом, я подобрался к окну и выглянул. Дуб был на месте. Спиною к нему стоял в глубокой задумчивости на задних лапах кот Василий. В зубах у него был зажат цветок кувшинки. Кот смотрел себе под ноги и тянул: «Мнэ-э-э...» Потом он тряхнул головой, заложил передние лапы за спину и, слегка сутулясь, как доцент Дубино-Княжицкий на лекции, плавным шагом пошел в сторону от дуба.

— Хорошо... — говорил кот сквозь зубы. — Бывали-живали царь да царица. У царя, у царицы был один сын... мнэ-э... дурак, естественно...

Кот с досадой выплюнул цветок и, весь сморщившись, потер лоб.

— Отчаянное положение, — проговорил он. — Ведь кое-что помню! «Ха-ха-ха! Будет чем полакомиться: конь — на обед, молоц — на ужин...» Откуда бы это? А Иван, сами понимаете — дурак, отвечает: «Эх ты, поганое чудище, не уловивши бела лебедя, да кушаешь!» Потом, естественно — каленая стрела, все три головы долой, Иван вынимает три сердца и привозит, крестин, домой матери... Каков подарочек! — Кот сардонически засмеялся, потом вздохнул. — Есть еще такая болезнь — склероз, — сообщил он.

Он снова вздохнул, повернулся к дубу и запел: «Кря-кря, мои деточки! Кря-кря, голубяточки! Я... мнэ-э... я слезой вас отпаивала... вернее — выпаивала...» Он в третий раз вздохнул и некоторое время шел молча. Поравнявшись с дубом, он вдруг немузыкально заорал: «Сладок кус недоедала!..»

В лапах у него вдруг оказались массивные гусли — и даже не заметил, где он их взял. Он отчаянно ударил по ним лапой и, цепляясь когтями за струны, заорал еще громче, словно бы стараясь заглушить музыку:

Дасс им таннвалд финстер ист,
Дасс махт дас хольте,
Дасс... миэ-э... майн шатц... или катц?..

Он замолк и некоторое время шагал, молча стучал по струнам. Потом тихонько, неуверенно запел:

Ой, бував я в тим садочку,
Та скажу вам всю правочку:
Ото так
Копают мак.

Он вернулся к дубу, прислонил к нему гусли и почесал задней ногой за ухом.

— Труд, труд и труд, — сказал он. — Только труд!

Он снова заложил лапы за спину и пошел влево от дуба, бормоча:

— Дошло до меня, о великий царь, что в славном городе Багдаде жил-был портной по имени... — Он встал на четвереньки, выгнул спину и злобно зашипел: — Вот с этими именами у меня особенно отвратительно! Абу... Али... Кто-то ибн чей-то... Н-ну хорошо, скажем, Полуэкт. Полуэкт ибн... миэ-э... Полуэктович... Все равно не помню, что было с этим портным. Ну и пес с ним, начнем другую...

Я лежал животом на подоконнике и, млея, смотрел, как злосчастный Василий бродит около дуба то вправо, то влево, бормочет, откашливается, подымет, мычит, становится от напряжения



на четверенъки — словом, мучается несказанно. Диапазон знаний его был грандиозен. Ни одной сказки и ни одной песни он не знал больше чем наполовину, но зато это были русские, украинские, западнославянские, немецкие, английские, помимо, даже японские, китайские и африканские сказки, легенды, притчи, баллады, песни, романсы, частушки и припевки. Склероз приводил его в бешенство, несколько раз он бросался на ствол дуба и драл кору когтями, он шипел и плевался, и глаза его при этом горели, как у дьявола, а пушистый хвост, толстый, как полено, то смотрел в зенит, то судорожно подергивался, то хлестал его по бокам. Но единственной песенкой, которую он допел до конца, был «Чижик-пыхик», а единственной сказочкой, которую он связно рассказал, был «Дом, который построил Джек» в переводе Маршака, да и то с некоторыми купюрами. Постепенно — видимо, от утомления — речь его обретала все более явственный кошачий акцент. «А в поли, поли,— пел он,— сам плужок ходэ, а... мнэ-э... а... мнэ-а-а-у!.. а за тым плужком сам... мья-а-у-а-у!.. сам господь ходэ... или бродэ?..» В конце концов он совершенно изнемог, сел на хвост и некоторое время сидел так, понурив голову. Потом тихо, тоскливо мяукнул, взял гусли под мышку и на трех ногах медленно уковылял по росистой траве.

Я слез с подоконника и уронил книгу. Я отчетливо помнил, что в последний раз это было «Творчество душевнобольных», я был уверен, что на пол упала именно эта книга. Но подобрал я и положил на подоконник «Раскрытие преступлений» А. Свенсона и О. Венделя. Я тупо раскрыл ее, пробежал наудачу несколько абзацев, и мне сейчас же почудилось, что на дубе висит удавленник. Я опасливо поднял глаза. С нижней ветки дуба свешивался мокрый серебристо-зеленый акулий хвост. Хвост тяжело покачивался под порывами утреннего ветерка.

Я шарахнулся и стукнулся затылком о твердое. Громко зазвонил телефон. Я огляделся. Я лежал поперек дивана, одеяло сползло с меня на пол, в окно сквозь листву дуба было утреннее солнце.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мне пришло в голову, что обычное интервью с дьяволом или волшебником можно с успехом заменить искусственным использованием положений науки.

Г. ДЖ. УЭЛЛС

Телефон звонил. Я протер глаза, посмотрел в окно (дуб был на месте), посмотрел на вешалку (вешалка тоже была на месте). Телефон звонил. За стеной в комнате у старухи было тихо. Тогда я соскочил на пол, отворил дверь (щеколда была на месте) и вышел в прихожую. Телефон звонил. Он стоял на полочке над большой кадушкой — очень современный аппарат белой пластмассы, такие я видел только в кино и в кабинете нашего директора. Я взял трубку.

- Алло...
- Это кто? — спросил пронзительный женский голос.
- А кого вам надо?
- Это Изнакурнож?
- Что?
- Я говорю, это изба на курногах или нет? Кто говорит?
- Да, — сказал я. — Изба. Кого вам нужно?
- О дьявол, — сказал женский голос. — Примите телефонограмму.
- Давайте.
- Записывайте.
- Одну минутку, — сказал я. — Возьму карандаш и бумагу.
- О дьявол, — сказал женский голос.
- Я принес записную книжку и цанговый карандаш.
- Слушаю вас.
- Телефонограмма номер двести шесть, — сказал женский голос. — Гражданке Горыныч Нацне Киевне...
- Не так быстро... Киевне... Дальше?
- «Настоящим... предлагается... вам... прибыть сегодня... двадцать седьмого июля... сего года... в полночь... на ежегодный республиканский слет...» Записали?
- Записал.
- «Первая встреча... состоится... на Лысой Горе. Форма одежды парадная. Пользование транспортом... за свой счет. Подпись... начальник канцелярии... Ха... Эм... Вий».

- Кто?
- Вий! Ха Эм Вий.
- Не понимаю.
- Вий! Хрон Монадович! Вы что, начальника канцелярии не знаете?
- Не знаю,— сказал я.— Говорите по буквам.
- Дьявольщина! Хорошо, по буквам: Вервольф-Инкуб — Ибикус краткий... Записали?
- Кажется, записал,— сказал я.— Получилось — Вий.
- Кто?
- Вий!
- У вас что, полипы? Не понимаю!
- Владимир! Иван! Иван краткий!
- Так. Повторите телефонограмму.

Я повторил.

- Правильно. Передала Онучкина. Кто принял?
- Привалов.
- С приветом, Привалов! Давно служишь?
- Собачки служат,— сердито сказал я.— Я работаю.
- Ну-ну, работай. На слете встретимся.

Раздались гудки. Я повесил трубку и вернулся в комнату. Утро было прохладное, я торопливо сделал зарядку и оделся. Происходящее казалось мне чрезвычайно любопытным. Телефонограмма странно ассоциировалась в моем сознании с ночных событиями, хотя я представления не имел, каким образом. Впрочем, кое-какие идеи уже приходили мне в голову, и воображение мое было возбуждено.

Все, чему мне случилось быть здесь свидетелем, не было мне совершенно незнакомым, о подобных случаях я где-то что-то читал и теперь вспомнил, что поведение людей, попадавших в аналогичные обстоятельства, всегда представлялось мне необычайно, раздражающе нелепым. Вместо того чтобы полностью использовать увлекательные перспективы, открывшиеся для них счастливым случаем, они пугались, старались вернуться в обыденное. Какой-то герой даже заклинал читателей держаться подальше от завесы, отделяющей наш мир от неведомого, пугая духовными и физическими увечьями. Я еще не знал, как развернутся события, но уже был готов с энтузиазмом окунуться в них.

Бродя по комнате в поисках ковша или кружки, я продолжал рассуждать. Эти пугливые люди, думал я, похожи на некоторых ученых-экспериментаторов, очень упорных, очень

трудолюбивых, но начисто лишенных воображения и поэтому очень осторожных. Получив нетривиальный результат, они шарахаются от него, поспешно объясняют его нечистотой эксперимента и фактически уходят от нового, потому что слишком сжились со старым, уютно уложенным в пределы авторитетной теории... Я уже обдумывал кое-какие эксперименты с книгой-перевертышем (она по-прежнему лежала на подоконнике и была теперь «Последним изгнаником» Олдриджа), с говорящим зеркалом и с цыканьем. У меня было несколько вопросов к коту Василию, да и русалка, живущая на дубе, представляла определенный интерес, хотя временами мне казалось, что она-то мне все-таки приснилась. Я ничего не имею против русалок, но не представляю себе, как они могут лазить по деревьям... хотя, с другой стороны, чешуя?..

Ковшик я нашел на кадушке под телефоном, но воды в кадушке не оказалось, и я направился к колодцу. Солнце поднялось уже довольно высоко. Где-то гудели машины, по слышался милицейский свисток, в небе с солидным гулом проплыл вертолет. Я подошел к колодцу и, с удовлетворением обнаружив на цепи мятую жестяную бадью, стал раскручивать ворот. Бадья, постукивая о стены, пошла в черную глубину. Раздался плеск, цепь натянулась. Я крутил ворот и смотрел на свой «Москвич». У машины был усталый, запыленный вид, ветровое стекло было заляпано разбившейся о него вдребезги мошкой. «Надо будет воды долить в радиатор, — подумал я. — И вообще...»

Бадья показалась мне очень тяжелой. Когда я поставил ее на сруб, из воды высунулась огромная щучья голова, зеленая и вся какая-то замшелая. Я отскочил.

— Опять на рынок поволочешь? — сильно окая, сказала щука. Я ошарашенно молчал. — Дай же ты мне покоя, ненасытная! Сколько можно?.. Чуть успокоюсь, приткнусь отдохнуть да подремать — ташиш! Я ведь не молодая уже, постарше тебя буду... жабры тоже не в порядке...

Было очень странно смотреть, как она говорит. Совершенно как щука в кукольном театре, она вовсю открывала и закрывала зубастую пасть в неприятном несоответствии с произносимыми звуками. Последнюю фразу она произнесла, судорожно сжав челюсти.

— И воздух мне вреден, — продолжала она. — Вот подожну, что будешь делать? Все скупость твоя бабья да дурья... Все копиши, а для чего копиши — сама не знаешь... На последней

реформе-та как погорела, а? То-то! А екатериновками? Сундуки оклеивала! А керенками-та, керенками! Ведь печку то-пила керенками...

— Видите ли,— сказал я, немного оправившись.

— Ой, кто это? — испугалась щука.

— Я... Я здесь случайно... Я намеревался слегка помыться.

— Помыться! А я думала, опять старуха. Не вижу я: старая. Да и коэффициент преломления в воздухе, говорят, совсем другой. Воздушные очки было себе заказала, да потеряла, не найду... А кто ж ты будешь?

— Турист,— коротко сказал я.

— Ах, турист... А я думала, опять бабка. Ведь что она со мной делает! Поймает меня, волочит на рынок и там продает, якобы на уху. Ну что мне остается? Конечно, говоришь покупателю: так и так, отпусти меня к малым детушкам, хотя какие у меня там малые детушки — не детушки уже, которые живы, а дедушки. Ты меня отпустишь, а я тебе послужу, скажи только «по щучьему велению, по моему, мол, хотению». Ну и отпускают. Одни со страху, другие по доброте, а которые и по жадности.... Вот поплаваешь в реке, поплаваешь — холодно, ревматизм, заберешься обратно в колодезь, а старуха с бадьей опять тут как тут... — Щука спряталась в воду, побулькала и снова высунулась. — Ну что просить то будешь, служивый? Только попроще чего, а то просят телевизоры какие-то, транзисторы... Один совсем обалдел: «Выполнни, говорит, за меня годовой план на лесопилке». Года мои не те — дрова пилить....

— Ага,— сказал я.— А телевизор вы, значит, все-таки можете?

— Нет,— честно призналась щука.— Телевизор не могу. И этот... комбайн с проигрывателем тоже не могу. Не верю я в них. Ты чего-нибудь попроще. Сапоги, скажем, скороходы или шапку-невидимку... А?

Возникшая было у меня надежда отвертеться сегодня от смазки «Москвича» погасла.

— Да вы не беспокойтесь, — сказал я. — Мне ничего, в общем, не надо. Я вас сейчас отпущу.

— И хорошо,— спокойно сказала щука.— Люблю таких людей. Давеча вот тоже... Купил меня на рынке какой-то, пообещала я ему царскую дочь. Плыту по реке, стыдно, конечно, глаза девять некуда. Ну сослепу и въехала в сети. Тащшат. Опять, думаю, врать придется. А он что делает? Он меня



хватает поперек зубов, так что рот не открыть. Ну, думаю, конец, сварят. Ах нет. Защемляет он мне чем-то плавник и бросает обратно в реку. Во! — Щука высунулась из бадьи и выставила плавник, схваченный у основания металлическим зажимом. На зажиме я прочитал: «Запущен сей экземпляр в Солове-реке 1854 года. Доставить в Е. И. В. Академию наук, СПБ». — Старухе не говори, — предупредила щука. С плавником оторвет. Жадная она, скучая.

«Что бы у нее спросить?» — лихорадочно думал я.

— Как вы делаете ваши чудеса?

— Какие такие чудеса?

— Ну... исполнение желаний...

— Ах, это? Как делаю... Обучена сызмальства, вот и делаю.

Откуда я знаю, как я делаю... Золотая Рыбка вот еще лучше делала, а все одно померла. От судьбы не уйдешь.

Мне показалось, что щука вздохнула.

— От старости? — спросил я.

— Какое там от старости! Молодая была, крепкая... Бросили в нее, служивый, глубинную бомбу. И ее вверх брюхом пустили, и корабль какой-то подводный рядом случился, тоже потонул. Она бы и откупилась, да ведь не спросили ее, увидели и сразу бомбой... Вот ведь как оно бывает. — Она помолчала. — Так отпускаешь меня или как? Душно что-то, гроза будет...

— Конечно, конечно, — сказал я, встрепенувшись. — Вас как — бросить или в бадью?..

— Бросай, служивый, бросай.

Я осторожно запустил руки в бадью и извлек щуку — было в ней килограммов восемь. Щука бормотала: «Ну, а ежели там скатерть-самобранку или, допустим, ковер-самолет, то я здесь буду... за мной не пропадет...» — «До свиданья», — сказал я и разжал руки. Раздался шумный плеск.

Некоторое время я стоял, глядя на свои ладони, испачканные зеленью. У меня было какое-то странное ощущение. Временами, как порыв ветра, налетало сознание, что я сижу в комнате на диване, но стоило тряхнуть головой, и я снова оказывался у колодца. Потом это прошло. Я умылся отличной ледяной водой, залил радиатор и побрился. Старуха все не показывалась. Хотелось есть, и надо было идти в город к почтамту, где меня уже, может быть, ждали ребята. Я запер машину и вышел за ворота.

Я неторопливо шел по улице Лукоморье, засунув руки в карманы серой гэдээровской курточки и глядя себе под ноги.

В заднем кармане моих любимых джинсов, исполосованных «молниями», брякали старухины медяки. Я размышлял. Тощие брошюрки общества «Знание» приучили меня к мысли, что разговаривать животные не способны. Сказки с детства убеждали в обратном. Согласен я был, конечно, с брошюрками, потому что никогда в жизни не видел говорящих животных. Даже попугаев. Я знал одного попугая, который мог рычать, как тигр, но по-человечески он не умел. И вот теперь — Щука, кот Василий и даже зеркало. Впрочем, неодушевленные предметы как раз разговаривают часто. И между прочим, это соображение никогда не пришло бы в голову, скажем, моему прадеду. С его, прадеда, точки зрения, говорящий кот — вещь куда менее фантастическая, нежели деревянный полированный ящик, который хрюпит, воет, музицирует и говорит на многих языках. С котом тоже более или менее ясно. А вот как разговаривает щука? У щуки нет легких. Это верно. Правда, у нее должен быть плавательный пузырь, функция коего, как мне известно, ихтиологам еще не окончательно ясна. Мой знакомый ихтиолог Женька Скоромахов полагает даже, что эта функция неясная совершенно, и, когда я пытаюсь аргументировать доводами из брошюрок общества «Знание», Женька рычит и плюется. Совершенно утрачивает присущий ему дар человеческой речи... У меня такое впечатление, что о возможностях животных мы знаем пока еще очень мало. Только недавно выяснилось, что рыбы и морские животные обмениваются под водой сигналами. Очень интересно пишут о дельфинах. Или, скажем, обезьяна Рафаил. Это я сам видел. Разговаривать она, правда, не умеет, но зато у нее выработали рефлекс: зеленый свет — банан, красный свет — электрический шок. И все было хорошо до тех пор, пока не включили красный и зеленый свет одновременно. Тогда Рафаил повел себя так же, как Женька, например. Он страшно обиделся. Он кинулся к окошечку, за которым сидел экспериментатор, и принял, визжа и рыча, плеваться в это окошечко. И вообще есть анекдот — одна обезьяна говорит другой: «Знаешь, что такое условный рефлекс? Это когда зазвонит звонок, и все эти квазиобезьяны в белых халатах побегут к нам с бананами и конфетами». Конечно, все это чрезвычайно непросто. Терминология не разработана. Когда в этих условиях пытаешься решать вопросы, связанные с психикой и потенциальными возможностями животных, чувствуешь себя совершенно беспомощным. Но с другой стороны, когда тебе дают, скажем,

ту же систему интегральных уравнений типа звездной статистики с неизвестными функциями под интегралом, то самочувствие не лучше. А поэтому главное — думать. Как Паскаль: «Будем же учиться хорошо мыслить — вот основной принцип морали».

Я выпел на проспект Мира и остановился, привлеченный необычным зрелищем. По мостовой шел человек с детскими флагжками в руках. За ним, шагах в десяти, с натужным ревом медленно полз большой белый МАЗ с гигантским дымящимся прицепом в виде серебристой цистерны. На цистерне было написано «Огнеопасно», справа и слева от нее так же медленно катились красные пожарные «газики», ощетиненные огнетушителями. Время от времени в ровный рев двигателя вмешивался какой-то новый звук, неприятно леденивший сердце, и тогда из люков цистерны вырывались желтые языки пламени. Лица пожарных под нахлобученными касками были мужественны и суровы. Вокруг кавалькады тучей носились ребятишки. Они пронзительно вопили: «Тилили-тилили, а дракона повезли!» Взрослые прохожие опасливо жались к заборам. На их лицах было написано явственное желание уберечь одежду от возможных повреждений.

— Повезли родимого, — произнес у меня над ухом знакомый скрипучий бас.

Я обернулся. Позади стояла, пригорюнившись, Наина Киевна с кошелькой, наполненной синими пакетами сахарного песку.

— Повезли, — повторила она. — Каждую пятницу возят...

— Куда? — спросил я.

— На полигон, батюшка. Всё экспериментируют... Делать им больше нечего.

— А кого повезли, Наина Киевна?

— То есть как это — кого? Сам не видишь, что ли?..

Она повернулась и пошла прочь, но я догнал ее.

— Наина Киевна, вам тут телефонограмму передали.

— Это от кого же?

— От Ха Эм Вия.

— А насчет чего?

— У вас слет какой-то сегодня, — сказал я, пристально глядя на нее. — На Лысой Горе. Форма одежды — парадная.

Старуха явно обрадовалась.

— Вправду? — сказала она. — Вот хорошо-то!.. А где телефонограмма?



— В прихожей на телефоне.
— А насчет членских взносов там ничего не говорится? — спросила она, понизив голос.
— В каком смысле?
— Ну, что, мол, надлежит погасить задолженность с одна тысяча семьсот... — Она замолчала.
— Нет, — сказал я. — Ничего такого не говорилось.
— Ну и хорошо. А с транспортом как? Машину подадут или что?

— Дайте я вам кошелку поднесу, — предложил я.
Старуха отпрянула.

— Это тебе зачем? — спросила она подозрительно. — Ты это оставь — не люблю... Кошелку ему!.. Молодой, да, видно, из ранних...

«Не люблю старух», — подумал я.

— Так как же с транспортом? — повторила она.

— За свой счет, — сказал я злорадно.

— Ах, скопидомы! — застонала старуха. — Метлу в музей забрали, ступу не ремонтируют, взносы дерут по пять рубликов на ассигнации, а на Лысую Гору за свой счет! Счет-то не малый, батюшка, да пока такси ждет...

Бормоча и кашляя, она отвернулась от меня и пошла прочь. Я потер руки и тоже пошел своей дорогой. Мои предположения оправдывались. Узел удивительных происшествий затягивался все туже. И стыдно признаться, но это казалось мне сейчас более интересным, чем даже моделирование рефлекторной дуги.

На проспекте Мира было уже пусто. У перекрестка крутилась стая ребятишек — играли, по-моему, в чижка. Увидев меня, они бросили игру и стали приближаться. Предчувствуя недоброд, я торопливо миновал их и двинулся к центру. За моей спиной послышался сдавленный восторженный возглас: «Стиляга!» Я ускорил шаг. «Стиляга!» — завопили сразу несколько голосов. Я почти побежал. Позади визжали: «Стиляга! Тонконогий! Папина «Победа»!..» Прохожие смотрели на меня сочувственно. В таких ситуациях лучше всего куданибудь нырнуть. Я нырнул в ближайший магазин, оказавшийся гастрономом, походил вдоль прилавков, убедился в том, что сахар есть, выбор колбас и конфет не богат, но зато выбор так называемых рыбных изделий превосходит все ожидания. Там была такая семга и такой лосось!.. Я выпил стакан газированной воды иглянулся на улицу. Мальчишек не было. Тогда

я вышел из магазина и двинулся дальше. Скоро лабазы и бревенчатые избы-редуты кончились, пошли современные двухэтажные дома с открытыми сквериками. В сквериках копошились младенцы, пожилые женщины взяли что-то теплое, а пожилые мужчины резались в домино.

В центре города оказалась обширная площадь, окруженная двух- и трехэтажными зданиями. Площадь была асфальтирована, посередине зеленел садик. Над зеленью возвышался большой красный щит с надписью «Доска Почета» и несколько щитов поменьше со схемами и диаграммами. Почтamt я обнаружил здесь же, на площади. Мы договорились с ребятами, что первый, кто прибудет в город, оставит до востребования записку со своими координатами. Записки не было, и я оставил письмо, в котором сообщил свой адрес и объяснил, как дойти до избы на курногах. Затем я решил позавтракать.

Обойдя площадь, я обнаружил: кинотеатр, где шла «Козара»; книжный магазин, закрытый на переучет; горсовет, перед которым стояло несколько основательно пропыленных «газиков»; гостиницу «Студеное море» — как обычно, без свободных мест; два киоска с газированной водой и мороженым; магазин (промтоварный) № 2 и магазин (хозтоваров) № 18; столовую № 11, открывающуюся с двенадцати часов, и буфет № 3, закрытый без объяснений. Потом я обнаружил городское отделение милиции, возле открытых дверей которого побеседовал с очень юным милиционером в чине сержанта, объяснившим мне, где находится бензоколонка и какова дорога до Лежнева. «А где же ваша машина?» — осведомился милиционер, озирая площадь. «У знакомых», — ответил я. «Ах, у знакомых...» — сказал милиционер значительно. По-моему, он взял меня на заметку. Я робко откланялся.

Рядом с трехэтажной громадой Солрыбснабпромпотребсоюза ФЦУ я, наконец, нашел маленькую опрятную чайную № 16/27. В чайной было хорошо. Народу было не очень много, шили действительно чай и разговаривали о вещах понятных: что под Коробцом завалился, наконец, мостик и ехать теперь приходится вброд; что пост ГАИ уже неделю как с пятнадцатого километра убрали; что «искра — зверь, слона убьет, а ни шиша не схватывает...». Пахло бензином и жареной рыбой. Не занятые разговорами люди пристально разглядывали мои джинсы, и я радовался, что сзади у меня имеет место профессиональное пятно — позавчера я очень удачно сел на шприц с солидолом.

Я взял себе полную тарелку жареной рыбы, три стакана чаю и три бутерброда с балыком, расплатился кучей старухиных медяков («На паперти стоял...» — проворчала буфетчица), устроился в укромном углу и принялся за еду, с удовольствием наблюдая за этими хриплоголосыми, прокуренными людьми. Приятно было смотреть, какие они загорелые, независимые, жилистые, всё повидавшие, как они с аппетитом едят, с аппетитом курят, с аппетитом рассказывают. Они до последней капли использовали передышку перед долгими часами тряской скучной дороги, раскаленной духоты кабины, пыли и солнца. Если бы я не был программистом, я бы обязательно стал шофером и уж работал бы не на плюгавенькой легковушке и не на автобусе даже, а на каком-нибудь грузовом чудовище, и чтобы в кабину надо было забираться по лестнице, а колесо чтобы менять с помощью небольшого подъемного крана.

За соседним столиком сидели два молодых человека, не похожих на шоферов, и поэтому сначала я на них внимания не обратил. Так же, впрочем, как и они на меня. Но когда я допивал второй стакан чаю, до меня долетело слово «диван». Затем кто-то из них произнес: «...А тогда непонятно, зачем она вообще существует, эта Изнакурнонж...» — и я стал слушать. К сожалению, говорили они негромко, да и сидел я к ним спиной, так что слышно было плохо. Но голоса показались мне знакомыми: «...никаких тезисов... только диван...», «...такому волосатому?...», «...диван... шестнадцатая степень...», «...при трансгрессии только четырнадцать порядков...», «...легче смоделировать транслятор...», «...мало ли кто хихикает!...», «...бритву подарю...», «...не можем без дивана...». Тут один из них заперхал, да так знакомо, что я сразу вспомнил сегодняшнюю ночь и обернулся, но они уже шли к выходу — два здоровенных парня с крутыми плечами и спортивными затылками. Некоторое время я еще видел их в окно, они перешли площадь, обогнули садик и скрылись за диаграммами. Я допил чай, доехал бутерброды и тоже вышел. «Диван их, видите ли, волнует, — думал я — Русалка их не волнует. Говорящий кот их не интересует. А без дивана они, видите ли, не могут...» Я попытался вспомнить, какой же у меня там диван, но ничего особенного вспомнить не мог. Диван как диван. Хороший диван. Удобный. Только странная действительность на нем снится.

Теперь хорошо было бы вернуться домой и заняться всеми этими диванными делами вплотную. Поэкспериментировать с книгой-перевертышем, поговорить с котом Василием начистоту

и посмотреть, нет ли в избе на куриных ногах еще чего-нибудь интересного. Но дома меня ждал мой «Москвич» и необходимость делать как ЕУ, так и ТО. С ЕУ еще можно было примириться, это всего-навсего Ежедневный Уход, всякое там вытряхивание ковриков и обмыв кузова струей воды под давлением, каковой обмыв, впрочем, можно заменить при нужде поливанием из садовой лейки или ведра. Но вот ТО... Чисто-плотному человеку в жаркий день страшно подумать о ТО. Потому что ТО есть не что иное, как Техническое Обслуживание, а техническое обслуживание состоит в том, что я лежу под автомобилем с масляным шприцем в руках и постепенно переношу содержимое шприца как в колпачковые масленки, так и себе на физиономию. Под автомобилем жарко и душно, а днище его, покрытое толстым слоем засохшей грязи... Короче говоря, мне не очень хотелось домой.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Кто позволил себе эту дьявольскую шутку? Схватить его и сорвать с него маску, чтобы мы знали, кого нам поутру повесить на крепостной стене!

з. п о

Я купил позавчерашнюю «Правду», выпил газированной воды и устроился на скамье в садике, в тени доски Почета. Было одиннадцать часов. Я внимательно просмотрел газету. На это ушло семь минут. Тогда я прочитал статью о гидропонии, фельетон о хапугах из Канска и большое письмо рабочих химического завода в редакцию. Это заняло всего-навсего двадцать две минуты. «Не сходить ли в кино», — подумал я. Но «Козару» я уже видел — один раз в кино и один раз по телевизору. Тогда я решил попить воды, сложил газету и встал. Из всей старухиной меди в кармане у меня остался всего один пятак. Пропью, решил я, выпил воды с сиропом, получил копейку сдачи и купил в соседнем ларьке коробок спичек. Больше делать мне в центре города было решительно нечего. И я пошел куда глаза глядят — в неширокую улицу между магазином № 2 и столовой № 11.

Прохожих на улице почти не было. Меня обогнал большой

пыльный грузовик с грохочущим трейлером. Шофер, высунув в окно локоть и голову, устало смотрел на булыжную мостовую. Улица, понижаясь, круто заворачивала направо, у поворота рядом с тротуаром торчал из земли ствол старинной чугунной пушки, дуло ее было забито землей и окурками. Вскоре улица кончилась обрывом к реке. Я посидел на краю обрыва и полюбовался пейзажем, затем перешел на другую сторону и побрел обратно.

«Интересно, куда девался тот грузовик?» — подумал вдруг я. Спуска с обрыва не было. Я стал оглядываться, ища ворота по сторонам улицы, и тут обнаружил небольшой, но очень странный дом, стиснутый между двумя угрызыми кирпичными лабазами. Окна нижнего этажа его были забраны железными прутьями и до половины замазаны мелом. Дверей же в доме вообще не было. Я заметил это сразу потому, что вывеска, которую обычно помещают рядом с воротами или рядом с подъездом, висела здесь прямо между двумя окнами. На вывеске было написано: «АН СССР НИИЧАВО». Я отошел на середину улицы: да, два этажа по десяти окон и ни одной двери. А справа и слева, вплотную, лабазы. «НИИЧАВО, — подумал я. — Научно-исследовательский институт... Чаво? В смысле — чего? Чрезвычайно Автоматизированной Вооруженной Охраны? Черных Ассоциаций Восточной Океании? Изба на курногах, — подумал я, — музей этого самого НИИЧАВО. Мои попутчики, наверное, тоже отсюда. И те, в чайной, тоже...» С крыши здания поднялась стая ворон и с карканьем закружилась над улицей. Я повернулся и пошел назад, на площадь.

Все мы наивные материалисты, думал я. И все мы рационалисты. Мы хотим, чтобы все было немедленно объяснено рационалистически, то есть сведено к горсточке уже известных фактов. И ни у кого из нас ни на грош диалектики. Никому в голову не приходит, что между известными фактами и каким-то новым явлением может лежать море неизвестного, и тогда мы объявляем новое явление сверхъестественным и, следовательно, невозможным. Вот, например, как бы метр Монтескье принял сообщение об оживлении мертвеца через сорок пять минут после зарегистрированной остановки сердца? В штыки бы, наверное, принял. Так сказать, в багинеты. Объявил бы это обскурантизмом и поповщиной. Если бы вообще не отмахнулся от такого сообщения. А если бы это случилось у него на глазах, то он оказался бы в необычайно затруднительном положении.

Как я сейчас, только я привычнее. А ему пришлось бы либо счастье это воскрешение жульничеством, либо отречься от собственных ощущений, либо даже отречься от материализма. Скорее всего, он счел бы воскрешение жульничеством. Но до конца жизни воспоминание об этом ловком фокусе раздражало бы его мысль, подобно соринке в глазу... Но мы — дети другого века. Мы всякое повидали: и живую голову собаки, пришитую к спине другой живой собаки; и искусственную почку величиной со шкаф; и мертвую железную руку, управляемую живыми нервами; и людей, которые могут небрежно заметить: «Это было уже после того, как я скончался в первый раз...» Да, в наше время у Монtesкье было бы немного шансов остаться материалистом. А мы вот остаемся, и ничего! Правда, иногда бывает трудно — когда случайный ветер вдруг доносит до нас через океан неизвестного странные лепестки с необозримых материков непознанного. И особенно часто так бывает, когда находишь не то, что ищешь. Вот скоро в зоологических музеях появятся удивительные животные, первые животные с Марса или Венеры. Да, конечно, мы будем глязеть на них и хлопать себя по бедрам, но ведь мы давно уже ждем этих животных, мы отлично подготовлены к их появлению. Гораздо более мы были бы поражены и разочарованы, если бы этих животных не оказалось или они оказались бы похожими на наших кошек и собак. Как правило, наука, в которую мы верим (и зачастую слепо), заранее и задолго готовит нас к грядущим чудесам, и психологический шок возникает у нас только тогда, когда мы сталкиваемся с не-предсказанным, — какая-нибудь дыра в четвертое измерение, или биологическая радиосвязь, или живая планета... Или, скажем, изба на куриных ногах... А ведь прав был горбоносый Роман: здесь у них очень, очень и очень интересно...

Я вышел на площадь и остановился перед киоском с газированной водой. Я точно помнил, что мелочи у меня нет, и знал, что придется разменивать бумажку, и уже готовил заискивающую улыбку, потому что продавщицы газированной воды терпеть не могут менять бумажные деньги, как вдруг обнаружил в кармане джинсов пятак. Я удивился и обрадовался, но обрадовался больше. Я выпил газированной воды с сиропом, получил мокрую копейку сдачи и поговорил с продавщицей о погоде. Потом я решительно направился домой, чтобы скорее покончить с ЕУ и ТО и заняться рационал-

диалектическими объяснениями. Копейку я сунул в карман и остановился, обнаружив, что в том же кармане имеется еще один пятак. Я вынул его и осмотрел. Пятак был слегка влажный, но на нем было написано «5 копеек 1961», и цифра «6» была замята неглубокой выщерблинкой. Может быть, я даже тогда не обратил бы внимания на это маленькое происшествие, если бы не то самое мгновенное ощущение, уже знакомое мне, будто я одновременно стою на проспекте Мира и сижу на диване, тупо разглядывая вешалку. И так же, как раньше, когда я тряхнул головой, ощущение исчезло.

Некоторое время я еще медленно шел, рассеянно подбрасывая и ловя пятак (он падал на ладонь все время «решкой»), и пытался сосредоточиться. Потом я увидел гастроном, в котором утром спасался от мальчишек, и вошел туда. Держа пятак двумя пальцами, я направился прямо к прилавку, где торговали соками и водой, и без всякого удовольствия выпил стакан без сиропа. Затем, зажав сдачу в кулаке, я отошел в сторонку и проверил карман.

Это был тот самый случай, когда психологического шока не происходит. Скорее, я удивился бы, если бы пятака в кармане не оказалось. Но он был там — влажный, 1961 года, с выщерблинкой на цифре «6». Меня подтолкнули и спросили, не сплю ли я. Оказывается, я стоял в очереди в кассу. Я сказал, что не сплю, и выбил чек на три коробка спичек. Встав в очередь за спичками, я обнаружил, что пятак находится в кармане. Я был совершенно спокоен. Получив три коробка, я вышел из магазина, вернулся на площадь и принялся экспериментировать.

Эксперимент занял у меня около часа. За этот час я десять раз обошел площадь кругом, разбух от воды, спичечных коробков и газет, перезнакомился со всеми продавцами и продавицами и пришел к ряду интересных выводов. Пятак возвращается, если им платить. Если его просто бросить, обронить, потерять, он останется там, где упал. Пятак возвращается в карман в тот момент, когда сдача из рук продавца переходит в руки покупателя. Если при этом держать руку в одном кармане, пятак появляется в другом. В кармане, застегнутом на «молнию», он не появляется никогда. Если держать руки в обоих карманах и принимать сдачу локтем, то пятак может появиться где угодно на теле (в моем случае он обнаружился в ботинке). Исчезновение пятака из тарелочки с медью на прилавке заметить не удается: среди прочей меди

пятак сейчас же теряется, и никакого движения в тарелочке в момент перехода пятака в карман не происходит.

Итак, мы имели дело с так называемым неразменимым пятаком в процессе его функционирования. Сам по себе факт неразмениности не очень заинтересовал меня. Воображение мое было потрясено прежде всего возможностью внепространственного перемещения материального тела. Мне было совершенно ясно, что таинственный переход пятака от продавца к покупателю представляет собой не что иное, как частный случай пресловутой нуль-транспортировки, хорошо известной любителям научной фантастики также под псевдонимами: гиперпереход, репагулярный скачок, феномен Тарантоги... Открывающиеся перспективы были ослепительны.

У меня не было никаких приборов. Обыкновенный лабораторный минимальный термометр мог бы дать очень много, но у меня не было даже его. Я был вынужден ограничиваться чисто визуальными субъективными наблюдениями. Свой последний круг по площади я начал, поставив перед собой следующую задачу: «Кладя пятак рядом с тарелочкой для мелочи и по возможности препятствуя продавцу смешать его с остальными деньгами до вручения сдачи, проследить визуально процесс перемещения пятака в пространстве, одновременно пытаясь хотя бы качественно определить изменение температуры воздуха вблизи предполагаемой траектории перехода». Однако эксперимент был прерван в самом начале.

Когда я приблизился к продавщице Мане, меня уже ждал тот самый молоденький милиционер в чине сержанта.

— Так,— сказал он профессиональным голосом.

Я искательно посмотрел на него, предчувствуя недобро.

— Попрошу документики, гражданин,— сказал милиционер, отдавая честь и глядя мимо меня.

— А в чем дело? — спросил я, доставая паспорт.

— И пятак попрошу,— сказал милиционер, принимая паспорт.

Я молча отдал ему пятак. Мания смотрела на меня сердитыми глазами. Милиционер оглядел пятак и, произнеся с удовлетворением: «Ага...», раскрыл паспорт. Паспорт он изучал, как библиофил изучает редкую инкунабулу. Я томительно ждал. Вокруг медленно росла толпа. В толпе высказывались разные мнения на мой счет.

— Придется пройти,— сказал, наконец, милиционер.

Мы прошли. Пока мы проходили, в толпе сопровождающих

было создано несколько вариантов моей нелегкой биографии и был сформулирован ряд причин, вызвавших начинаяющееся у всех на глазах следствие.

В отделении сержант передал пятак и паспорт дежурному лейтенанту. Тот осмотрел пятак и предложил мне сесть. Я сел. Лейтенант небрежно произнес: «Сдайте мелочь» — и тоже углубился в изучение паспорта. Я выгреб из кармана медяки. «Пересчитай, Ковалев», — сказал лейтенант и, отложив паспорт, стал смотреть мне в глаза.

— Много накупили? — спросил он.

— Много, — ответил я.

— Тоже сдайте, — сказал лейтенант.

Я выложил перед ним на стол четыре номера позавчерашней «Правды», три номера местной газеты «Рыбак», два номера «Литературной газеты», восемь коробков спичек, шесть штук ирисок «Золотой ключик» и уцененный ершик для чистки примуса.

— Воду сдать не могу, — сказал я сухо. — Пять стаканов с сиропом и четыре без сиропа.

Я начинал понимать, в чем дело, и мне было чрезвычайно неловко и муторно при мысли, что придется оправдываться.

— Семьдесят четыре копейки, товарищ лейтенант, — доложил юный Ковалев.

Лейтенант задумчиво созерцал кучу газет и спичечных коробков.

— Развлекались или как? — спросил он меня.

— Или как, — сказал я мрачно.

— Неосторожно, — сказал лейтенант. — Неосторожно, гражданин. Расскажите.

Я рассказал. В конце рассказа я убедительно попросил лейтенанта не рассматривать мои действия как попытку скопить денег на «Запорожец». Уши мои горели. Лейтенант усмехнулся.

— А почему бы и не рассматривать? — осведомился он. — Были случаи, когда накапливали.

Я пожал плечами.

— Уверяю вас, такая мысль не могла бы прийти мне в голову... То есть что я говорю — не могла бы, она действительно не приходила!..

Лейтенант долго молчал. Юный Ковалев взял мой паспорт и снова принялся его рассматривать.

— Даже как-то странно предположить... — сказал я расте-

рянно. — Совершенно бредовая затея... Копить по копейке... — Я снова пожал плечами. — Тогда уж лучше, как говорится, на лаперти стоять...

— С нищенством мы боремся, — значительно сказал лейтенант.

— Ну правильно, ну естественно... Я только не понимаю, при чем тут я, и... — Я поймал себя на том, что очень много пожимаю плечами, и дал себе слово впредь этого не делать.

Лейтенант снова изнуряюще долго молчал, разглядывая пятак.

— Придется составить протокол, — сказал он наконец. Я пожал плечами.

— Пожалуйста, конечно... хотя... — Я не знал, что, собственно, «хотя».

Некоторое время лейтенант смотрел на меня, ожидая продолжения. Но я как раз соображал, под какую статью уголовного кодекса подходят мои действия, и тогда он придвинул к себе лист бумаги и принялся писать.

Юный Ковалев вернулся на свой пост. Лейтенант скрипел пером и часто со стуком макал его в чернильницу. Я сидел, тупо рассматривая плакаты, развешанные на стенах, и вяло размышлял о том, что на моем месте Ломоносов, скажем, схватил бы паспорт и выскоцил в окно. «В чем, собственно, суть? — думал я. — Суть в том, чтобы человек сам не считал себя виновным. В этом смысле я не виновен. Но виновность, кажется, бывает объективная и субъективная. И факт остается фактом: вся эта медь в количестве семидесяти четырех копеек юридически является результатом хищения, произведенного с помощью технических средств, в качестве каковых выступает неразменный пятак».

— Прочтите и подпишите, — сказал лейтенант.

Я прочел. Из протокола явствовало, что я, нижеподписавшийся Привалов А. И., неизвестным мне способом вступил в обладание действующей моделью неразменного пятака образца ГОСТ 718-62 и злоупотребил ею; что я, нижеподписавшийся Привалов А. И., утверждаю, будто действия свои производил с целью научного эксперимента, без каких-либо корыстных намерений; что я готов возместить причиненные государству убытки в размере одного рубля пятидесяти пяти копеек; что я, наконец, в соответствии с постановлением Соловецкого горсовета от 22 марта 1959 года, передал указанную действующую модель неразменного пятака дежурному по

отделению лейтенанту Сергиенко У. У. и получил взамен пять копеек в монетных знаках, имеющих хождение на территории Советского Союза. Я подписался.

Лейтенант сверил мою подпись с подписью в паспорте, еще раз тщательно пересчитал медяки, позвонил куда-то с целью уточнить стоимость ирисок и примусного ершика, выписал квитанцию и отдал ее мне вместе с пятью копейками в монетных знаках, имеющих хождение. Возвращая газеты, спички, конфеты и ершик, он сказал:

— А воду вы, по собственному вашему признанию, выпили. Итого, с вас восемьдесят одна копейка.

С гигантским облегчением я рассчитался. Лейтенант, еще раз внимательно пролистав, вернул мне паспорт.

— Можете идти, гражданин Привалов, — сказал он. — И впредь будьте осторожнее. Вы надолго в Соловец?

— Завтра уеду, — сказал я.

— Вот до завтра и будьте осторожнее.

— Ох, постараюсь, — сказал я, пряча паспорт. Затем, повинувшись импульсу, спросил, понизив голос: — А скажите мне, товарищ лейтенант, вам здесь, в Соловце, не странно?

Лейтенант уже смотрел в какие-то бумаги.

— Я здесь давно, — сказал он рассеянно. — Привык.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— А вы сами-то верите в приключения? — спросил лектора один из слушателей.

— Конечно, нет, — ответил лектор и медленно растаял в воздухе.

Правдивая история

До самого вечера я старался быть весьма осторожным. Прямо из отделения я направился домой на Лукоморье и там сразу же залез под машину. Было очень жарко. С запада медленно ползла грозная черная туча. Пока я лежал под машиной и обливался маслом, старуха Наина Киевна, ставшая вдруг очень ласковой и любезной, дважды подъезжала ко мне с тем, чтобы я отвез ее на Лысую Гору. «Говорят, батюшка, машине вредно стоять, — скрипуче ворковала она, заглядывая под передний бампер. — Говорят, ей ездить полезно. А уж я бы заплатила, не сомневайся...» Ехать на Лысую Гору мне не



хотелось. Во-первых, в любую минуту могли прибыть ребята. Во-вторых, старуха в своей воркующей модификации была мне еще неприятнее, нежели в сварливой. Далее, как выяснилось, до Лысой Горы было девяносто verst в одну сторону, а когда я спросил бабку насчет качества дороги, она радостно заявила, чтобы я не беспокоился, — дорога гладкая, а в случае чего она, бабка, будет сама машину выталкивать. («Ты не смотри, батюшка, что я старая, я еще очень даже крепкая.») После первой неудачной атаки старуха временно отступилась и ушла в избу. Тогда ко мне под машину зашел кот Василий. С минуту он внимательно следил за моими руками, а потом произнес вполголоса, но явственно: «Не советую, гражданин... мнэ-э... не советую. Съедят», после чего сразу удалился, подрагивая хвостом. Мне хотелось быть очень осторожным, и поэтому, когда бабка вторично пошла на приступ, я, чтобы разом со всем покончить, запросил с нее пятьдесят рублей. Она тут же отстала, посмотрев на меня с уважением.

Я сделал ЕУ и ТО, с величайшей осторожностью съездил заправиться к бензоколонке, пообедал в столовой № 11 и еще раз подвергся проверке документов со стороны бдительного Ковалева. Для очистки совести я спросил у него, какова дорога до Лысой Горы. Юный сержант посмотрел на меня с большим недоверием и сказал: «Дорога? Что это вы говорите, гражданин? Какая же там дорога? Нет там никакой дороги». Домой я вернулся уже под проливным дождиком.

Старуха отбыла. Кот Василий исчез. В колодце кто-то цел на два голоса, и это было жутко и тоскливо. Вскоре ливень сменился скучным мелким дождем. Стало темно.

Я забрался в свою комнату и попытался экспериментировать с книгой-перевертышем. Однако в ней что-то застопорило. Может быть, я делал что-нибудь не так или влияла погода, но она как была, так и оставалась «Практическими занятиями по синтаксису и пунктуации» Ф. Ф. Кузьмина, сколько я ни ухищрялся. Читать такую книгу было совершенно невозможно, и я попытал счастья с зеркалом. Но зеркало отражало все, что угодно, и молчало. Тогда я лег на диван и стал лежать.

От скучи и шума дождя я уже начал было дремать, когда вдруг зазвонил телефон. Я вышел в прихожую и взял трубку.

— Алло...

В трубке молчало и потрескивало.

— Алло, — сказал я и подул в трубку. — Нажмите кнопку. Ответа не было.

— Постучите по аппарату,— посоветовал я. Трубка молчала. Я еще раз подул, подергал шнур и сказал: — Перезвоните с другого автомата.

Тогда в трубке грубо осведомились:

— Это Александр?

— Да.— Я был удивлен.

— Ты почему не отвечаешь?

— Я отвечаю. Кто это?

— Это Петровский тебя беспокоит. Сходи в засольный цех и скажи мастеру, чтобы мне позвонил.

— Какому мастеру?

— Ну, кто там сегодня у тебя?

— Не знаю...

— Что значит — не знаю? Это Александр?

— Слушайте, гражданин,— сказал я.— По какому номеру вы звоните?

— По семьдесят второму... Это семьдесят второй?

Я не знал.

— По-видимому, нет,— сказал я.

— Что же вы говорите, что вы Александр?

— Я в самом деле Александр!

— Тыфу!.. Это комбинат?

— Нет,— сказал я.— Это музей.

— А... Тогда извиняюсь. Мастера, значит, позвать не можете...

Я повесил трубку. Некоторое время я стоял, оглядывая прихожую. В прихожей было пять дверей: в мою комнату, во двор, в бабкину комнату, в туалет и еще одна, обитая железом, с громадным висячим замком. Скучно, подумал я. Одиноко. И лампочка тусклая, пыльная... Волоча ноги, я вернулся в свою комнату и остановился на пороге.

Дивана не было.

Все остальное было совершенно по-прежнему: стол, и печь, и зеркало, и вешалка, и табуретка. И книга лежала на подоконнике точно там, где я ее оставил. А на полу, где раньше был диван, остался только очень пыльный, замусоренный прямоугольник. Потом я увидел постельное белье, аккуратно сложенное под вешалкой.

— Только что здесь был диван,— вслух сказал я.— Я на нем лежал.

Что-то изменилось в доме. Комната наполнилась невнятным шумом. Кто-то разговаривал, слышалась музыка, где-то сме-

ялись, кашляли, шаркали ногами. Смутная тень на мгновение заслонила свет лампочки, громко скрипнули половицы. Потом вдруг запахло аптекой, и в лицо мне пахнуло холодом. Я попятился. И тотчас же кто-то резко и отчетливо постучал в наружную дверь. Шумы мгновенно утихли. Оглядываясь на то место, где раньше был диван, я вновь вышел в сени и открыл дверь.

Передо мной под мелким дождем стоял невысокий изящный человек в коротком кремовом плаще идеальной чистоты, с поднятым воротником. Он снял шляпу и с достоинством произнес:

— Прошу прощения, Александр Иванович. Не могли бы вы уделить мне пять минут для разговора?

— Конечно,— сказал я растерянно.— Заходите...

Этого человека я видел впервые в жизни, и у меня мелькнула мысль, не связан ли он с местной милицией. Незнакомец шагнул в прихожую и сделал движение пройти прямо в мою комнату. Я заступил ему дорогу. Не знаю, зачем я это сделал,— наверное, потому, что мне не хотелось расспросов насчет пыли и мусора на полу.

— Извините,— пролепетал я,— может быть, здесь... А то у меня беспорядок. И сесть негде...

Незнакомец резко вскинул голову.

— Как негде? — сказал он негромко.— А диван?

С минуту мы молча смотрели друг другу в глаза.

— М-м-м... Что — диван? — спросил я почему-то шепотом.

Незнакомец опустил веки.

— Ах, вот как? — медленно произнес он.— Понимаю. Жаль. Ну что ж, извините...

Он вежливо кивнул, надел шляпу и решительно направился к дверям туалета.

— Куда вы? — закричал я.— Вы не туда!

Незнакомец, не оборачиваясь, пробормотал: «Ах, это безразлично» — и скрылся за дверью. Я машинально зажег ему свет, постоял немного, прислушиваясь, затем рванул дверь. В туалете никого не было. Я осторожно вытащил сигарету и закурил. Диван, подумал я. При чем здесь диван? Никогда не слыхал никаких сказок о диванах. Был ковер-самолет. Была скатерть-самобранка. Были: шапка-невидимка, сапоги-скороходы, гусли-самогуды. Было чудо-зеркальце. А чудо-дивана не было. На диванах сидят или лежат, диван — это нечто прочное, очень обыкновенное... В самом деле, какая фантазия могла бы вдохновиться диваном?..

Вернувшись в комнату, я сразу увидел Маленького Человечка. Он сидел на печке под потолком, скрючившись в очень неудобной позе. У него было сморщенное небритое лицо и серые волосатые уши.

— Здравствуйте, — сказал я утомленно.

Маленький Человечек страдальчески скривил длинные губы.

— Добрый вечер, — сказал он. — Извините, пожалуйста, за несло меня сюда — сам не понимаю как... Я насчет дивана.

— Насчет дивана вы опоздали, — сказал я, садясь к столу.

— Вижу, — тихо сказал Человечек и неуклюже заворочался. Посыпалась известка.

Я курил, задумчиво его разглядывая. Маленький Человечек неуверенно заглядывал вниз.

— Вам помочь? — спросил я, делая движение.

— Нет, спасибо, — сказал Человечек уныло. — Я лучше сам...

Пачкаясь в мелу, он подобрался к краю лежанки и, неловко оттолкнувшись, нырнул головой вниз. У меня екнуло внутри, но он повис в воздухе и стал медленно опускаться, судорожно растопырив руки и ноги. Это было не очень эстетично, но забавно. Приземлившись на четвереньки, он сейчас же встал и вытер рукавом мокрое лицо.

— Совсем старик стал, — сообщил он хрипло. — Лет сто назад или, скажем, при Гонзасте за такой спуск меня лишили бы диплома, будьте уверены, Александр Иванович.

— А что вы кончали? — осведомился я.

Он не слушал меня. Присев на табурет напротив, он продолжал горестно:

— Раньше я левитировал, как Зекс. А теперь, простите, не могу вывести растительность на ушах. Это так неопрятно... Но если нет таланта? Огромное количество соблазнов вокруг, всевозможные степени, звания, а таланта нет! У нас многие обрастают к старости. Корифеев это, конечно, не касается. Жиан Жиакомо, Кристобаль Хунта, Джузеппе Бальзамо или, скажем, товарищ Киврин Федор Симеонович... Никаких следов растительности! — Он торжествующе посмотрел на меня. — Ни-ка-ких! Гладкая кожа, изящество, стройность...

— Позвольте, — сказал я. — Вы сказали — Джузеппе Бальзамо... Но это то же самое, что граф Калиостро! А по Толстому, граф был жирен и очень неприятен на вид...

Маленький Человечек с сожалением посмотрел на меня и снисходительно улыбнулся.

— Вы просто не в курсе дела, Александр Иванович, — сказал он. — Граф Калиостро — это совсем не то же самое, что великий Бальзамо. Это... как бы вам сказать... Это не очень удачная его копия. Бальзамо в юности сматрировал себя. Он был необычайно, необычайно талантлив, но вы знаете, как это делается в молодости... Побыстрее, посмешнее — тяп-ляп, и так сойдет... Да-с... Никогда не говорите, что Бальзамо и Калиостро — это одно и то же. Может получиться неловко.

Мне стало неловко.

— Да, — сказал я. — Я, конечно, не специалист. Но... Простите за нескромный вопрос, но при чем здесь диван? Кому он понадобился?

Маленький Человечек вздрогнул.

— Непростительная самонадеянность, — сказал он громко и поднялся. — Я совершил ошибку и готов признаться со всей решительностью. Когда такие гиганты... А тут еще наглые мальчишки... — Он стал кланяться, прижимая к сердцу бледные лапки. — Прошу прощения, Александр Иванович, я вас так обеспокоил... Еще раз решительно извиняюсь и немедленно вас покидаю. — Он приблизился к печке и боязливо поглядел на верх. — Старый я, Александр Иванович, — сказал он, тяжело вздохнув. — Старенький...

— А может быть, вам было бы удобнее... через... э-э... Тут перед вами приходил один товарищ, так он воспользовался.

— И-и, батенька, так это же был Кристобаль Хунта! Что ему просочиться через канализацию на десяток лье... — Маленький Человечек горестно махнул рукой. — Мы попроще... Диван он с собой взял или трансгрессировал?

— Н-не знаю, — сказал я. — Дело-то в том, что он тоже опоздал.

Маленький Человечек ошеломленно пощипал шерсть на правом ухе.

— Опоздал? Он? Невероятно... Впрочем, разве можем мы с вами об этом судить? До свидания, Александр Иванович, прощите великодушно.

Он с видимым усилием прошел сквозь стену и исчез. Я бросил окурок в мусор на полу. Ай да диван! Это тебе не говорящая кошка. Это что-то посолиднее — какая-то драма. Может быть, даже драма идей. А ведь, пожалуй, придут еще... опоздавшие. Наверняка придут. Я посмотрел на мусор. Где это я видел веник?

Веник стоял рядом с кадкой под телефоном. Я принялся подметать пыль и мусор, и вдруг что-то тяжело зацепило за веник и выкатилось на середину комнаты. Я взглянул. Это был блестящий продолговатый цилиндроподобный палец. Я потрогал его веником. Цилиндроподобный палец качнулся, что-то сухо затрещало, и в комнате запахло озоном. Я бросил веник и поднял цилиндр. Он был гладкий, отлично отполированный и теплый на ощупь. Я пощелкал по нему ногтем, и он снова затрещал. Я повернул его, чтобы осмотреть с торца, и в ту же секунду почувствовал, что пол уходит у меня из-под ног. Все перевернулось перед глазами. Я пребольно ударился обо что-то пятками, потом плечом и макушкой, выронил цилиндр и упал. Я был здорово ошарашен и не сразу понял, что лежу в узкой щели между печью и стеной. Лампочка над головой раскачивалась, и, подняв глаза, я с изумлением обнаружил на потолке рубчатые следы своих ботинок. Кряхтя, я выбрался из щели и осмотрел подошвы. На подошвах был мел.

— Однако,— подумал я вслух.— Не просочиться бы в канализацию!..

Я поиском глазами цилиндроподобный палец. Он стоял, касаясь пола краем торца, в положении, исключающем всякую возможность равновесия. Я осторожно приблизился и опустился возле него на корточки. Цилиндроподобный палец потрескивал и раскачивался. Я долго смотрел на него, вытянув шею, потом подул на него. Цилиндроподобный палец качнулся сильнее, наклонился, и тут за моей спиной раздался хриплый клекот и пахнуло ветром. Я оглянулся и сел на пол. На печке аккуратно складывал крылья исполинский гриф с голой шеей и зловещим загнутым клювом.

— Здравствуйте,— сказал я. Я был убежден, что гриф говорящий.

Гриф, склонив голову, посмотрел на меня одним глазом и сразу стал похож на курицу. Я приветственно помахал рукой. Гриф открыл было клюв, но разговаривать не стал. Он поднял крыло и стал искаститься у себя под мышкой, щелкая клювом. Цилиндроподобный палец покачивался и трещал. Гриф перестал искаститься, втянул голову в плечи и прикрыл глаза желтой пленкой. Стараясь не поворачиваться к нему спиной, я закончил уборку и выбросил мусор в дождливую тьму за дверью. Потом я вернулся в комнату.

Гриф спал, пахло озоном. Я посмотрел на часы: было двадцать минут первого. Я немного постоял над цилиндроподобным пальцем,



размышляя над законом сохранения энергии, и заодно и вещества. Вряд ли грифы конденсируются из ничего. Если данный гриф возник здесь, в Соловце, значит, какой-то гриф (не обязательно данный) исчез на Кавказе или где они там водятся. Я прикинул энергию переноса и опасливо посмотрел на цилиндр. Лучше его не трогать, подумал я. Лучше его чем-нибудь прикрыть, и пусть стоит. Я принес из прихожей ковщик, старательно прицелился и, не дыша, накрыл им цилиндр. Затем я сел на табурет, за-

курил и стал ждать еще чего-нибудь. Гриф отчетливо сопел. В свете лампы его перья отливали медью, огромные когти впились в известку. От него медленно распространялся запах гнили.

— Напрасно вы это сделали, Александр Иванович, — сказал приятный мужской голос.

— Что именно? — спросил я, оглянувшись на зеркало.

— Я имею в виду умклайдет...

Говорило не зеркало. Говорил кто-то другой.

— Не понимаю, о чем речь, — сказал я. В комнате никого не было, и я чувствовал раздражение.

— Я говорю про умклайдет, — произнес голос. — Вы совершенно напрасно накрыли его железным ковшом. Умклайдет, или, как вы его называете, волшебная палочка, требует чрезвычайно осторожного обращения.

— Потому я и накрыл... Да вы заходите, товарищ, а то так очень неудобно разговаривать.

— Благодарю вас, — сказал голос.

Прямо передо мной неторопливо сконденсировался бледный, весьма корректный человек в превосходно сидящем сером костюме. Несколько склонив голову набок, он осведомился с изысканнейшей вежливостью:

— Смею ли надеяться, что не слишком обеспокоил вас?

— Отнюдь, — сказал я, поднимаясь. — Прошу вас, садитесь и будьте как дома. Угодно чайку?

— Благодарю вас, — сказал незнакомец и сел напротив меня, изящным жестом поддернув штанины. — Что же касается чаю, то прошу извинения, Александр Иванович, я только что отужинал.

Некоторое время он, светски улыбаясь, глядел мне в глаза. Я тоже улыбался.

— Вы, вероятно, насчет дивана? — сказал я. — Дивана, увы, нет. Мне очень жаль, и я даже не знаю...

Незнакомец всплеснул руками.

— Какие пустяки! — сказал он. — Как много шума из-за какого-то, простите, вздора, в который никто к тому же по-настоящему не верит... Посудите сами, Александр Иванович, устраивать склоки, безобразные кинопогони, беспокоить людей из-за мифического — я не боюсь этого слова, — именно мифического Белого Тезиса... Каждый трезво мыслящий человек рассматривает диван как универсальный транслятор, несколько громоздкий, но весьма добротный и устойчивый в работе. И тем более смешны старые невежды, болтающие о Белом Тезисе... Нет, я и говорить не желаю об этом диване.

— Как вам будет благоугодно, — сказал я, сосредоточив в этой фразе всю свою светскость. — Поговорим о чем-нибудь другом.

— Суеверия... Предрассудки... — рассеянно проговорил незнакомец. — Леность ума и зависть, зависть, поросшая волосами зависть... — Он прервал самого себя. — Простите, Александр Иванович, но я бы осмелился все-таки просить вашего разрешения убрать этот ковш. К сожалению, железо практически не прозрачно для гиперполя, а возрастание напряженности гиперполя в малом объеме...

Я поднял руки.

— Ради бога, все, что вам угодно! Убирайте ковшик... Убирайте даже этот самый... ум... ум... эту волшебную палочку... — Тут я остановился, с изумлением обнаружив, что ковшика больше нет. Цилиндр стоял в луже жидкости, похожей на окрашенную ртуть. Жидкость быстро испарялась.

— Так будет лучше, уверяю вас, — сказал незнакомец. — Что же касается вашего великодушного предложения убрать умклайдет, то я, к сожалению, не могу им воспользоваться. Это уже вопрос морали и этики, вопрос чести, если угодно... Условности так сильны! Я позволю себе посоветовать вам

больше не прикасаться к умклайдету. Я вижу, вы ушиблись, и этот орел... Я думаю, вы чувствуете... э-э... некоторое амбрэ.

— Да,— сказал я с чувством.— Воняет гадостно. Как в обезьяннике.

Мы посмотрели на орла. Гриф, нахохлившись, дремал.

— Искусство управлять умклайдетом,— сказал незнакомец,— это сложное и тонкое искусство. Вы ни в коем случае не должны огорчаться или упрекать себя. Курс управления умклайдетом занимает восемь семестров и требует основательного знания квантовой алхимии. Как программист вы, вероятно, без особого труда освоили бы умклайдет электронного уровня, так называемый УЭУ-17... Но квантовый умклайдет... гиперполя... трансгрессивные воплощения... обобщенный закон Ломоносова — Лавуазье...— Он виновато развел руками.

— О чём разговор! — поспешил сказать я.— Я ведь и не претендую... Конечно же, я абсолютно не подготовлен.

Тут я спохватился и предложил ему закурить.

— Благодарю вас,— сказал незнакомец.— Не употребляю, к великому моему сожалению.

Тогда, пошевелив от вежливости пальцами, я осведомился — не спросил, а именно осведомился:

— Не позволено ли мне будет узнать, чему я обязан приятности нашей встречи?

Незнакомец опустил глаза.

— Боюсь показаться нескромным,— сказал он,— но, увы, я должен признаться, что уже довольно давно нахожусь здесь. Мне не хотелось бы называть имена, но, я думаю, даже вам, как вы ни далеки от всего этого, Александр Иванович, ясно, что вокруг дивана возникла некоторая нездоровая суета, наревает скандал, атмосфера накаляется, напряженность растет. В такой обстановке неизбежны ошибки, чрезвычайно нежелательные случайности... Не будем далеко ходить за примерами. Некто — повторяю, мне не хотелось бы называть имена, тем более что это сотрудник, достойный всяческого уважения, а говоря об уважении, я имею в виду если не манеры, то большой талант и самоотверженность, — так вот, некто, спеша и нервничая, теряет здесь умклайдет, и умклайдет становится центром сферы событий, в которые оказывается вовлеченным человек, совершенно к онym не причастный... — Он поклонился в мою сторону.— А в таких случаях совершенно необходимо воздействие, как-то нейтрализующее вредные влияния...— Он значительно посмотрел на отпечатки ботинок на потолке. Затем



улыбнулся мне.— Но я не хотел бы показаться абстрактным альтруистом. Конечно, все эти события меня весьма интересуют как специалиста и как администратора... Впрочем, я не намерен более мешать вам, и, поскольку вы сообщили мне уверенность в том, что больше не будете экспериментировать с умклайдетом, я попрошу у вас разрешения откланяться.

Он поднялся.

— Ну что вы! — вскричал я.— Не уходите! Мне так приятно беседовать с вами, у меня к вам тысяча вопросов!..

— Я чрезвычайно ценю вашу деликатность, Александр Иванович, но вы утомлены, вам необходимо отдохнуть...

— Нисколько! — горячо возразил я.— Наоборот!

— Александр Иванович,— произнес незнакомец, ласково улыбаясь и пристально глядя мне в глаза.— Но ведь вы действительно утомлены. И вы действительно хотите отдохнуть.

И тут я почувствовал, что действительно засыпаю. Глаза мои слипались. Говорить больше не хотелось. Ничего больше не хотелось. Страшно хотелось спать.

— Было исключительно приятно познакомиться с вами,— сказал незнакомец негромко.

Я видел, как он начал бледнеть, бледнеть и медленно растворился в воздухе, оставив после себя легкий запах дорогого одеколона. Я кое-как расстелил матрас на полу, ткнулся лицом в подушку и моментально заснул.

Разбудило меня хлопанье крыльев и неприятный клекот. В комнате стоял странный голубоватый полумрак. Орел на печке шуршал, гнусно орал и стучал крыльями по потолку. Я сел и огляделся. На середине комнаты парил в воздухе здоровенный детина в тренировочных брюках и в полосатой гавайке навыпуск. Он парил над цилиндром и, не прикасаясь к нему, плавно помавал огромными костистыми лапами.

— В чем дело? — спросил я.

Детина мельком взглянул на меня из-под плеча и отвернулся.

— Не слышу ответа,— сказал я зло. Мне все еще очень хотелось спать.

— Тихо, ты, смертный,— сипло произнес детина. Он прекратил свои пассы и взял цилиндр с пола. Голос его показался мне знакомым.

— Эй, приятель! — сказал я угрожающе.— Положи эту штуку на место и очисти помещение.

Детина смотрел на меня, выпячивая челюсть. Я откинулся на спину и встал.

— А ну положи умклайдет! — сказал я в полный голос.

Детина опустился на пол и, прочно упершись ногами, принял стойку. В комнате стало гораздо светлее, хотя лампочка не горела.

— Детка, — сказал детина, — ночью надо спать. Лучше ляг сам.

Парень был явно не дурак податься. Я, впрочем, тоже.

— Может, выйдем во двор? — деловито предложил я, подтягивая трусы.

Кто-то вдруг произнес с выражением:

— «Устремив свои мысли на высшее Я, свободный от вожделения и себялюбия, исцелившись от душевной горячки, сражайся, Арджуна!»

Я вздрогнул. Парень тоже вздрогнул.

— «Бхагават — Гита!» — сказал голос. — Песнь третья, стих тридцатый.

— Это зеркало, — сказал я машинально.

— Сам знаю, — проворчал детина.

— Положи умклайдет, — потребовал я.

— Чего ты орешь, как больной слон? — сказал парень. — Твой он, что ли?

— А может быть, твой?

— Да, мой!

Тут меня осенило.

— Значит, диван тоже ты уволок?

— Не суйся не в свои дела, — посоветовал парень.

— Отдай диван, — сказал я. — На него расписка написана.

— Пошел к черту! — сказал детина, озираясь.

И тут в комнате появились еще двое: Тощий и Толстый, оба в полосатых пижамах, похожие на узников Синг-Синга.

— Корнеев! — завопил Толстый. — Так это вы воруете диван?! Какое безобразие!

— Идите вы все... — сказал детина.

— Вы грубиян! — закричал Толстый. — Вас гнать надо!

Я на вас докладную подам!

— Ну и подавайте, — мрачно сказал Корнеев. — Займитесь любимым делом.

— Не смейте разговаривать со мной в таком тоне! Вы мальчишка! Вы дерзец! Вы забыли здесь умклайдет! Молодой человек мог пострадать!

— Я уже пострадал,— вмешался я.— Дивана нет, сплю как собака, каждую ночь разговоры... Орел этот вонючий...

Толстый немедленно повернулся ко мне.

— Неслыханное нарушение дисциплины,— заявил он.— Вы должны жаловаться... А вам должно быть стыдно! — Он снова повернулся к Корнееву.

Корнеев угрюмо запихивал умклайдет за щеку. Тощий вдруг спросил тихо и угрожающе:

— Вы сняли Тезис, Корнеев?

Детина мрачно ухмыльнулся.

— Да нет там никакого Тезиса,— сказал он.— Что вы все сепетите? Не хотите, чтобы мы диван воровали — дайте нам другой транслятор...

— Вы читали приказ о неизъятии предметов из запасника? — грозно осведомился Тощий.

Корнеев сунул руки в карманы и стал смотреть в потолок.

— Вам известно постановление Ученого совета? — осведомился Тощий.

— Мне, товарищ Демин, известно, что понедельник начинается в субботу,— угрюмо сказал Корнеев.

— Не разводите демагогию,— сказал Тощий.— Немедленно верните диван и не смейте сюда больше возвращаться.

— Не верну я диван,— сказал Корнеев.— Эксперимент закончим — вернем.

Толстый устроил безобразную сцену. «Самоуправство!..— визжал он.— Хулиганство!..» Гриф опять взорвался заорал. Корнеев, не вынимая рук из карманов, повернулся спиной и шагнул сквозь стену. Толстяк устремился за ним с криком: «Нет, вы вернете диван!» Тощий сказал мне:

— Это недоразумение. Мы примем меры, чтобы оно не повторилось.

Он кивнул и тоже двинулся к стене.

— Погодите! — вскричал я.— Орла! Орла заберите! Вместе с запахом!

Тощий, уже наполовину войдя в стену, обернулся и поманил орла пальцем. Гриф шумно сорвался с печки и втянулся ему под ноготь. Тощий исчез. Голубой свет медленно померк, стало темно, в окно снова забаранил дождь. Я включил свет и оглядел комнату. В комнате все было по-прежнему, только на печке зияли глубокие царапины от когтей грифа да на потолке дико и нелепо темнели рубчатые следы моих ботинок.

— Прозрачное масло, находящееся в корове,— с идиотским

глубокомыслием произнесло зеркало,— не способствует ее питанию, но оно снабжает наилучшим питанием, будучи обработано надлежащим способом.

Я выключил свет и улегся. На полу было жестко, тянуло холодом. «Будет мне завтра от старухи», — подумал я.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Нет, — произнес он в ответ настойчивому вопросу моих глаз, — я не член клуба, я — призрак.

— Хорошо, но это не дает вам права расхаживать по клубу.

Г. ДЖ. УЭЛЛС

Утром оказалось, что диван стоит на месте. Я не удивился. Я только подумал, что так или иначе старуха добилась своего: диван стоит в одном углу, а я лежу в другом. Собирая постель и делая зарядку, я размышлял о том, что существует, вероятно, некоторый предел способности к удивлению. По-видимому, я далеко шагнул за этот предел. Я даже испытывал некоторое утомление. Я пытался представить себе что-нибудь такое, что могло бы меня сейчас поразить, но фантазии у меня не хватало. Это мне очень не нравилось, потому что я терпеть не могу людей, неспособных удивляться. Правда, я был далек от психологии «подумаешьэканевидаль», скорее, мое состояние напоминало состояние Алисы в Стране Чудес: я был словно во сне и принимал и готов был принять любое чудо за должное, требующее более развернутой реакции, нежели простое разевание рта и хлопанье глазами.

Я еще делал зарядку, когда в прихожей хлопнула дверь, зашаркали и застучали каблуки, кто-то закашлял, что-то загремело и упало, и начальственный голос позвал: «Товарищ Горыныч!» Старуха не отозвалась, и в прихожей начали разговаривать: «Что это за дверь?.. А, понятно. А это?» — «Тут вход в музей». — «А здесь?.. Что это — все заперто, замки...» — «Весьма хозяйственная женщина, Янус Полуэктович. А это телефон». — «А где же знаменитый диван? В музее?» — «Нет. Тут должен быть запасник».

— Это здесь, — сказал знакомый угрюмый голос.

Дверь моей комнаты распахнулась, и на пороге появился

высокий худощавый старик с великолепной снежно-белой сединой, чернобровый и черноусый, с глубокими черными глазами. Увидев меня (я стоял в одних трусах, руки в стороны, ноги на ширине плеч), он приостановился и звучным голосом произнес:

— Так.

Справа и слева от него заглядывали в комнату еще какие-то лица. Я сказал: «Прошу прощения» — и побежал к своим джинсам. Впрочем, на меня не обратили внимания. В комнату вошли четверо и столпились вокруг дивана. Двоих я знал: угрюмого Корнеева, небритого, с красными глазами, все в той же легкомысленной гавайке, и смуглого, горбоносого Романа, который подмигнул мне, сделал непонятный знак рукой и сейчас же отвернулся. Седовласого я не знал. Не знал я и полного, рослого мужчину в черном, лоснящемся со спины костюме и с широкими хозяйственными движениями.

— Вот этот диван? — спросил лоснящийся мужчина.

— Это не диван, — угрюмо сказал Корнеев. — Это транслятор.

— Для меня это диван, — заявил лоснящийся, глядя в записную книжку. — Диван мягкий, полуторный, инвентарный номер одиннадцать двадцать три. — Он наклонился и пощупал. — Вот он у вас влажный, Корнеев, таскали под дождем. Теперь считайте: пружины проржавели, обшивка сгнила.

— Ценность данного предмета, — как мне показалось, издевательски произнес горбоносый Роман, — заключается отнюдь не в обшивке и даже не в пружинах, которых нет.

— Вы это прекратите, Роман Петрович, — предложил лоснящийся с достоинством. — Вы мне вашего Корнеева не выгораживайте. Диван проходит у меня по музею и должен там находиться...

— Это прибор, — сказал Корнеев безнадежно. — С ним работают...

— Этого я не знаю, — заявил лоснящийся. — Я не знаю, что это за работа с диваном.



— А мы вот знаем,— тихонько сказал Роман.

— Вы это прекратите,— сказал лоснящийся, поворачиваясь к нему.— Вы здесь не в пивной, вы здесь в учреждении. Что вы, собственно, имеете в виду?

— Я имею в виду, что это не есть диван,— сказал Роман.— Или, в доступной для вас форме, это есть не совсем диван. Это есть прибор, имеющий внешность дивана.

— Я попросил бы прекратить эти намеки,— решительно сказал лоснящийся.— Насчет доступной формы и все такое. Давайте каждый делать свое дело. Мое дело — прекратить разбазаривание, и я его прекращаю.

— Так,— звучно сказал седовласый. Сразу стало тихо.— Я беседовал с Кристобалем Хозевичем и с Федором Симеоновичем. Они полагают, что этот диван-транслятор представляет лишь музейную ценность. В свое время он принадлежал королю Рудольфу Второму, так что историческая ценность его неоспорима. Кроме того, года два назад, если память мне не изменяет, мы уже выписывали серийный транслятор... Кто его выписывал, вы не помните, Модест Матвеевич?

— Одну минутку,— сказал лоснящийся Модест Матвеевич и стал быстро листать записную книжку.— Одну минуточку... Транслятор двухходовой ТДХ-80Е Китежградского завода... По заявке товарища Бальзамо.

— Бальзамо работает на нем круглосуточно,— сказал Роман.

— И барахло этот ТДХ,— добавил Корнеев.— Избирательность на молекулярном уровне.

— Да-да,— сказал седовласый.— Я пришоминаю. Был доклад об исследовании ТДХ. Действительно, кривая солективности не гладкая... Да. А этот... э... диван?

— Ручной труд,— быстро сказал Роман.— Безотказен. Конструкции Льва бен Бецалеля. Бен Бецалель собирал и отлаживал его триста лет...

— Вот! — сказал лоснящийся Модест Матвеевич.— Вот как надо работать! Стариk, а все делал сам.

Зеркало вдруг прокашлялось и сказало:

— Все оне помолодели, пробыв час в воде, и вышли из нее такими же красивыми, розовыми, молодыми и здоровыми, сильными и жизнерадостными, какими были в двадцать лет.

— Вот именно,— сказал Модест Матвеевич. Зеркало говорило голосом седовласого.

Седовласый досадливо поморщился.

- Не будем решать этот вопрос сейчас, — произнес он.
- А когда? — спросил грубый Корнеев.
- В пятницу на Ученом совете.
- Мы не можем разбазаривать реликвии, — вставил Модест Матвеевич.
- А мы что будем делать? — спросил грубый Корнеев.

Зеркало забубнило угрожающим замогильным голосом:

Видел я сам, как, подобравши черные платья,
Шла босая Канидия, простоволосая, с воем,
С ней и Сагана, постарше годами, и бледные обе.
Страшны были на вид. Тут начали землю ногтями
Обе рвать и черного рвать зубами ягненка...

Седовласый, весь сморщившись, подошел к зеркалу, запустил в него руку по плечу и чем-то щелкнул. Зеркало замолчало.

— Так, — сказал седовласый. — Вопрос о вашей группе мы тоже решим на совете. А вы... — По лицу его было видно, что он забыл имя-отчество Корнеева, — вы пока воздержитесь... э... от посещения музея.

С этими словами он вышел из комнаты. Через дверь.

— Добились своего, — сказал Корнеев сквозь зубы, глядя на Модеста Матвеевича.

— Разбазаривать не дам, — коротко ответил тот, засовывая во внутренний карман записную книжку.

— Разбазаривать! — сказал Корнеев. — Плевать вам на все это. Вас отчетность беспокоит. Лишнюю графу вводить неохота.

— Вы это прекратите, — сказал непреклонный Модест Матвеевич. — Мы еще назначим комиссию и посмотрим, не повреждена ли реликвия...

— Инвентарный номер одиннадцать двадцать три, — вполголоса добавил Роман.

— В таком вот акценте, — величественно произнес Модест Матвеевич, повернулся и увидел меня. — А вы что здесь делаете? — осведомился он. — Почему это вы здесь спите?

— Я... — начал я.

— Вы спали на диване, — провозгласил ледяным тоном Модест, сверля меня взглядом контразведчика. — Вам известно, что это прибор?

— Нет, — сказал я. — То есть теперь известно, конечно.

— Модест Матвеевич! — воскликнул горбоносый Роман.— Это же наш новый программист, Саша Привалов!

— А почему он здесь спит? Почему не в общежитии?

— Он еще не зачислен,— сказал Роман, обнимая меня за талию.

— Тем более!

— Значит, пусть спит на улице? — злобно спросил Корнеев.

— Вы это прекратите,— сказал Модест.— Есть общежитие, есть гостиница, а здесь музей, госучреждение. Если все будут спать в музеях... Вы откуда?

— Из Ленинграда,— сказал я мрачно.

— Вот если я приеду в Ленинград и пойду спать в Эрмитаж?

— Пожалуйста,— сказал я, пожимая плечами.

Роман все держал меня за талию.

— Модест Матвеевич, вы совершенно правы, непорядок, но сегодня он будет ночевать у меня.

— Это другое дело. Это пожалуйста,— великолдушино разрешил Модест. Он хозяйственным взглядом окинул комнату, увидел отпечатки на потолке и сразу же посмотрел на мои ноги. К счастью, я был босиком.— В таком вот акценте,— сказал он, поправил рухлядь на вешалке и вышел.

— Д-дубина,— выдавил из себя Корнеев.— Пень.— Он сел на диван и взялся за голову.— Ну их всех к черту. Сегодня же ночью опять утащу.

— Спокойно,— ласково сказал Роман.— Ничего страшного. Нам просто немножко не повезло. Ты заметил, какой это Янус?

— Ну? — сказал Корнеев безнадежно.

— Это же А-Янус.

Корнеев поднял голову.

— И какая разница?

— Огромная,— сказал Роман и подмигнул.— Потому что У-Янус улетел в Москву. И в частности — по поводу этого дивана. Понял, расхититель музеиных ценностей?

— Слушай, ты меня спасаешь,— сказал Корнеев, и я впервые увидел, как он улыбается.

— Дело в том, Саша,— сказал Роман, обращаясь ко мне,— что у нас идеальный директор. Он один в двух лицах. Есть А-Янус Полуэктович и У-Янус Полуэктович. У-Янус — это крупный ученый международного класса. Что же касается А-Януса, то это довольно обыкновенный администратор.

— Близнецы? — осторожно спросил я.

— Да нет, это один и тот же человек. Только он один в двух лицах.

— Ясно,— сказал я и стал надевать ботинки.

— Ничего, Саша, скоро все узнаешь,— сказал Роман ободряюще.

Я поднял голову.

— То есть?

— Нам нужен программист,— проникновенно сказал Роман.

— Мне очень нужен программист,— сказал Корнеев, оживляясь.

— Всем нужен программист,— сказал я, возвращаясь к ботинкам.— И прошу без гипноза и прочих заколдованных мест.

— Он уже догадывается,— сказал Роман.

Корнеев хотел что-то сказать, но за окном грянули крики.

— Это не наш пятак! — кричал Модест.

— А чей же это пятак?

— Я не знаю, чей это пятак! Это не мое дело! Это ваше дело — ловить фальшивомонетчиков, товарищ сержант!..

— Пятак изъят у некоего Привалова, какой проживает здесь у вас, в Иznакурноже!..

— Ах, у Привалова? Я сразу подумал, что он ворюга!

Укоризненный голос А-Януса произнес:

— Ну-ну, Модест Матвеевич!

— Нет, извините, Янус Полузкотович! Этого нельзя так оставить! Товарищ сержант, пройдемте!.. Он в доме... Янус Полузкотович, встаньте у окна, чтобы он не выскочил! Я докажу! Я не позволю бросать тень на товарища Горыныч!..

У меня нехорошо похолодело внутри. Но Роман уже оценил положение. Он схватил с вешалки засаленный картуз и нахлобучил мне на уши.

Я исчез.

Это было очень странное ощущение. Все осталось на месте, все, кроме меня. Но Роман не дал мне насытиться новыми переживаниями.

— Это кепка-невидимка,— прошипел он.— Отойди в сторонку и помалкивай.

Я на цыпочках отбежал в угол и сел под зеркало. В ту же секунду в комнату ворвался возбужденный Модест, волоча за рукав юного сержанта Ковалева.

— Где он? — завопил Модест, озираясь.

— Вот,— сказал Роман, показывая на диван.

— Не беспокойтесь, стоит на месте,— добавил Корнеев.

— Я спрашиваю, где этот ваш... программист?

— Какой программист? — удивился Роман.

— Вы это прекратите, — сказал Модест. — Здесь был программист. Он стоял в брюках и без ботинок.

— Ах, вот что вы имеете в виду, — сказал Роман. — Но мы же пошутили, Модест Матвеевич. Не было здесь никакого программиста. Это было просто... — Он сделал какое-то движение руками, и посередине комнаты возник человек в майке и в джинсах. Я видел его со спины и ничего о нем сказать не могу, но юный Ковалев покачал головой и сказал:

— Нет, это не он.

Модест обошел призрак кругом, бормоча:

— Майка... штаны... без ботинок... Он! Это он.

Призрак исчез.

— Да нет же, это не тот, — сказал сержант Ковалев. — Тот был молодой, без бороды...

— Без бороды? — переспросил Модест. Он был сильно сконфужен.

— Без бороды, — подтвердил Ковалев.

— М-да... — сказал Модест. — А по-моему, у него была борода...

— Так я вручаю вам повестку, — сказал юный Ковалев и протянул Модесту листок бумаги казенного вида. — А вы уж сами разбирайтесь со своим Приваловым и со своей Горыныч...

— А я вам говорю, что это не наш пятач! — заорал Модест. — Я про Привалова ничего не говорю, может быть, Привалова и вообще нет как такового... Но товарищ Горыныч наша сотрудница!..

Юный Ковалев, прижимая руки к груди, пытался что-то сказать.

— Я требую разобраться немедленно! — орал Модест. — Вы мне это прекратите, товарищи милиция! Данная повестка бросает тень на весь коллектив! Я требую, чтобы вы убедились!

— У меня приказ... — начал было Ковалев, но Модест с криком: «Вы это прекратите! Я настаиваю!» — бросился на него и поволок из комнаты.

— В музей повлек, — сказал Роман. — Саша, где ты? Снимай кепку, пойдем посмотрим...

— Может, лучше не снимать? — сказал я.

— Снимай, снимай, — сказал Роман. — Ты теперь фантом. В тебя теперь никто не верит — ни администрация, ни милиция... Корнеев сказал:

— Ну, я пошел спать. Саша, ты приходи после обеда. Посмотришь наш парк машин и вообще...

Я снял кепку.

— Вы это прекратите, — сказал я. — Я в отпуске.

— Пойдем, пойдем, — сказал Роман.

В прихожей Модест, вцепившись одной рукой в сержанта, другой отщирал мощный висячий замок. «Сейчас я вам покажу наш пятак! — кричал он. — Все защищовано... Все на месте». — «Да я ничего не говорю, — слабо защищался Ковалев. — Я только говорю, что пятаков может быть не один...» Модест распахнул дверь, и мы все вошли в обширное помещение.

Это был вполне приличный музей — со стендами, диаграммами, витринами, макетами и муляжами. Общий вид более всего напоминал музей криминалистики: много фотографий и неаппетитных экспонатов. Модест сразу уволок сержанта куда-то за стены, и там они вдвоем загудели как в бочку: «Вот наш пятак...» — «А я ничего и не говорю...» — «Товарищ Горыныч...» — «А у меня приказ!..» — «Вы мне это прекратите!..»

— Полюбопытствуй, полюбопытствуй, Саша, — сказал Роман, сделал широкий жест и сел в кресло у входа.

Я пошел вдоль стены. Я ничему не удивлялся. Мне было просто очень интересно. «Вода живая. Эффективность 52%. Допустимый осадок 0,3» (старинная прямоугольная бутыль с водой, пробка залита цветным воском). «Схема промышленного добывания живой воды». «Макет живоводоперегонного куба». «Зелье приворотное Вешковского-Траубенбаха» (алтекарская баночка с ядовито-желтой мазью). «Кровь щорченая обыкновенная» (запаянная ампула с черной жидкостью)... Над всем этим стендом висела табличка: «Активные химические средства. XII—XVIII вв.». Тут было еще много бутылочек, баночек, реторт, ампул, пробирок, действующих и недействующих моделей установок для возгонки, перегонки и сгущения, но я пошел дальше.

«Меч-кладенец» (очень ржавый двуручный меч с волнистым лезвием, прикован цепью к железной стойке, витрина тщательно опечатана). «Правый глазной (рабочий) зуб графа Дракулы Задунайского» (я не Кювье, но, судя по этому зубу, граф Дракула Задунайский был человеком весьма странным и неприятным). «След обыкновенный и след вынутый. Гипсовые отливки» (следы, по-моему, не отличались друг от друга, но одна отливка была с трещиной). «Стула на стартовой площадке. IX век» (мощное сооружение из серого пористого



чугуна)... «Змей Горыныч, скелет, 1/25 нат. вел.» (похоже на скелет диплодока с тремя шеями)... «Схема работы огнедышащей железы средней головы»... «Сапоги-скороходы гравитационные, действующая модель» (очень большие резиновые сапоги)... «Ковер-самолет гравизащитный. Действующая модель» (ковер примерно полтора на полтора, с черкесом, обнимающим младую черкешенку на фоне соплеменных гор)...

Я дошел до стендса «Развитие идеи философского камня», когда в зале вновь появились сержант Ковалев и Модест Матвеевич. Судя по всему, им так и не удалось сдвинуться с мертвоточки. «Вы это прекратите», — вяло говорил Модест. «У меня приказ», — так же вяло ответствовал Ковалев. «Наш пятак на месте...» — «Вот пусть старуха явится и даст показания...» — «Что же мы, по-вашему, фальшивомонетчики?...» — «А я этого и не говорил...» — «Тень на весь коллектив...» — «Разберемся...» Ковалев меня не заметил, а Модест остановился, мутно осмотрел с головы до ног, а затем поднял глаза, вяло прочитал вслух: «Го-мунку-лус лабораторный, общий вид», — и пошел дальше.

Я двинулся за ним, предчувствуя нехорошее. Роман ждал нас у дверей.

— Ну как? — спросил он.

— Безобразие, — вяло сказал Модест. — Бюрократы.

— У меня приказ, — упрямо повторил сержант Ковалев уже из прихожей.

— Ну, выходите, Роман Петрович, выходите, — сказал Модест, позывая ключами.

Роман вышел. Я сунулся было за ним, но Модест остановил меня.

— Я извиняюсь, — сказал он. — А вы куда?

— Как куда? — сказал я упавшим голосом.

— На место, на место идите.

— На какое место?

— Ну, где вы там стоите? Вы, извиняюсь, это... хаммункулус? Ну и стойте, где положено.

Я понял, что погиб. И я бы наверное погиб, потому что Роман, по-видимому, тоже растерялся, но в эту минуту в прихожую с топотом и стуком ввалилась Наина Киевна, ведя на веревке здоровенного черного козла. При виде сержанта милиции козел взмежекнул дурным голосом и рванулся прочь. Наина Киевна упала. Модест кинулся в прихожую, и поднялся невообразимый шум. С грохотом покатилась пустая кадушка.

Роман схватил меня за руку и, прошептав: «Ходу, ходу!..», бросился в мою комнату. Мы захлопнули за собой дверь и навалились на нее, тяжело дыша. В прихожей кричали:

- Предъявите документы!
- Батюшки, да что же это!
- Почему козел?! Почему в помещении козел?!
- Мэ-э-э-э...
- Вы это прекратите, здесь не пивная!
- Не знаю я ваших пятаков и не ведаю!
- Мэ-э-э!..
- Гражданка, уберите козла!
- Прекратите, козел заприходован!
- Как заприходован?!
- Это не козел! Это наш сотрудник!
- Тогда пусть предъявит!..
- Через окно — и в машину! — приказал Роман.

Я схватил куртку и выпрыгнул в окно. Из-под ног моих с мяном шарахнулся кот Василий. Пригибаясь, я подбежал к машине, распахнул дверцу и вскочил за руль. Роман уже откатывал воротину. Мотор не заводился. Терзая стартер, я увидел, как дверь избы распахнулась, из прихожей вылетел черный козел и гигантскими прыжками помчался прочь кудато за угол. Мотор взревел. Я развернул машину и вылетел на улицу. Дубовая воротина с треском захлопнулась. Роман вынырнул из калитки и с размаху сел рядом со мной.

— Ходу! — сказал он бодро. — В центр!

Когда мы поворачивали на проспект Мира, он спросил:

- Ну, как тебе у нас?
- Нравится, — сказал я. — Только очень шумно.
- У Наины всегда шумно, — сказал Роман. — Вздорная ста-руха. Она тебя не обижала?
- Нет, — сказал я. — Мы почти и не общались.
- Подожди-ка, — сказал Роман. — Притормози.
- А что?
- А вон Володька идет. Помнишь Володю?
- Я затормозил. Бородатый Володя влез на заднее сиденье и, радостно улыбаясь, пожал нам руки.
- Вот здорово! — сказал он. — А я как раз к вам иду!
- Только тебя там и не хватало, — сказал Роман.
- А чем все кончилось?
- Ничем, — сказал Роман.
- А куда вы теперь едете?

- В институт,— сказал Роман.
- Зачем? — спросил я.
- Работать,— сказал Роман.
- Я в отпуске.
- Это неважно,— сказал Роман.— Понедельник начинается в субботу, а август на этот раз начнется в июле!
- Меня ребята ждут,— сказал я умоляюще.
- Это мы берем на себя,— сказал Роман.— Ребята абсолютно ничего не заметят.
- С ума сойти,— сказал я.

Мы проехали между магазином № 2 и столовой № 11.

- Он уже знает, куда ехать,— заметил Володя.
- Отличный парень,— сказал Роман.— Гигант!
- Он мне сразу понравился,— сказал Володя.
- Видимо, вам позарез нужен программист,— сказал я.
- Далеко не всякий программист,— возразил Роман.

Я затормозил возле странного здания с вывеской «НИИЧАВО» между окнами.

— Что это означает? — спросил я.— Могу я по крайней мере узнать, где меня вынуждают работать?

— Можешь,— сказал Роман.— Ты теперь все можешь. Это Научно-Исследовательский Институт Чародейства и Волшебства... Ну, что же ты стал? Загоняй машину!

— Куда? — спросил я.

— Ну неужели ты не видишь?

И я увидел.

Но это уже совсем другая история.





ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

СУЕТА СУЕТ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Среди героев рассказа выделяются один-два главных героя, все остальные рассматриваются как второстепенные.

«Методика преподавания литературы»

Около двух часов дня, когда в «Алдане» снова перегорел предохранитель вводного устройства, раздался телефонный звонок. Звонил заместитель директора по административно-хозяйственной части Модест Матвеевич Камноедов.

— Привалов, — сурохо сказал он, — почему вы опять не на месте?

— Как это не на месте? — обиделся я. День сегодня выдался хлопотливый, и я все позабыл.

— Вы это прекратите, — сказал Модест Матвеевич. — Вам уже пять минут назад надлежало явиться ко мне на инструктаж.

— Елки-палки, — сказал я и повесил трубку.

Я выключил машину, снял халат и велел девочкам не забыть вырубить ток. В большом коридоре было пусто, за полузамерзшими окнами мела пурга. Надевая на ходу куртку, я побежал в хозяйственный отдел.

Модест Матвеевич в лоснящемся костюме величественно ждал меня в собственной приемной. За его спиной маленький гном с волосатыми ушами уныло и старательно возил пальцами по обширной ведомости.

— Вы, Привалов, как какой-нибудь этот... хам-мункулус, — произнес Модест. — Никогда вас нет на месте.

С Модестом Матвеевичем все старались поддерживать только хорошие отношения, поскольку человек он был могучий, непреклонный и фантастически невежественный. Поэтому я рявкнул: «Слушаюсь!» — и щелкнул каблуками.

— Все должны быть на своих местах, — продолжал Модест Матвеевич. — Всегда. У вас вот высшее образование, и очки, и бороду вот отрастили, а понять такой простой теоремы не можете.

— Больше не повторится! — сказал я, выкатив глаза.

— Вы это прекратите, — сказал Модест Матвеевич, смягчаясь. Он извлек из кармана лист бумаги и некоторое время глядел в него. — Так вот, Привалов, — сказал он наконец, — сегодня вы заступаете дежурным. Дежурство по учреждению во время праздников — занятие ответственное. Это вам не кнопки нажимать. Во-первых — противопожарная безопасность. Это первое. Не допускать самовозгорания. Следить за обесточенностью вверенных вам производственных площадей. И следить лично, без этих ваших фокусов с раздваиваниями и растраиваниями. Без этих ваших дубелей. При обнаружении фактора горения немедленно звонить по телефону 01 и приступать к принятию мер. На этот случай получите сигнальную дудку для вызова аварийной команды... — Он вручил мне платиновый свисток с инвентарным номером. — А также никого не пускать. Вот это список лиц, которым

разрешено пользование лабораториями в ночной период, но их все равно тоже не пускать, потому что праздник. Во всем институте чтобы ни одной живой души. Демонов на входе и выходе заговорить. Понимаете обстановку? Живые души не должны входить, а все прочие не должны выходить. Потому что уже был пренцедент, сбежал черт и украл луну. Широко известный пренцедент, даже в кино отражен.— Он значительно на меня посмотрел и вдруг спросил документы.

Я повиновался. Он внимательно исследовал мой пропуск, вернул его и произнес:

— Все верно. А то было у меня подозрение, что вы все-таки дубель. Вот так. Значит, в пятнадцать ноль-ноль в соответствии с трудовым законодательством рабочий день закончится, и все сдадут вам ключи от своих производственных помещений. После чего вы лично осмотрите территорию. В дальнейшем производите обходы каждые три часа на предмет самовозгорания. Не менее двух раз за период дежурства посетите виварий. Если надзиратель пьет чай — прекратите. Были сигналы: не чай он там пьет. В таком вот аксente. Пост ваш в приемной у директора. На диване можете отдыхать. Завтра в шестнадцать ноль-ноль вас сменит Почкин Владимир из лаборатории товарища Ойры-Ойры. Доступно?

— Вполне, — сказал я.

— Я буду звонить вам ночью и завтра днем. Лично. Возможен контроль и со стороны товарища завкадрами.

— Вас понял, — сказал я и проглядел список.

Первым в списке значился директор института Янус Полуэктович Невстрueв с карандашной пометкой «два экз.». Вторым шел лично Модест Матвеевич, третьим — товарищ завкадрами гражданин Демин Кербер Псоевич. А дальше шли фамилии, которых я никогда и нигде не встречал.

— Что-нибудь недоступно? — осведомился Модест Матвеевич, ревниво за мной следивший.

— Вот тут, — сказал я веско, тыча пальцем в список, — наличествуют товарищи в количестве... м-м-м... двадцати одного экземпляра, лично мне не известные. Эти фамилии я хотел бы с вами лично провентилировать.— Я посмотрел ему прямо в глаза и добавил твердо: — Во избежание.

Модест Матвеевич взял список и оглядел его на расстоянии вытянутой руки.

— Все верно, — сказал он снисходительно.— Просто вы, Привалов, не в курсе. Лица, поименованные с номера четвер-

того по номер двадцать пятый, и последний, включительно, занесены в списки лиц, допущенных к ночным работам посмертно. В порядке признания их заслуг в прошлом. Теперь вам доступно?

Я слегка обалдел, потому что привыкнуть ко всему этому было все-таки очень трудно.

— Занимайте свой пост,— величественно сказал Модест Матвеевич.— Я со своей стороны и от имени администрации поздравляю вас, товарищ Привалов, с наступающим Новым годом и желаю вам в новом году соответствующих успехов как в работе, так и в личной жизни.

Я тоже пожелал ему соответствующих успехов и вышел в коридор.

Узнавши вчера о том, что меня назначили дежурным, я обрадовался: я намеревался закончить один расчет для Романа Ойры-Ойры. Однако теперь я чувствовал, что дело обстоит не так просто. Перспектива провести ночь в институте представилась мне вдруг в совершенно новом свете. Я и раньше задерживался на работе допоздна, когда дежурные из экономии уже гасили четыре лампы из пяти в каждом коридоре, и приходилось пробираться к выходу мимо каких-то шарахающихся мохнатых теней. Первое время это производило на меня сильнейшее впечатление, потом я привык, а потом снова отвык, когда, возвращаясь однажды по большому коридору, услышал сзади мерное цок-цок-цок когтей по паркету и, оглянувшись, обнаружил некое фосфоресцирующее животное, бегущее явно по моим следам. Правда, когда меня сняли с карниза, выяснилось, что это была обыкновенная живая собачка одного из сотрудников. Сотрудник приходил извиняться, Ойра-Ойра прочел мне изdevательскую лекцию о вреде суеверий, но какой-то осадок у меня в душе все-таки остался. «Первым делом заговорю демонов», — подумал я.

У входа в приемную директора мне повстречался мрачный Витька Корнеев. Он хмуро кивнул и хотел пройти мимо, но я поймал его за рукав.

— Ну? — сказал грубый Корнеев, останавливаясь.

— Я сегодня дежурю, — сообщил я.

— Ну и дурак, — сказал Корнеев.

— Грубый ты все-таки, Витька, — сказал я. — Не буду я с тобой больше общаться.

Витька оттянул пальцем воротник свитера и с интересом посмотрел на меня.

— А что же ты будешь? — спросил он.

— Да уж найду что, — сказал я, несколько растерявшись. Витька вдруг оживился.

— Постой-ка, — сказал он. — Ты что, в первый раз дежуришь?

— Да.

— Ага, — сказал Витька. — И как ты намерен действовать?

— Согласно инструкции, — ответил я. — Заговорю демонов и лягу спать. На предмет самовозгорания. А ты куда денешься?

— Да собирается там одна компания, — неопределенно сказал Витька. — У Верочки... А это у тебя что? — Он взял у меня список. — А, мертвые души...

— Никого не пущу, — сказал я. — Ни живых, ни мертвых.

— Правильное решение, — сказал Витька. — Архиверное. Только присмотри у меня в лаборатории. Там у меня будет работать дубль.

— Чей дубль?

— Мой дубль, естественно. Кто мне своего отдаст? Я его там запер, вот, возьми ключ, раз ты дежурный.

Я взял ключ.

— Слушай, Витька, часов до десяти пусть он поработает, но потом я все обесточу. В соответствии с законодательством.

— Ладно, там видно будет. Ты Эдика не встречал?

— Не встречал, — сказал я. — И не забивай мне баки. В десять часов я все обесточу.

— А я разве против? Обесточивай, пожалуйста. Хоть весь город.

Тут дверь приемной отворилась, и в коридор вышел Янус Полуэктович.

— Так, — произнес он, увидев нас.

Я почтительно поклонился. По лицу Януса Полуэктовича было видно, что он забыл, как меня зовут.

— Прошу, — сказал он, подавая мне ключи. — Вы ведь дежурный, если я не ошибаюсь... Кстати... — он поколебался. — Я с вами не беседовал вчера?

— Да, — сказал я, — вы заходили в электронный зал.

Он покивал.

— Да-да, действительно... Мы говорили о практикантах...

— Нет, — возразил я почтительно, — не совсем так. Это на счет нашего письма в Центракадемснаб. Про электронную приставку.

— Ах, вот как, — сказал он. — Ну хорошо, желаю вам спо-

койного дежурства... Виктор Павлович, можно вас на минутку?

Он взял Витыку под руку и увел по коридору, а я вошел в приемную. В приемной второй Янус Полуэктович запирал сейфы. Увидев меня, он сказал: «Так» — и снова принялся позывкливать ключами. Это был А-Янус, я уже немножко научился различать их. А-Янус выглядел несколько моложе, был неприветлив, всегда корректен и малоразговорчив. Рассказывали, что он много работает, и люди, знавшие его давно, утверждали, что этот посредственный администратор медленно, но верно превращается в выдающегося ученого. У-Янус, наоборот, был всегда ласков, очень внимателен и обладал странной привычкой спрашивать: «Я с вами не беседовал вчера?» Поговаривали, что он сильно сдал в последнее время, хотя и оставался ученым с мировым именем. И все-таки А-Янус и У-Янус были одним и тем же человеком. Вот это у меня никак не укладывалось в голове. Была в этом какая-то условность.

А-Янус замкнул последний замок, вручил мне часть ключей и, холодно попрощавшись, ушел. Я уселся за стол референта, положил перед собой список и позвонил к себе в электронный зал. Никто не отозвался — видимо, девочки уже разошлись. Было четырнадцать часов тридцать минут.

В четырнадцать часов тридцать одну минуту в приемную, шумно отдуваясь и треща паркетом, ввалился знаменитый Федор Симеонович Киврин, великий маг и кудесник, заведующий отделом Линейного Счастья. Федор Симеонович славился неисправимым оптимизмом и верой в прекрасное будущее. У него было очень бурное прошлое. При Иване Васильевиче — царе Грозном опричники Малюты Скуратова с шутками и прибаутками сожгли его по доносу соседа-дьяка в деревянной бане как колдуна; при Алексее Михайловиче — царе Тишайшем его били батогами нещадно и спалили у него на голой спине полное рукописное собрание его сочинений; при Петре Алексеевиче — царе Великом он сначала возвысился было как знаток химии и рудного дела, но не потрафил чем-то князь-кесарю Ромодановскому, попал в каторгу на Тульский оружейный завод, бежал оттуда в Индию, долго путешествовал, кусан был ядовитыми змеями и крокодилами, нечувствительно превзошел йогу, вновь вернулся в Россию в разгар пугачевщины, был обвинен как врачеватель бунтовщиков, обезноздрен и сослан в Соловец навечно. В Соловце опять имел массу всяких

неприятностей, пока не приился к НИИЧАВО, где быстро занял пост заведующего отделом.

— П-приветствую вас! — пробасил он, кладя передо мною ключи от своих лабораторий. — Б-бедняга, к-как же вы это? В-вам веселиться надо в т-такую ночь, я п-позовню Модесту, что за г-глупости, я сам п-подежуру...

Видно было, что мысль эта только что пришла ему в голову и он страшно ею загорелся.

— Н-ну-ка, где здесь его т-телефон? П-проклятье, н-никогда не п-помню т-телефонов... Один-п-пятнадцать или п-пять-одиннадцать...

— Что вы, Федор Симеонович, спасибо! — вскричал я. — Не надо! Я тут как раз поработать собрался!

— Ах, п-поработать! Это д-другое дело! Эт' х-хорошо, эт' здорово, вы м-молодец!.. А я, ч-черт, электроники н-ни черта не знаю... Н-надо учиться, а т-то вся эта м-магия слова, с-старье, ф-фокусы-покусы с п-психополями, п-примитив... Д-дедовские п-приемчики...

Он тут же, не сходя с места, сотворил две большие антоновки, одну вручил мне, а от второй откусил сразу половину и принялся сочно хрустеть.

— П-проклятье, опять ч-червивое сделал... У вас как, х-хорошее? Эт' хорошо... Я к в-вам, Саша, п-позже еще загляну, а то я н-не совсем п-понимаю все-таки систему к-команд... В-водки только выпью и з-эайду... Д-девятнадцать к-команда у вас там в м-машине... Т-то ли машина врет, то ли я н-не понимаю... Д-детективчик вам п-принесу, Г-гварднера. В-вы ведь читаете по-арабски? Х-хорошо, шельма, пишет, з-здраво! П-перри Мейсон у него там, з-зверюга-адвокат, з-знаете?.. А п-потом еще что-нибудь д-дам, с-сайнс-фикшн и к-какую-нибудь... А-азимова дам или Б-брэдбери...





Он подошел к окну и сказал восхищенно:

— П-пурга, черт возьми, л-люблю!..

Вошел, кутаясь в норковую шубу, тонкий и изящный Кристобаль Хозевич Хунта. Федор Симеонович обернулся.

— А, К-кристо! — воскликнул он. — П-полюбуйся, Камноедов этот, д-дурак, засадил м-молодого п-парня дежурить н-на Новый год. Д-давай отпустим его, вдвоем останемся, в-вспомним старину, в-вьшьем, а? Ч-что он тут будет мучиться?.. Ему п-плясать надо, с д-девушками...

Хунта положил на стол ключи и сказал небрежно:

— Общение с девушками доставляет удовольствие лишь в тех случаях, когда достигается через преодоление препятствий...

— Н-ну еще бы! — загремел Федор Симеонович. — М-много крови, много п-песен за п-прелестных льется дам... К-как это

там у вас?.. Только тот д-достигнет цели, кто не знает с-слова «страх»...

— Именно, — сказал Хунта. — И потом — я не терплю благотворительности.

— Б-благотворительности он не терпит! А кто у меня выпросил Одихмантьева? П-переманил, п-понимаешь, такого лаборанта... Ставь теперь б-бутилку шампанского, н-не меньше... С-слушай, не надо шампанского! Амонтильядо! У т-тебя еще осталось от т-толедских запасов?

— Нас ждут, Теодор, — напомнил Хунта.

— Д-да, верно... Надо еще г-галстук найти... и валенки, такси же не д-достанешь... Мы пошли, Саша, н-не скучайте тут.

— В новогоднюю ночь в институте дежурные не скучают, — негромко сказал Хунта. — Особенно новички.

Они пошли к двери. Хунта пропустил Федора Симеоновича вперед и, прежде чем выйти, косо глянул на меня и стремительно вывел пальцем на стене Соломонову звезду. Она вспыхнула и стала медленно тускнеть, как след пучка электронов на экране осциллографа. Я трижды плюнул через левое плечо.

Кристобаль Хозевич Хунта, заведующий отделом Смысла Жизни, был человек замечательный, но, по-видимому, совершенно бессердечный. Некогда, в ранней молодости, он долго был Великим Инквизитором и по сию пору сохранил тогдашние замашки. Почти все свои неудобопонятные эксперименты он производил либо над собой, либо над своими сотрудниками, и об этом уже при мне возмущенно говорили на общем профсоюзном собрании. Занимался он изучением смысла жизни, но продвинулся пока не очень далеко, хотя и получил интересные результаты, доказав, например, теоретически, что смерть отнюдь не является непременным атрибутом жизни. По поводу этого последнего открытия тоже возмущались — на философском семинаре. В кабинет к себе он почти никого не пускал, и по институту ходили смутные слухи, что там масса интересных вещей. Рассказывали, что в углу кабинета стоит великолепно выполненное чучело одного старинного знакомого Кристобаля Хозевича, штандартенфюрера СС в полной парадной форме, с моноклем, кортиком, Железным крестом, дубовыми листьями и прочими причиндалами. Хунта был великолепным таксiderмистом. Штандартенфюрер, по словам Кристобаля Хозевича, — тоже. Но Кристобаль Хозевич успел раньше. Он любил успевать раньше — всегда и во всем. Не чужд ему был и некоторый скептицизм. В одной из его лабораторий висел огромный плакат: «Нужны ли мы нам?» Очень незаурядный человек.

Ровно в три часа, в соответствии с трудовым законодательством, принес ключи доктор наук Амвро-





сий Амбуазович Выбегалло. Он был в валенках, подшитых кожей, в пахучем извозчицком тулупе, из поднятого воротника торчала вперед седоватая нечистая борода. Волосы он стриг под горшок, так что никто никогда не видел его ушей.

— Это... — сказал он, приближаясь. — У меня там, может, сегодня кто вылупится. В лаборатории, значит. Надо бы, эта, присмотреть. Я ему там запасов наложил, эта, хлебца, значит, буханок пять, ну там отрубей пареных, два ведра обрату. Ну, а как все, эта, поест, кидаться начнет, значит. Так ты мне, мон шер, того, брякни, милый.

Он положил передо мной связку амбарных ключей и в каком-то затруднении открыл рот, уставясь на меня. Глаза у него были прозрачные, в бороде торчало пшено.

— Куда брякнуть-та? — спросил я.

Очень я его не любил. Был он циник, и был он дурак. Работу, которой он занимался за триста пятьдесят рублей в месяц, можно бы смело назвать евгеникой, но никто ее так не называл — боялись связываться. Этот Выбегалло заявлял, что все беды, эта, от неудовольствия проистекают, и ежели, значит, дать человеку все — хлебца, значит, отрубей пареных, — то и будет не человек, а ангел. Нехитрую эту идею он пробивал всячески, размахивая томами классиков, из которых с неописуемым простодушием выдирал с кровью цитаты, опуская и вымарывая все, что ему не подходило. В свое время Ученый совет дрогнул под натиском этой неудержимой, как-то даже первобытной демагогии, и тема Выбегаллы была включена в план. Действуя строго по этому плану, старательно измеряя свои достижения в процентах выполнения и никогда не забывая о режиме экономии, увеличении оборачиваемости оборотных средств, а также о связи с жизнью, Выбегалло

заложил три экспериментальные модели: модель Человека, неудовлетворенного полностью, модель Человека, неудовлетворенного желудочно, модель Человека, полностью удовлетворенного. Полностью неудовлетворенный антропоид поспел первым — он вышелся две недели назад. Это жалкое существо, покрытое язвами, как Иов, полуразложившееся, мучимое всеми известными и неизвестными болезнями, страдающее от холода и от жары одновременно, вывалилось в коридор, огласило институт серии нечленораздельных жалоб и издохло. Выбегалло торжествовал. Теперь можно было считать доказанным, что ежели человека не кормить, не поить и не лечить, то он, эта, будет, значит, несчастлив и даже, может, померет. Как вот этот помер. Ученый совет ужаснулся. Затея Выбегаллы обличивалась какой-то жуткой стороной. Была создана комиссия для проверки работы Выбегаллы. Но тот, не растерявшийся, представил две справки, из коих следовало, во-первых, что трое лаборантов его лаборатории ежегодно выезжают работать в подшефный совхоз, и во-вторых, что он, Выбегалло, некогда был узником царизма, а теперь регулярно читает популярные лекции в городском лектории и на периферии. И пока ошеломленная комиссия пыталась разобраться в логике происходящего, он неторопливо вывез с подшефного рыбозавода (в порядке связи с производством) четыре грузовика селедочных голов для созревающего антропоида, неудовлетворенного желудочно. Комиссия писала отчет, а институт в страхе ждал дальнейших событий. Соседи Выбегаллы по этажу брали отпуска за свой счет.

— Куда брякнуть-та? — спросил я.

— Брякнуть-та? А домой, куда же еще в Новый год-та. Мораль должна быть, милый. Новый год дома встречать надо. Так это выходит по-нашему, нес па?¹

— Я знаю, что домой. По какому телефону?

— А ты, эта, в книжку посмотри. Грамотный? Вот и посмотри, значит, в книжку. У нас секретов нет, не то что у иных прочих. Ан масс.²

— Хорошо, — сказал я. — Брякну.

¹ Не так ли? (франц.)

Выбегалло обожает вкраплять в свою речь отдельные словосочетания на французском, как он выражается, диалекте. Никак не отвечая за его произношение, мы взяли на себя труд обеспечить перевод. (Примеч. автора.)

² В массе, у большинства.

— Брякни, мон шер, брякни. А кусаться он начнет, так ты его по сусалам, не стесняйся. Се ля ви¹.

Я набрался храбрости и буркнул:

— А ведь мы с вами на брудершафт не пили.

— Пардон!

— Ничего, это я так,— сказал я.

Некоторое время он смотрел на меня своими прозрачными глазами, в которых ничегошеньки не выражалось, потом проговорил:

— А ничего, так и хорошо, что ничего. С праздником тебя с наступающим. Бывай здоров. Аривуар², значить.

Он напялил ушанку и удалился. Я торопливо открыл форточку. Влетел Роман Ойра-Ойра в зеленом пальто с барашковым воротником, пошевелил горбатым носом и осведомился:

— Выбегалло забегалло?

— Забегалло,— сказал я.

— Ну-да,— сказал он.— Это селедка. Держи ключи. Знаешь, куда он один грузовик свалил? Под окнами у Жиана Жиакомо. Прямо под кабинетом. Новогодний подарочек. Выкурюка я у тебя здесь сигарету.

Он упал в огромное кожаное кресло, расстегнул пальто и закурил.

— А ну-ка займись,— сказал он.— Дано: запах селедочного рассола, интенсивность шестнадцать микроторов, кубатура...— Он оглядел комнату.— Ну, сам сообразишь, год на переломе, Сатурн в созвездии Весов... Удалай!

Я почесал за ухом.

— Сатурн... Что ты мне про Сатурн... А вектор магистратум какой?

— Ну, брат,— сказал Ойра-Ойра,— это ты сам должен...

Я почесал за другим ухом, прикинул в уме вектор и произвел, запинаясь, акустическое воздействие (произнес за-клинивание). Ойра-Ойра зажал нос. Я выдрал из брови два волоска (ужасно больно и глупо) и поляризовал вектор. Запах опять усилился.

— Плохо,— с упреком сказал Ойра-Ойра.— Что ты делаешь, ученик чародея? Ты что, не видишь, что форточка открыта?

— А,— сказал я,— верно.— Я учел дивергенцию и ротор, попытался решить уравнение Стокса в уме, запутался, вырвал,

¹ Такова жизнь.

² До свидания.

дыша через рот, еще два волоска, принюхался, пробормотал заклинание Аузрса и совсем собрался было вырвать еще волосок, но тут обнаружилось, что приемная проветрилась естественным путем, и Роман посоветовал мне экономить брови и закрыть форточку.

— Посредственно, — сказал он. — Займемся материализацией.

Некоторое время мы занимались материализацией. Я творил груши, а Роман требовал, чтобы я их ел. Я отказывался есть, и тогда он заставлял меня творить снова. «Будешь работать, пока не получится что-нибудь съедобное, — говорил он. — А это отдашь Модесту. Он у нас Камнеодов». В конце концов я сотворил настоящую грушу — большую, желтую, мягкую, как масло, и горькую, как хина. Я ее съел, и Роман разрешил мне отдохнуть.

Тут принес ключи бакалавр черной магии Магнус Федорович Редькин, толстый, как всегда озабоченный и разобиженный. Бакалавра он получил триста лет назад за изобретение портков-невидимок. С тех пор он эти портки все совершенствовал и совершенствовал. Портки-невидимки превратились у него сначала в кюлоты-невидимки, потом в штаны-невидимки, и, наконец, совсем недавно о них стали говорить как о брюках-невидимках. И никак

он не мог их отладить. На последнем заседании семинара по черной магии, когда он делал очередной доклад «О некоторых новых свойствах брюк-невидимок Редькина», его опять постигла неудача. Во время демонстрации модернизированной модели что-то там заело, и брюки, вместо того чтобы сделать невидимым изобретателя, вдруг со звонким щелчком сделались невидимы сами. Очень неловко получилось. Однако главным образом Магнус Федорович работал над диссертацией, тема которой звучала так: «Материализация и линейная натурализация Белого



Тезиса, как аргумента достаточно произвольной функции Σ не вполне представимого человеческого счастья».

Тут он достиг значительных и важных результатов, из коих следовало, что человечество буквально купалось бы в не вполне представимом счастье, если бы только удалось найти сам Белый Тезис, а главное — понять, что это такое и где его искать.

Упоминание о Белом Тезисе встречалось только в дневниках Бен Бецалеля. Бен Бецалель якобы выделил Белый Тезис как побочный продукт какой-то алхимической реакции и, не имея времени заниматься такой мелочью, вмонтировал его в качестве подсобного элемента в какой-то свой прибор. В одном из последних мемуаров, написанных уже в темнице, Бен Бецалель сообщал: «И можете вы себе представить? Тот Белый Тезис не оправдал-таки моих надежд, не оправдал. И когда я сообразил, какая от него могла быть польза — я говорю о счастье для всех людей, сколько их есть, — я уже забыл, куда же я его вмонтировал». За институтом числилось семь приборов, принадлежавших некогда Бен Бецалелю. Шесть из них Редькин разобрал до винтика и ничего особенного не нашел. Седьмым прибором был диван-транслятор. Но на диван наложил руку Витька Корнеев, и в простую душу Редькина закрались самые черные подозрения. Он стал следить за Витькой. Витька немедленно озверел. Они поссорились и стали заклятыми врагами, оставались ими по сей день. Ко мне, как к представителю точных наук, Магнус Федорович относился благожелательно, хотя и осуждал мою дружбу с «этим плагиатором». В общем-то Редькин был неплохим человеком, очень трудолюбивым, очень упорным, начисто лишенным корыстолюбия. Он проделал громадную работу, собравши гигантскую коллекцию разнообразнейших определений счастья. Там были простейшие негативные определения («Не в деньгах счастье»), простейшие позитивные определения («Высшее удовлетворение, полное довольство, успех, удача»), определения казуистические («Счастье есть отсутствие несчастья») и парадоксальные («Счастливее всех шуты, дураки, сущеглупые и нерадивые, ибо укоров совести они не знают, призраков и прочей нежити не страшатся, боязнью грядущих бедствий не терзаются, надеждой будущих благ не обольщаются»).

Магнус Федорович положил на стол коробочку с ключом и, недоверчиво глядя на нас исподлобья, сказал:

— Я еще одно определение нашел.

— Какое? — спросил я.

— Что-то вроде стихов. Только там нет рифмы. Хотите?

— Конечно, хотим, — сказал Роман.

Магнус Федорович вынул записную книжку и, запинаясь, прочел:

Вы спрашиваете:
Что считаю
Я наивысшим счастьем на земле?
Две вещи:
Менять вот так же состоянье духа,
Как пени выменял бы я на шиллинг,
И
Юной девушки
Услышать пенье
Вне моего пути, но вслед за тем,
Как у меня дорогу разузнала.

— Ничего не понял, — сказал Роман. — Дайте я прочту глазами.

Редькин отдал ему записную книжку и пояснил:

— Это Кристофер Лог. С английского.

— Отличные стихи, — сказал Роман.

Магнус Федорович вздохнул.

— Одни одно говорят, другие — другое.

— Тяжело, — сказал я сочувственно.

— Правда ведь? Ну как тут все увяжешь? Девушки услышать пенье... И ведь не всякое пенье какое-нибудь, а чтобы девушка была юная, находилась вне его пути, да еще только после того, как у него про дорогу спросит... Разве же так можно? Разве такие вещи алгоритмизируются?

— Вряд ли, — сказал я. — Я бы не взялся.

— Вот видите! — подхватил Магнус Федорович. — А вы у нас заведующий вычислительным центром! Кому же тогда?

— А может, его вообще нет? — сказал Роман голосом кинопровокатора.

— Чего?

— Счастья.

Магнус Федорович сразу обиделся.

— Как же его нет,— с достоинством сказал он,— когда я сам его неоднократно испытывал?

— Выменяв пенни на шиллинг? — спросил Роман.

Магнус Федорович обиделся еще больше и вырвал у него записную книжку.

— Вы еще молодой... — начал он.

Но тут раздался грохот, треск, сверкнуло пламя и запахло серой. Посередине приемной возник Мерлин. Магнус Федорович, шарахнувшись от неожиданности к окну, сказал: «Тыфу на вас!» — и выбежал вон.

— Good God! — сказал Ойра-Ойра, протирая запорошенные глаза. — Canst thou not come in by usual way as decent people do? Sir...¹ — добавил он.

— Beg thy pardon², — сказал Мерлин самодовольно и с удовлетворением посмотрел на меня. Наверное, я был бледен, потому что очень испугался самовозгорания.

Мерлин оправил на себе побитую молью мантию, швырнул на стол связку ключей и произнес:

— Вы заметили, сэры, какие стоят погоды?

— Предсказанные, — сказал Роман.

— Именно, сэр Ойра-Ойра! Именно предсказанные!

— Полезная вещь — радио, — сказал Роман.

— Я радио не слушаю, — сказал Мерлин. — У меня свои методы.

Он потряс подолом мантии и поднялся на метр от пола.

— Люстра, — сказал я, — осторожнее.

Мерлин посмотрел на люстру и ни с того ни с сего начал:

— Не могу не вспомнить, дорогие сэры, как в прошлом году мы с сэром председателем райсовета товарищем Переяславльским...

Ойра-Ойра душераздирающе зевнул, мне тоже стало тоскливо, Мерлин был бы, вероятно, еще хуже, чем Выбегалло, если бы не был столь архаичен и самонадеян. По чьей-то рассеянности ему удалось продвинуться в заведующие отделом Предсказаний и Пророчеств, потому что во всех анкетах он писал о своей непримиримой борьбе против империализма янки еще в раннем средневековье, прилагая к анкетам нота-

¹ Ужель обычный путь тебе заказан, путь достойного человека? Сэр...
(англ.)

² Прошу прощения (англ.).

риально заверенные машинописные копии соответствующих страниц из Марка Твена. Впоследствии он был вновь переведен на свое место заведующего бюро погоды и теперь, как и тысячу лет назад, занимался предсказаниями атмосферных явлений — и с помощью магических средств, и на основании поведения тарантулов, усиления ревматических болей и стремления соловецких свиней залечь в грязь или выйти из оной. Впрочем, основным поставщиком его прогнозов был самый вульгарный радиоперехват, осуществлявшийся детекторным приемником, по слухам похищенным еще в двадцатые годы с соловецкой выставки юных техников. Он был в большой дружбе с Наиной Киевной Горыныч и вместе с нею занимался коллекционированием и распространением слухов о появлении в лесах гигантской волосатой женщины и о пленении одной студентки снежным человеком с Эльбруса. Говорили также, что время от времени он принимает участие вочных бдениях на Лысой Горе с Ха Эм Вием, Хомой Брутом и другими хулиганами.

Мы с Романом молчали и ждали, когда он исчезнет. Но он, упаковавшись в мантию, удобно расположился под люстрой и затянул длинный, всем давно уже остеочертевший рассказ о том, как он, Мерлин, и председатель Соловецкого райсовета товарищ Переяславльский совершили инспекторский вояж по району. Вся эта история была чистейшим враньем, бездарным и конъюнктурным переложением Марка Твена. О себе он говорил в третьем лице, а председателя иногда, сбиваясь, называл королем Артуром.

— Итак, председатель райсовета и Мерлин отправились в путь и приехали к пасечнику Герою Труда сэру Отшельниченко, который был добрым рыцарем и знатным медосборцем. И сэр Отшельниченко доложил о своих трудовых успехах и полечил сэра Артура от радикулита пчелиным ядом. И сэр председатель прожил там три дня, и радикулит его успокоился, и они двинулись в путь, и в пути сэр Ар... председатель сказал: «У меня нет меча». — «Не беда, — сказал ему Мерлин, — я добуду тебе меч». И они доехали до большого озера, и видит Артур: из озера поднялась рука...

Тут раздался телефонный звонок, и я с радостью схватил трубку.

— Алло, — сказал я. — Алло, вас слушают.

В трубке что-то бормотали, и гнусаво тянулся Мерлин: «И возле Лежнева они встретили сэра Пеллиона, однако

Мерлин сделал так, что Пеллинор не заметил председателя...»

— Сэр гражданин Мерлин,— сказал я.— Нельзя ли чуть потише? Я ничего не слышу.

Мерлин замолчал с видом человека, готового продолжать в любой момент.

— Алло,— снова сказал я в трубку.

— Кто у аппарата?

— А вам кого нужно? — сказал я по старой привычке.

— Вы мне это прекратите. Вы не в балагане, Привалов.

— Виноват, Модест Матвеевич. Дежурный Привалов слушает.

— Вот так. Докладывайте.

— Что докладывать?

— Слушайте, Привалов. Вы опять ведете себя, как я не знаю кто. С кем вы там разговаривали? Почему на посту посторонние? Почему в институте после окончания рабочего дня находятся люди?

— Это Мерлин,— сказал я.

— Гоните его в шею!

— С удовольствием,— сказал я. (Мерлин, несомненно подслушивавший, покрылся пятнами, сказал: «Гр-рубиян!» — и растаял в воздухе.)

— С удовольствием или без удовольствия — это меня не касается. А вот тут поступил сигнал, что вверенные вам ключи вы сваливаете кучей на столе, вместо того чтобы запирать их в ящик.

«Выбегалло донес», — подумал я.

— Вы почему молчите?

— Будет исполнено.

— В таком вот акценте,— сказал Модест Матвеевич.— Едительность должна быть на высоте. Доступно?

— Доступно.

Модест Матвеевич сказал: «У меня все» — и дал отбой.

— Ну ладно,— сказал Ойра-Ойра, застегивая зеленое пальто.— Пойду вскрывать консервы и откупоривать бутылки. Будь здоров, Саша, я еще забегу попозже.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Я шел, спускаясь в темные коридоры и потом опять поднимаясь на верх. Я был один; я кричал, мне не отвечали; я был один в этом обширном, в запутанном, как лабиринт, доме.

ГИДЕ МО ПАССАН

Свалив ключи в карман пиджака, я отправился в первый обход. По парадной лестнице, которой на моей памяти пользовались всего один раз, когда институт посетило августейшее лицо из Африки, я спустился в необозримый вестибюль, украшенный многовековыми наслаждениями архитектурных излишеств, и заглянул в окошечко швейцарской. Там в фосфоресцирующем тумане маячили два макроремона Максвелла. Демоны играли в самую стохастическую из игр — в орлянку. Они занимались этим все свободное время, огромные, вялые, неописуемо нелепые, более всего похожие на колонии вируса полиомиелита под электронным микроскопом, одетые в поношенные ливреи. Как и полагается демонам Максвелла, всю свою жизнь они занимались открыванием и закрыванием дверей. Это были опытные, хорошо выдрессированные экземпляры, но один из них, тот, что ведал выходом, достиг уже пенсионного возраста, сравнимого с возрастом Галактики, и время от времени впадал в детство и начинал барабанить. Тогда кто-нибудь из отдела Технического Обслуживания надевал скакфандр, забирался в швейцарскую, наполненную сжатым аргоном, и приводил старика в чувство.

Следуя инструкции, я заговорил обоих, то есть перекрыл каналы информации и замкнул на себя вводно-выводные устройства. Демоны не отреагировали, им было не до того. Один выигрывал, а другой, соответственно, проигрывал, и это их беспокоило, потому что нарушало статистическое равновесие. Я закрыл окошечко щитом и обошел вестибюль. В вестибюле было сырьо, сумрачно и гулко. Здание института было вообще довольно древнее, но строиться оно начало, по-видимому, с вестибюля. В заплесневелых углах белесо мерцали кости прикованных скелетов, где-то мерно капала вода, в нишах между колоннами в неестественных позах торчали статуи в ржавых латах, справа от входа у стены громоздились обломки древних идолов, наверху этой кучи торчали гипсовые ноги в сапогах.

С почрневших портретов под потолком строго взирали мастищие старцы, в их лицах усматривались знакомые черты Федора Симеоновича, товарища Жиана Жиакомо и других мастеров. Весь этот архаический хлам надлежало давным-давно выбросить, прорубить в стенах окна и установить трубы дневного света, но все было заприходовано, заинвентаризовано и лично Модестом Матвеевичем к разбазариванию запрещено.

На капителях колонн и в лабиринтах исполинской люстры, свисающей с почрневшего потолка, шуршали нетопыры и летучие собаки. С ними Модест Матвеевич боролся. Он поливал их скипидаром и креозотом, опылял дустом, опрыскивал гексахлораном, они гибли тысячами, но возрождались десятками тысяч. Они мутировали, среди них появлялись поющие и разговаривающие штаммы, потомки наиболее древних родов питались теперь исключительно пиретрумом, смешанным с хлорофосом, а институтский киномеханик Саня Дрозд клялся, что своими глазами видел здесь однажды нетопыря, как две капли воды похожего на товарища завкадрами.

В глубокой нише, из которой тянуло ледяным смрадом, кто-то застонал и загремел цепями. «Вы это прекратите, — строго сказал я. — Что еще за мистика! Как не стыдно!..» В нише затихли. Я хозяйственно поправил сбившийся ковер и поднялся по лестнице.

Как известно, снаружи институт выглядел двухэтажным. На самом деле в нем было не менее двенадцати этажей. Выше двенадцатого я просто никогда не поднимался, потому что лифт постоянно чинили, а летать я еще не умел. Фасад с десятью окнами, как и большинство фасадов, тоже был обманом зрения. Вправо и влево от вестибюля институт простирался по крайней мере на километр, и тем не менее решительно все окна выходили на ту же кривоватую улицу и на тот же самый лабаз. Это поражало меня необычайно. Первое время я приставал к Ойре-Ойре, чтобы он мне объяснил, как это совмещается с классическими или хотя бы с релятивистскими представлениями о свойствах пространства. Из объяснений я ничего не понял, но постепенно привык и перестал удивляться. Я совершенно убежден, что через десять — пятнадцать лет любой школьник будет лучше разбираться в общей теории относительности, чем современный специалист. Для этого вовсе не нужно понимать, как происходит искривление пространства-времени, нужно только, чтобы такое представление с детства вошло в быт и стало привычным.



Весь первый этаж был занят отделом Линейного Счастья. Здесь было царство Федора Симеоновича, здесь пахло яблоками и хвойными лесами, здесь работали самые хорошеные девушки и самые славные ребята. Здесь не было мрачных изуверов, знатоков и адептов черной магии, здесь никто не рвал, шипя и кривясь от боли, из себя волос, никто не бормотал заклинаний, похожих на неприличные скороговорки, не варил заживо жаб и ворон в полночь, в полнолуние, на Ивана Купалу, по несчастливым числам. Здесь работали на оптимизм. Здесь делали все возможное в рамках белой, субмолекулярной и инфранейронной магии, чтобы повысить душевный тонус каждого отдельного человека и целых человеческих коллективов. Здесь конденсировали и распространяли по всему свету веселый, беззлобный смех; разрабатывали, испытывали и внедряли модели поведений и отношений, укрепляющих дружбу и разрушающих рознь; возгоняли и сублимировали экстракты гореутолителей, не содержащих ни единой молекулы алкоголя и иных наркотиков. Сейчас здесь готовили к полевым испытаниям портативный универсальный злободобитель и разрабатывали новые марки редчайших сплавов ума и доброты.

Я отомкнул дверь центрального зала и, стоя на пороге, полюбовался, как работает гигантский дистиллятор Детского Смеха, похожий чем-то на генератор Ван де Граафа. Только в отличие от генератора он работал совершенно бесшумно и около него хорошо пахло. По инструкции я должен был повернуть два больших белых рубильника на пульте, чтобы погасло золотое сияние в зале, чтобы стало темно, холодно и неподвижно,— короче говоря, инструкция требовала, чтобы я обесточил данное производственное помещение. Но я даже колебаться не стал, попятился в коридор и запер за собою дверь. Обесточивать что бы то ни было в лабораториях Федора Симеоновича представлялось мне просто кощунством.

Я медленно пошел по коридору, разглядывая забавные картинки на дверях лабораторий, и на углу встретил домового Тихона, который рисовал и еженощно менял эти картинки. Мы обменялись рукопожатием. Тихон был славный серенький домовик из Рязанской области, сосланный Вием в Соловец за какую-то провинность: с кем-то он там не так поздоровался или отказался есть гадюку вареную... Федор Симеонович приветил его, умыл, вылечил от застарелого алкоголизма, и он так и прижился здесь, на первом этаже. Рисовал он превосходно,

в стиле Бидструпа, и славился среди местных домовых рас-
судительностью и трезвым поведением.

Я хотел уже подняться на второй этаж, но вспомнил о
виварии и направился в подвал. Надзиратель вивария, пожилой
вольноотпущеный вурдалак Альфред, пил чай. При виде меня
он попытался спрятать чайник под стол, разбил стакан, по-
краснел и потупился. Мне стало его жалко.

— С наступающим,— сказал я, сделав вид, что ничего
не заметил.

Он прокашлялся, прикрыл рот ладонью и сипло ответил:

— Благодарствуйте. И вас тоже.

— Все в порядке? — спросил я, оглядывая ряды клеток
и стойл.

— Бриарей палец сломал,— сказал Альфред.

— Как так?

— Да так уж. На восемнадцатой правой руке. В носе
ковырял, повернулся неловко — они ж неуклюжие, гека-
тонхейры,— и сломал.

— Так ветеринара надо,— сказал я.

— Обойдется! Что ему, впервые, что ли...

— Нет, так нельзя,— сказал я.— Пойдем посмотрим.

Мы прошли в глубь вивария мимо вольера с гарпиями,
проводившими нас мутными со сна глазами, мимо клетки
с Лернейской гидрой, угрюмой и неразговорчивой в это время
года... Гекатонхейры, сторукие и пятидесятиголовые братцы-
близнецы, первенцы Неба и Земли, помещались в обширной
бетонированной пещере, забранной толстыми железными
прутьями. Гиес и Котт спали, свернувшись в узлы, из которых
торчали синие бритые головы с закрытыми глазами и волосатые
расслабленные руки. Бриарей маялся. Он сидел на кор-
точках, прижавшись к решетке и выставив в проход руку
с больным пальцем, придерживал ее семью другими руками.
Остальными девяносто двумя руками он держался за прутья
и подпирал головы. Некоторые из голов спали.

— Что? — сказал я жалостливо.— Болит?

Бодрствующие головы залопотали по-эллински и разбудили
одну голову, которая знала русский язык.

— Страсть как болит, — сказала она.

Остальные притихли и, раскрыв рты, уставились на меня.

Я осмотрел палец. Палец был грязный и распухший, и он
совсем не был сломан. Он был просто вывихнут. У нас в
спортивном зале такие травмы вылечивались без всякого врача.

Я вцепился в палец и рванул его на себя что было силы. Бриарей взревел всеми пятьюдесятью глотками и повалился на спину.

— Ну-ну-ну, — сказал я, вытирая руки носовым платком. — Все уже, все...

Бриарей, хлюпая носами, принялся рассматривать палец. Задние головы жадно тянули шеи и нетерпеливо покусывали за уши передние, чтобы те не застили. Альфред ухмылялся.

— Кровь бы ему пустить полезно, — сказал он с давно забытым выражением, потом вздохнул и добавил: — Да только какая в нем кровь — видимость одна. Одно слово — нежить.

Бриарей поднялся. Все пятьдесят голов блаженно улыбались. Я помахал ему рукой и пошел обратно. Около Кощея Бессмертного я задержался. Великий негодяй обитал в комфорtabельной отдельной клетке с коврами, кондиционированием и стеллажами для книг. По стенам клетки были размещены портреты Чингисхана, Гиммлера, Екатерины Медичи, одного из Борджиа и то ли Голдуотера, то ли Маккарти. Сам Кошеч в отливающем халате стоял, скрестив ноги, перед огромным пюпитром и читал офсетную копию «Молота ведьм». При этом он делал длинными пальцами неприятные движения: не то что-то завинчивал, не то что-то вонзал, не то что-то сдирал. Содержался он в бесконечном предварительном заключении, пока велось бесконечное следствие по делу о бесконечных его преступлениях. В институте им очень дорожили, так как попутно он использовался для некоторых уникальных экспериментов и как переводчик при общении со Змеем Горынычом. (Сам З. Горыныч был заперт в старой котельной, откуда доносилось его металлическое храпение и взревывания спросонок.) Я стоял и размышлял о том, что если где-нибудь в бесконечно удаленной от нас точке времени Кошеч и приговорят, то судьи, кто бы они ни были, окажутся в очень странном положении: смертную казнь к бессмертному преступнику применить невозможно, а вечное заключение, если учесть предварительное, он уже отбыл...

Тут меня схватили за штанину, и пропитой голос произнес:

— А ну, урки, с кем на троих?

Мне удалось вырваться. Трое вурдалаков в соседнем вольере жадно смотрели на меня, прижав сизые морды к металлической сетке, через которую был пропущен ток в двести вольт.

— Руку отдавил, дылда очкастая! — сказал один.

— А ты не хватай, — сказал я. — Осины захотел?

Подбежал Альфред, щелкая плетью, и вурдалаки убрались в темный угол, где сейчас же принялись скверно ругаться и шлепать самодельными картами.

Я сказал Альфреду:

— Ну хорошо. По-моему, все в порядке. Пойду дальше.

— Путь добрый,— отвечал Альфред с готовностью.

Поднимаясь по ступенькам, я слышал, как он гремит чайником и булькает.

Я заглянул в машинный зал и посмотрел, как работает энергогенератор. Институт не зависел от городских источников энергии. Вместо этого, после уточнения принципа детерминизма, решено было использовать хорошо известное Колесо Фортуны как источник даровой механической энергии. Над цементным полом зала возвышался только небольшой участок блестящего отполированного обода гигантского колеса, ось вращения которого лежала где-то в бесконечности, отчего обод выглядел просто лентой конвейера, выходящей из одной стены и уходящей в другую. Одно время было модно защищать диссертации на уточнении радиуса кривизны Колеса Фортуны, но поскольку все эти диссертации давали результат с крайне невысокой точностью, до десяти мегапарсеков, Ученый совет института принял решение прекратить рассмотрение диссертационных работ на эту тему вплоть до того времени, когда создание трансгалактических средств сообщения позволит расчитывать на существенное повышение точности.

Несколько бесов из обслуживающего персонала играли у колеса — вскакивали на обод, проезжали до стены, соскакивали и мчались обратно. Я решительно призвал их к порядку. «Вы это прекратите,— сказал я,— это вам не балаган». Они попрятались за кожухи трансформаторов и принялись обстреливать меня оттуда жеваной бумагой. Я решил не связываться с молокососами, прошелся вдоль пультов и, убедившись, что все в порядке, поднялся на второй этаж.

Здесь было тихо, темно и пыльно. У низенькой полуоткрытой двери дремал, опираясь на длинное кремневое ружье, старый, дряхлый солдат в мундире Преображенского полка и треуголке. Здесь размещался отдел Оборонной Магии, среди сотрудников которого давно уже не было ни одной живой души. Все наши старики, за исключением, может быть, Федора Симеоновича, в свое время отдали дань увлечению этим разделям магии. Бен Бецалель успешно использовал Голема при дворцовых переворотах: глиняное чудовище, равнодушное к

подкупу и неуязвимое для ядов, охраняло лаборатории, а заодно и императорскую сокровищницу. Джузеппе Бальзамо создал первый в истории самолетный эскадрон на помехах, хорошо показавший себя на полях сражений Столетней войны. Но эскадрон довольно быстро распался: часть ведьм повыходили замуж, а остальные увязались за рейтарскими полками в качестве маркианток. Царь Соломон отловил и зачаровал дюжину дюжин ифритов и сколотил из них отдельный истребительно-противослоновый огнеметный батальон. Молодой Кристобаль Хунта привел в дружину Карлу Великому китайского, натасканныго на мавров дракона, но, узнав, что император собирается воевать не с маврами, а с соплеменными басками, рассвирепел и дезертировал. На протяжении много-вековой истории войн разные маги предлагали применять в бою вампиров (для ночной разведки боем), василисков (для поражения противника ужасом до полной окаменелости), ковры-самолеты (для сбрасывания нечистот на неприятельские города), мечи-кладенцы различных достоинств (для компенсации малочисленности) и многое другое. Однако уже после первой мировой войны, после Длинной Берты, танков, иприта и хлора оборонная магия начала хиреть. Из отдела началось повальное бегство сотрудников. Дольше всех задержался там некий Питирим Шварц, бывший монах и изобретатель подпорки для мушкета, беззатратно трудившийся над проектом джинн-бомбардировок. Суть проекта состояла в сбрасывании на города противника бутылок с джиннами, выдержанными в заточении не менее трех тысяч лет. Хорошо известно, что джинны в свободном состоянии способны только либо разрушать города, либо строить дворцы. Основательно выдержаный джинн (рассуждал Питирим Шварц), освободившись из бутылки, не станет строить дворцов, и противнику придется тяго. Некоторым препятствием к осуществлению этого замысла являлось недостаточное количество бутылок с джиннами, но Шварц рассчитывал пополнить запасы глубоким траплением Красного и Средиземного морей. Рассказывают, что, узнав о водородной бомбе и бактериологической войне, старик Питирим потерял душевное равновесие, роздал имевшихся у него джиннов по отделам и ушел исследовать смысл жизни к Кристобалю Хунте. Больше его никто никогда не видел.

Когда я остановился на пороге, солдат посмотрел на меня одним глазом, прохрипел: «Не велено, проходи дальше...» — и снова задремал. Я оглядел пустую захламленную комнату

с обломками диковинных моделей и обрывками безграмотных чертежей, пошевелил носком ботинка валявшуюся у входа папку со смазанным грифом «Совершенно секретно. Перед прочтением сжечь» и пошел прочь. Обесточивать здесь было нечего, а что касается самовозгорания, то все, что могло самовозгореться, самовозгорелось здесь много лет назад.

На этом же этаже располагалось книгохранилище. Это было мрачноватое пыльное помещение под стать вестибюлю, но значительно более обширное. По поводу его размеров рассказывали, что в глубине, в полукилометре от входа, идет вдоль стеллажей неплохое шоссе, оснащенное верстовыми столбами. Ойра-Ойра доходил до отметки «19», а настырный Битька Корнеев в поисках технической документации на диван-транслятор раздобыл семимильные сапоги и добежал до отметки «124». Он продвинулся бы и дальше, но дорогу ему преградила бригада данаид в ватниках и с отбойными молотками. Под присмотром толстомордого Каина они взламывали асфальт и прокладывали какие-то трубы. Ученый совет неоднократно поднимал вопрос о постройке вдоль шоссе высоковольтной линии для передачи абонентов хранилища по проводам, однако все позитивные предложения наталкивались на недостаток фондов.

Хранилище было битком набито интереснейшими книгами на всех языках мира и истории, от языка атлантов до пиджин-инглиш включительно. Но меня там больше всего заинтересовало многотомное издание Книги Судеб. Книга Судеб печаталась петитом на тончайшей рисовой бумаге и содержала в хронологическом порядке более или менее полные данные о 73 619 024 511 людях разумных. Первый том начинался питетактропом Азыыхх. («Род. 2 авг. 965543 г. до н. э., ум. 13 ян. 965522 г. до н. э. Родители рамапитеки. Жена рамапитек. Дети: самец Ад-Амм, самка Э-Уа. Кочевал с трибой рамапитеков по Ааратск. долин. Ел, пил, спал в свое удовольств. Провертел первую дыру в камне. Сожран пещерн. медвед. во время охоты.») Последним в последнем томе регулярного издания, вышедшем в прошлом году, числился Франиско-Каэтано-Августин-Лусия-и-Мануэль-и-Хосефа-и-Мигель-Лука-Карлос-Педро Тринидад. («Род. 16 июля 1491 г. н. э., ум. 17 июля 1491 г. н. э. Родители: Педро-Карлос-Лука-Мигель-и-Хосефа-и-Мануэль-и-Лусия-Августин-Каэтано-Франиско Тринидад и Мария Тринидад (см.) Португалец. Анацефал. Кавалер Ордена Святого Духа, полковник гвардии.»)

Из выходных данных явствовало, что Книга Судеб выходит тиражом в 1 (один) экземпляр и этот последний том подписан в печать еще во время полетов братьев Монгольфье. Видимо, для того, чтобы как-то удовлетворить потребности современников, издательство предприняло публикацию срочных нерегулярных выпусков, в которых значились только годы рождения и годы смерти. В одном из таких выпусков я нашел и свое имя. Однако из-за спешки в эти выпуски вкрадась масса опечаток, и я с изумлением узнал, что умру в 1611 году. В восьмитомнике же замеченные опечаток до моей фамилии еще не добрались.

Консультировала издание Книги Судеб специальная группа в отделе Предсказаний и Пророчеств. Отдел был захудалый, запущенный, но никак не мог оправиться после кратковременного владычества сэра гражданина Мерлина, и институт неоднократно объявлял конкурс на замещение вакантной должности заведующего отделом, и каждый раз на конкурс подавал заявление один-единственный человек — сам Мерлин.

Ученый совет добросовестно рассматривал заявление и благополучно проваливал его — сорока тремя голосами «против» при одном «за». (Мерлин по традиции тоже был членом Ученого совета.)

Отдел Предсказаний и Пророчеств занимал весь третий этаж. Я прошелся вдоль дверей с табличками «Группа кофейной гуши», «Группа авгуром», «Группа пифий», «Синоптическая группа», «Группа пасьянсов», «Соловецкий Оракул». Обесточивать мне ничего не пришлось, поскольку отдел работал при свечах. На дверях синоптической группы уже появилась свежая надпись мелом: «Темна вода во облацах». Каждое утро Мерлин, проклиная интриги завистников, стирал эту надпись мокрой тряпкой, и каждую ночь она возобновлялась. Вообще на чем держался авторитет отдела, мне было совершенно непонятно. Время от времени сотрудники делали до клады на странные темы, вроде: «Относительно выражения глаз авгура» или «Предикторские свойства гуши из-под кофе мокко урожая 1926 года». Иногда группе пифий удавалось что-нибудь правильно предсказать, но каждый раз пифии казались такими удивленными и напуганными своим успехом, что весь эффект пропадал даром. У-Янус, человек деликатнейший, не мог, как было неоднократно отмечено, сдержать неопределенной улыбки каждый раз, когда присутствовал на заседаниях семинара пифий и авгуром.

На четвертом этаже мне, наконец, нашлась работа: я погасил свет в кельях отдела Вечной Молодости. Молодежи в отделе не было, и эти старики, страдающие тысячелетним склерозом, постоянно забывали гасить за собой свет. Впрочем, я подозреваю, что дело здесь было не только в склерозе. Многие из них до сих пор боялись, что их ударит током. Они все еще называли электричку чугункой.

В лаборатории сублимации между длинных столов бродила, зевая, — руки в карманы — унылая модель вечно молодого юнца. Ее седая двухметровая борода волочилась по полу и цеплялась за ножки стульев. На всякий случай я убрал в шкаф стоявшую на табуретке бутыль с царской водкой и отправился к себе в электронный зал.

Здесь стоял мой «Алдан». Я немножко полюбовался на него, какой он компактный, красивый, таинственно поблескивающий. В институте к нам относились по-разному. Бухгалтерия, например, встретила меня с распостертыми объятиями, и главный бухгалтер, скромно улыбаясь, сейчас же завалил меня томительными расчетами заработной платы и рентабельности. Жиан Жиакомо, заведующий отделом Универсальных Превращений, вначале тоже обрадовался, но, убедившись, что «Алдан» не способен рассчитать даже элементарную трансформацию кубика свинца в кубик золота, охладел к моей электронике и удостаивал нас только редкими случайными заданиями. Зато от его подчиненного и любимого ученика Витьки Корнеева спасу не было. И Ойра-Ойра постоянно сидел у меня на шее со своими зубодробительными задачами из области иррациональной метматематики. Кристобаль Хунта, любивший во всем быть первым, взял за правило подключать по ночам машину к своей центральной нервной системе, так что на другой день у него в голове все время что-то явственно жужжало и щелкало, а сбитый с толку «Алдан», вместо того чтобы считать в двоичной системе, непонятным мне образом переходил на древнюю шестидесятеричную, да еще менял логику, начисто отрицая принципы исключенного третьего. Федор же Симеонович Киврин забавлялся с машиной, как ребенок с игрушкой. Он мог часами играть с нею в чет-нечет, обучил ее японским шахматам, а чтобы было интереснее, вселил в машину чью-то бессмертную душу — впрочем, довольно жизнерадостную и работящую. Янус Полуэктович (не помню уже, А или У) воспользовался машиной только один раз. Он принес с собой небольшую полуупрозрачную коробочку, которую подсоединил

к «Алдану». Примерно через десять секунд работы с этой приставкой в машине полетели все предохранители, после чего Янус Полуэктович извинился, забрал свою коробочку и ушел.

Но, несмотря на все маленькие помехи и неприятности, несмотря на то, что одушевленный теперь «Алдан» иногда печатал на выходе: «Думаю. Прошу не мешать», несмотря на недостаток запасных блоков и на чувство беспомощности, которое охватывало меня, когда требовалось произвести логический анализ «неконгруэнтной трансгрессии в пси-поле инкуб-преобразования», — несмотря на все это, работать здесь было необычайно интересно, и я гордился своей очевидной нужностью. Я провел все расчеты в работе Ойры-Ойры о механизме наследственности бинополярных гомункулусов. Я составил для Витьки Корнеева таблицы напряженности М- поля дивана-транслятора в девятимерном магопространстве. Я вел рабочую калькуляцию для подшефного рыбозавода. Я рассчитал схему для наиболее экономного транспортирования эликсира Детского Смеха. Я даже сосчитал вероятности решения пасьянсов «Большой слон», «Государственная дума» и «Могила Наполеона» для забавников из группы пасьянсов и проделал все квадратуры численного метода Кристобаля Хозевича, за что тот научил меня впадать в нирвану. Я был доволен, дней мне не хватало, и жизнь моя была полна смысла.

Было еще рано — всего седьмой час. Я включил «Алдан» и немножко поработал. В девять часов вечера я опомнился, с сожалением обесточил электронный зал и отправился на пятый этаж. Пурга все не унималась. Это была настоящая новогодняя пурга. Она выла и визжала в старых заброшенных дымоходах, она наметала сугробы под окнами, бешено дергала и раскачивала редкие уличные фонари.

Я миновал территорию административно-хозяйственного отдела. Вход в приемную Модеста Матвеевича был заложен крест-накрест двутавровыми железными балками, а по сторонам, сабли наголо, стояли два здоровенных ифрита в тюрбанах и в полном боевом снаряжении. Нос каждого, красный и распухший от насморка, был прободен массивным золотым кольцом с жестяным инвентарным номерком. Вокруг пахло серой, паленой шерстью и стрептоцидовой мазью. Я задержался на некоторое время, рассматривая их, потому что ифриты в наших широтах существа редкие. Но тот, что стоял справа, небритый и с черной повязкой на глазу, стал есть меня глазом. О нем ходила дурная слава, будто он бывший людоед,

и я поспешно пошел дальше. Мне было слышно, как он с хлюпаньем тянет носом и причмокивает за моей спиной.

В помещениях отдела Абсолютного Знания были открыты все форточки, потому что сюда просачивался запах селедочных голов профессора Выбегаллы. На подоконниках намело, под батареями парового отопления темнели лужи. Я закрыл форточки и прошелся между девственно чистыми столами работников отдела. На столах красовались новенькие чернильные приборы, не знавшие чернил, из чернильниц торчали окурки. Странный это был отдел. Лозунг у них был такой: «Познание бесконечности требует бесконечного времени». С этим я не спорил, но они делали из этого неожиданный вывод: «А потому работай не работай — все едино». И в интересах неувеличения энтропии Вселенной они не работали. По крайней мере большинство из них. «Ан масс», как сказал бы Выбегалло. По сути, задача их сводилась к анализу кривой относительного познания в области ее асимптотического приближения к абсолютной истине. Поэтому одни сотрудники все время занимались делением нуля на нуль на настольных «мерседесах», а другие отпрашивались в командировки на бесконечность. Из командировок они возвращались бодрые, отъевшиеся и сразу брали отпуск по состоянию здоровья. В промежутках между командировками они ходили из отдела в отдел, присаживались с дымящимися сигаретками на рабочие столы и рассказывали анекдоты о раскрытии неопределенностей методом Лопиталя. Их легко узнавали по пустому взору и по исцарапанным от непрерывного бритья ушам. За полгода моего пребывания в институте они дали «Алдану» всего одну задачу, которая сводилась все к тому же делению нуля на нуль и не содержала никакой абсолютной истины. Может быть, кто-нибудь из них и занимался настоящим делом, но я об этом ничего не знал.

В половине одиннадцатого я вступил на этаж Амвросия Амбуазовича Выбегаллы. Прикрывая лицо носовым платком и стараясь дышать через рот, я направился прямо в лабораторию, известную среди сотрудников как «Родильный Дом». Здесь, по утверждению профессора Выбегаллы, рождались в колбах модели идеального человека. Вылуплялись, значит. Компрене ву?¹

¹ Понимаете? (франц.)

В лаборатории было душно и темно. Я включил свет. Озарились серые гладкие стены, украшенные портретами Эскулапа, Парацельса и самого Амвросия Амбуазовича. Амвросий Амбуазович был изображен в черной шапочке на благодорных кудрях, и на его груди нераазборчиво сияла какая-то медаль.

В центре лаборатории стоял автоклав, в углу — другой, побольше. Около центрального автоклава прямо на полу лежали буханки хлеба, стояли оцинкованные ведра с синеватым обратом и огромный чан с паренными отрубями. Судя по запаху, где-то поблизости находились и селедочные головы, но я так и не смог понять где.

В лаборатории царила тишина, из недр автоклава доносились ритмичные щелкающие звуки.

Почему-то на цыпочках, я приблизился к центральному автоклаву и заглянул в смотровой иллюминатор. Меня и так мутило от запаха, а тут стало совсем плохо, хотя ничего особенного я не увидел: нечто белое и бесформенное медленно колыхалось в зеленоватой полутиме. Я выключил свет, вышел и старательно запер дверь. «По сусалам его», — вспомнил я. Меня беспокоили смутные предчувствия. Только теперь я заметил, что вокруг порога проведена толстая магическая черта, расписанная корявыми кабалистическими знаками. Присмотревшись, я понял, что это было заклинание против гаки — голодного демона ада.

С некоторым облегчением я покинул владения Выбегаллы и стал подниматься на шестой этаж, где Жиан Жиакомо и его сотрудники занимались теорией и практикой Универсальных Превращений. На лестничной площадке висел красочный стихотворный плакат, призывающий к созданию общественной библиотеки. Идея принадлежала местному, стихи были мои:

Раскопай своих подвалов
И шкафов перетряси,
Разных книжек и журналов
По возможности неси.

Я покраснел и пошел дальше. Вступив на шестой этаж, я сразу увидел, что дверь Витькиной лаборатории приоткрыта, и услышал сиплое пение. Я крадучись подобрался к двери.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Хочу тебя прославить.
Тебя, пробивающегося сквозь
метель зимним вечером.

Твое сильное дыхание и мерное
биение твоего сердца...

У. УИТМЕН

Давеча Витька сказал, что идет в одну компанию, а в лаборатории оставляет работать дубля. Дубль — это очень интересная штука. Как правило, это довольно точная копия своего творца. Не хватает, скажем, человеку рук — он создает себе дубля безмозглого, безответного, только и умеющего, что паять контакты, или таскать тяжести, или писать под диктовку, но зато уж умеющего это делать хорошо. Или нужна человеку модель-антропоид для какого-нибудь эксперимента — он создает себе дубля, безмозглого, безответного, только и умеющего, что ходить по потолку или принимать телепатемы, но зато уж умеющего хорошо. Или самый простой случай. Собирается, скажем, человек получить зарплату, а времени терять ему не хочется, и он посыпает вместо себя своего дубля, только и умеющего, что никого из очереди не пропускать, расписываться в ведомости и сосчитать деньги, не отходя от кассы. Конечно, творить дублей умеют не все. Я, например, еще не умел. То, что у меня пока получалось, ничего не умело — даже ходить. И вот стоишь, бывало, в очереди, вроде бы тут и Витька, и Роман, и Володя Почкин, а поговорить не с кем. Стоят как каменные, не мигают, не дышат, с ноги на ногу не переминаются, и сигарету спросить не у кого.

Настоящие мастера могут создавать очень сложных, многопрограммных, самообучающихся дублей. Такого вот супера Роман отправил летом вместо меня на машине. И никто из моих ребят не догадался, что это был не я. Дубль великолепно вел мой «Москвич», ругался, когда его кусали комары, и с удовольствием пел хором. Вернувшись в Ленинград, он развез всех по домам, самостоятельно сдал прокатный автомобиль, расплатился и тут же исчез прямо на глазах ошеломленного директора проката.

Одно время я думал, что А-Янус и У-Янус — это дубль и оригинал. Однако это было совсем не так. Прежде всего оба

директора имели паспорта, дипломы, пропуска и другие необходимые документы. Самые же сложные дубли не могли иметь никаких удостоверений личности. При виде казенной печати на своей фотографии они приходили в ярость и немедленно рвали документы в клочки. Этим загадочным свойством дублей долго занимался Магнус Редькин, но задача оказалась ему явно не по силам.

Далее, Янусы были белковыми существами. По поводу же дублей до сих пор еще не прекратился спор между философами и кибернетиками: считать их живыми или нет. Большинство дублей представляли собою кремнийорганические структуры, были дубли и на германиевой основе, а последнее время вошли в моду дубли на алюмополимерах.

И наконец, самое главное — ни А-Януса, ни У-Януса никто никогда не создавал искусственно. Они не были копией и оригиналом, не были они и братьями-близнецами, они были одним человеком — Янусом Полуэктовичем Невструевым. Никто в институте этого не понимал, но все знали это настолько твердо, что понимать и не пытались.

Витъкин дубль стоял, упервшись ладонями в лабораторный стол, и остановившимся взглядом следил за работой небольшого гомеостата Эшби. При этом он мурлыкал песенку на популярный некогда мотив:

Мы не Декарты, не Ньютоны мы,
Для нас наука — темный лес
Чудес.
А мы нормальные астрономы — да!
Хватаем звездочки с небес...

Я никогда раньше не слыхал, чтобы дубли пели. Но от Витъкиного дубля можно было ожидать всего. Я помню одного Витъкиного дубля, который осмеливался препираться по поводу неумеренного расхода психоэнергии с самим Модестом Матвеевичем. А ведь Модеста Матвеевича даже сотворенные мною чучела без рук, без ног боялись до судорог, по-видимому инстинктивно.

Справа от дубля, в углу, стоял под брезентовым чехлом двухходовой транслятор ТДХ-80Е, убыточное изделие Китежградского завода маготехники. Рядом с лабораторным столом, в свете трех рефлекторов, блестел штопаной кожей мой старый знакомец — диван. На диван была водружена детская ванна

с водой, в ванне брюхом вверх плавал дохлый окунь. Еще в лаборатории были стеллажи, заставленные приборами, а у самой двери стояла большая, зеленого стекла четвертная бутыль, покрытая пылью. В бутыли находился опечатанный джинн, можно было видеть, как он там шевелился, посверкивая глазками.

Витькин дубль перестал рассматривать гомеостат, сел на диван рядом с ванной и, уставясь тем же окаменелым взглядом на дохлую рыбу, пропел следующий куплет:

В целях природы обуздания,
В целях рассеять неученья
Тьму
Берем картину мироздания — да!
И тупо смотрим, что к чему...

Окунь пребывал без изменений. Тогда дубль засунул руку глубоко в диван и принял сопя, что-то там с трудом прворачиваят.

Диван был транслятором. Он создавал вокруг себя М-поле, преобразующее, говоря просто, реальную действительность в действительность сказочную. Я испытал это на себе в памятную ночь на хлебах у Наины Киевны, и спасло меня тогда только то, что диван работал в четверть силы, иначе я проснулся бы каким-нибудь мальчиком с пальчик в сапогах. Для Магнуса Редькина диван был возможным вместилищем искомого Белого Тезиса. Для Модеста Матвеевича — музейным экспонатом инвентарный номер 1123, к разбазариванию запрещенным. Для Витьки это был инструмент номер один. Поэтому Витька крал диван каждую ночь, Магнус Федорович из ревности доносил об этом завкадрами товарищу Демину, а деятельность Модеста Матвеевича сводилась к тому, чтобы все это прекратить. Витька крал диван до тех пор, пока не вмешался Янус Полуэктович, которому в тесном взаимодействии с Федором Симеоновичем и при активной поддержке Жиана Жиакомо, опираясь на официальное письмо Президиума Академии наук за личными подписями четырех академиков, удалось-таки полностью нейтрализовать Редькина и слегка потеснить с занимаемых позиций Модеста Матвеевича. Модест Матвеевич объявил, что он, как лицо материально ответственное, не желает ни о чем слышать и что желает он, чтобы диван инвентарный номер 1123 находился в специально отведенном для

него, дивана, помещении. А ежели этого не будет, сказал Модест Матвеевич грозно, то пусть все, до академиков включительно, пеняют на себя. Янус Полуэктович согласился пеньять на себя, Федор Симеонович тоже, и Витька быстренько перетащил диван в свою лабораторию.

Витька был серьезный работник, не то что шалопай из отдела Абсолютного Знания, и намеревался превратить всю морскую и океанскую воду нашей планеты в живую воду. Пока он, правда, находился в стадии эксперимента.

Окунь в ванне зашевелился и перевернулся брюхом вниз. Дубль убрал руку из дивана. Окунь апатично пошевелил плавниками, зевнул, завалился на бок и снова перевернулся на спину.

— С-скотина, — сказал дубль с выражением.

Я сразу насторожился. Это было сказано эмоционально. Никакой лабораторный дубль не мог бы так сказать. Дубль засунул руки в карманы, медленно поднялся и увидел меня. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Потом я ехидно осведомился:

— Работаем?

Дубль тупо глядел на меня.

— Ну брось, брось, — сказал я. — Все ясно.

Дубль молчал. Он стоял как каменный и не мигал.

— Ну, вот что, — сказал я. — Сейчас пол-одиннадцатого. Даю тебе десять минут. Все прибери, выброси эту дохлятину и беги танцевать. А уж обесточу я сам.

Дубль вытянул губы дудкой и начал пятиться. Он пятился очень осторожно, обогнул диван и встал так, чтобы между нами был лабораторный стол. Я демонстративно посмотрел на часы. Дубль пробормотал заклинание, на столе появился «мерседес», авторучка и стопка чистой бумаги. Дубль, согнув колени, повис в воздухе и стал что-то писать, время от времени опасливо на меня поглядывая. Это было очень похоже, и я даже засомневался. Впрочем, у меня было верное средство выяснить правду. Дубли, как правило, совершенно нечувствительны к боли. Попав в кармане, я извлек маленькие острые клещи и, выразительно щелкнув ими, стал приближаться к дублю. Дубль перестал писать. Пристально поглядев ему в глаза, я скусил клещами шляпку гвоздя, торчащую из стола, и сказал:

— Н-н-ну?

— Чего ты ко мне пристал? — осведомился Витька. — Видишь ведь, что человек работает.

— Ты же дубль, — сказал я. — Не смей со мной разговаривать.

— Убери клещи, — сказал он.

— А ты не валяй дурака, — сказал я. — Тоже мне дубль. Витька сел на край стола и устало потер уши.

— Ничего у меня сегодня не получается, — сообщил он. — Дурак я сегодня. Дубля сотворил — получился какой-то уже совершенно безмозглый. Все ронял, на умклайдет сел, животное... Треснул я его по шее, руку отбил... И окунь дохнет систематически.

Я подошел к дивану и заглянул в ванну.

— А что с ним?

— А я откуда знаю?..

— Где ты его взял?

— На рынке.

Я поднял окуня за хвост.

— А чего ты хочешь? Обыкновенная снулая рыбка.

— Дубина, — сказал Витька. — Вода-то живая...

— А-а, — сказал я и стал соображать, что бы ему посоветовать. Механизм действия живой воды я представлял себе крайне смутно. В основном по сказке об Иване-царевиче и Сером Волке.

Джинн в бутыли двигался и время от времени принимался протирать ладошкой стекло, запыленное снаружи.

— Протер бы бутыль, — сказал я, ничего не придумав.

— Что?

— Пыль с бутылки сотри. Скучно же ему там.

— Черт с ним, пусть скучает, — рассеянно сказал Витька.

Он снова засунул руку в диван и снова провернул там что-то. Окунь ожил.

— Видал? — сказал Витька. — Когда даю максимальное напряжение — все в порядке.

— Экземпляр... неудачный, — сказал я наугад.

Витька вынул руку из дивана и уставился на меня.

— Экземпляр... — сказал он. — Неудачный... — Глаза его стали как у дубля. — Экземпляр экземпляру люпус эст...¹

¹ Перифраз латинской поговорки «человек человеку — волк».

— Потом, он, наверное, мороженый, — сказал я, осмелев. Витька меня не слушал.

— Где бы рыбку взять? — сказал он, озираясь и хлопая себя по карманам. — Рыбочку бы...

— Зачем? — спросил я.

— Верно, — сказал Витька. — Зачем? Раз нет другой рыбы, — рассудительно произнес он, — почему бы не взять другую воду? Верно?

— Э, нет, — возразил я. — Так не пойдет.

— А как? — жадно спросил Витька.

— Выметайся отсюда, — сказал я. — Покинь помещение.

— Куда?

— Куда хочешь.

Он перелез через диван и сгреб меня за грудки.

— Ты меня слушай, понял? — сказал он угрожающе. — На свете нет ничего одинакового. Все распределяется по гауссиане. Вода воде рознь... Этот старый дурак не сообразил, что существует дисперсия свойств...

— Эй, милый, — позвал я его. — Новый год скоро! Не увлекайся так.

Он отпустил меня и засуетился:

— Куда же я его дел?.. Вот лапоть!.. Куда я его сунул?.. А, вот он...

Он бросился к стулу, на котором торчком стоял умклайдет. Тот самый. Я отскочил к двери и сказал умоляюще:

— Опомнись! Двенадцатый же час! Тебя же ждут! Верочка ждет!

— Не, — отвечал он. — Я им туда дубля послал. Хороший дубль, развесистый... Дурак дураком. Анекдоты, стойку делает, танцует, как вол...

Он крутил в руках умклайдет, что-то прикидывая, примечиваясь, прищуря один глаз.

— Выметайся, говорят тебе! — заорал я в отчаянии.

Витька коротко глянул на меня, и я присел. Шутки кончились.

Витька находился в том состоянии, когда увлеченные работой маги превращают окружающих в пауков, мокриц, ящериц и других тихих животных. Я сел на корточки рядом с джинном и стал смотреть.

Витька замер в классической позе для материального заклинания (позиция «мартихор»), над столом поднялся розовый пар, вверх-вниз запрыгали тени, похожие на летучих мышей,

исчез «мерседес», исчезла бумага, и вдруг вся поверхность стола покрылась сосудами с прозрачными растворами. Витька, не глядя, сунул умклайдет на стул, схватил один из сосудов и стал его внимательно рассматривать. Было ясно, что теперь он отсюда никуда и никогда не уйдет. Он живо убрал с дивана ванну, одним прыжком подскочил к стеллажам и поволок к столу громоздкий медный аквавитометр. Я устроился было поудобнее и протер джинну окошечко для обозрения, но тут из коридора донеслись голоса, топот ног и хлопанье дверей. Я вскочил и кинулся вон из лаборатории.

Ощущение ночной пустоты и темного покоя огромного здания исчезло бесследно. В коридоре горели яркие лампы. Кто-то сломя голову мчался по лестнице, кто-то кричал: «Валька! Напряжение упало! Сбегай в аккумуляторную!», кто-то вытряхивал на лестничной площадке шубу, и мокрый снег летел во все стороны. Навстречу мне с задумчивым лицом быстро шел изящно изогнутый Жиан Жиакомо, за ним с его огромным портфелем под мышкой и с его тростью в зубах семенил гном. Мы раскланялись. От великого престиgidжитатора пахло хорошим вином и французскими благовониями. Остановить его я не посмел, и он прошел сквозь запертую дверь в свой кабинет. Гном просунул ему вслед портфель и трость, а сам нырнул в батарею парового отопления.

— Какого дьявола? — вскричал я и побежал на лестницу.

Институт был битком набит сотрудниками. Казалось, их было даже больше, чем в будний день. В кабинетах и лабораториях вовсю горели огни, двери были распахнуты настежь. В институте стоял обычный деловой гул: треск разрядов, монотонные голоса, диктующие цифры и произносящие заклинания, дробный стук «мерседесов» и «рейнметаллов». И над всем этим раскатистый и победительный рык Федора Симеоновича: «Эт' хорошо, эт' здо-о-рово! Вы молодец, голубчик! Но к-какой дурак выключил г-генератор?» Меня саданули в спину твердым углом, и я ухватился за перила. Я рассвирепел. Это были Володя Почкин и Эдик Амперян, они тащили на свой этаж координатно-измерительную машину весом в полтонны.

— А, Саша? — приветливо сказал Эдик. — Здравствуй, Саша.

— Сашка, посторонись с дороги! — крикнул Володя Почкин, пятясь задом. — Заноси, заноси!..

Я схватил его за ворот:

— Ты почему в институте? Ты как сюда попал?

— Через дверь, через дверь, пусти... — сказал Володя. — Эдька, еще правее! Ты видишь, что не проходит?

Я отпустил его и бросился в вестибюль. Я был охвачен административным негодованием. «Я вам покажу, — бормотал я, прыгая через четыре ступеньки. — Я вам покажу бездельничать. Я вам покажу всех пускать без разбору!..» Макродемоны Вход и Выход, вместо того чтобы заниматься делом, дрожа от азарта и лихорадочно фосфоресцируя, резались в рулетку. На моих глазах забывший свои обязанности Вход сорвал банк примерно в семьдесят миллиардов молекул у забывшего свои обязанности Выхода. Рулетку я узнал сразу. Это была моя рулетка. Я сам смастерили ее для одной вечеринки и держал ее за шкафом в электронном зале, и знал об этом один только Витька Корнеев. Заговор, решил я. Всех разнесу. А через вестибюль все шли и шли покрытые снегом краснолицые веселые сотрудники.

— Ну и метет! Все уши забило...

— А ты тоже ушел?

— Да ну, скучотища... Напились все. Дай, думаю, пойду лучше поработаю. Оставил им дубля и ушел...

— Ты знаешь, танцую я с ней и чувствую, что обрастаю шерстью. Хватил водки — не помогает...

— А если пучок электронов? Масса большая? Ну тогда фотонов...

— Алексей, у тебя лазер свободный есть? Ну, давай хоть газовый...

— Галка, как же это ты мужа оставила?

— Я еще час назад вышел, если хочешь знать. В сугроб, понимаешь, провалился, чуть не занесло меня...

Я понял, что не оправдал. Не было уже смысла отбирать рулетку у демонов, оставалось пойти и вдребезги разругаться с провокатором Витькой, а там будь что будет. Я погрозил демонам кулаком и побрел вверх по лестнице, пытаясь представить себе, что было бы, если бы в институт сейчас заглянул Модест Матвеевич.

По дороге в приемную директора я остановился в стендовом зале. Здесь усмиряли выпущенного из бутылки джинна. Джинн, огромный, синий от злости, метался в вольере, огороженном щитами Джян бен Джяна и закрытом сверху мощным маг-

нитным полем. Джинна стегали высоковольтными разрядами, он выл, ругался на нескольких мертвых языках, скакал, отрыгивал языки огня, в запальчивости начинал строить и тут же разрушал дворцы, потом, наконец, сдался, сел на пол и, вздрагивая от разрядов, жалобно завыл:

— Ну хватит, ну отстаньте, ну я больше не буду... Ой-ой-ой... Ну я уже совсем тихий...

У пульта разрядника стояли спокойные немигающие молодые люди, сплошь дубли. Оригиналы же, столпившись около вибростенда, поглядывали на часы и откупоривали бутылки.

Я подошел к ним.

— А, Сашка!

— Сашенция, ты, говорят, дежурный сегодня... Я к тебе потом забегу в зал.

— Эй, кто-нибудь сотворите ему стакан, у меня руки заняты...

Я был ошеломлен и не заметил, как в руке у меня очутился стакан. Пробки грянули в щиты Джинн бен Джяна, шипя полилось ледяное шампанское. Разряды смолкли, джинн перестал скулить и начал принююхиваться. В ту же секунду кремлевские часы принялись бить двенадцать.

— Ребята! Да здравствует понедельник!

Стаканы сдвинулись. Потом кто-то сказал, осматривая бутылку:

— Кто творил вино?

— Я.

— Не забудь завтра заплатить.

— Ну что, еще бутылочку?

— Хватит, простудимся.

— Хороший джинн попался... Нервный немножко.

— Дареному коню...

— Ничего, полетит как миленький. Сорок витков продергнется, а там пусть катится со своими нервами.

— Ребята, — робко сказал я, — ночь на дворе... и праздник.

Шли бы вы по домам...

На меня посмотрели, меня похлопали по плечу, мне сказали: «Ничего, это пройдет» — и гурьбой двинулись к вольеру... Дубли откатили один из щитов, а оригиналы деловито окружили джинна, крепко взяли его за руки и за ноги и поволокли к вибростенду. Джинн трусливо причитал и неуверенно сулил всем сокровища царей земных. Я одиноко стоял

в сторонке и смотрел, как они пристегивают его ремнями и прикрепляют к разным частям его тела микродатчики. Потом я потрогал щит. Он был огромный, тяжелый, изрытый вмятинами от ударов шаровых молний, местами обуглившийся. Щиты Джян бен Джяна были сделаны из семи драконьих шкур, склеенных желчью отцеубийцы, и рассчитаны на прямое попадание молний. К каждому щиту были обойными гвоздиками прибиты жестяные инвентарные номера. Теоретически на лицевой стороне щитов должны были быть изображения всех знаменитых битв прошлого, а на внутренней — всех великих битв грядущего. Практически же на лицевой стороне щита, перед которым я стоял, виднелось что-то вроде реактивного самолета, штурмующего автоколонну, а внутренняя сторона была покрыта странными разводами и напоминала абстрактную картину.

Джинна стали трясти на вибростенде. Он хихикал и взвизгивал: «Ой, щекотно!.. Ой, не могу!..» Я вернулся в коридор. В коридоре пахло бенгальскими огнями. Под потолком крутились шутихи, стуча о стены и оставляя за собой струи цветного дыма, проносились ракеты. Я повстречал дубля Володи Почкина, волочившего гигантскую пинку набулу с медными застежками, двух дублей Романа Ойры-Ойры, изнемогавших под тяжеленным швейлером, потом самого Романа с кучей ярко-синих папок из архива отдела Недоступных Проблем, а затем свирепого лаборанта из отдела Смысла Жизни, конвоирующего на допрос к Хунте стадо ругающихся привидений в плащах крестоносцев... Все были заняты и деловиты.

Трудовое законодательство нарушалось злостно, и я почувствовал, что у меня исчезло всякое желание бороться с этими нарушениями, потому что сюда в двенадцать часов новогодней ночи, прорвавшись через пургу, пришли люди, которым было интереснее доводить до конца или начинать сызнова какое-нибудь полезное дело, чем глушить себя водкою, бессмысленно дрыгать ногами, играть в фанты и заниматься флиртом разных степеней легкости. Сюда пришли люди, которым было приятнее быть друг с другом, чем порознь, которые терпеть не могли всякого рода воскресений, потому что в воскресенье им было скучно. Маги, Люди с большой буквы, и девизом их было — «Понедельник начинается в субботу». Да, они знали кое-какие заклинания, умели превращать воду в вино, и каждый из них не затруднился бы накормить пятью хлебами тысячу

человек. Но магами они были не поэтому. Это была шелуха, внешнее. Они были магами потому, что очень много знали, так много, что количество перешло у них, наконец, в качество, и они стали с миром в другие отношения, нежели обычные люди. Они работали в институте, который занимался прежде всего проблемами человеческого счастья и смысла человеческой жизни, но даже среди них никто точно не знал, что такое счастье и в чем именно смысл жизни. И они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же. Каждый человек — маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает менять думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться в старинном смысле этого слова. И наверное, их рабочая гипотеза была недалека от истины, потому что так же как труд превратил обезьяну в человека, точно так же отсутствие труда в гораздо более короткие сроки превращает человека в обезьяну. Даже хуже, чем в обезьяну.

В жизни мы не всегда замечаем это. Бездельник и тунеядец, развратник и карьерист продолжают ходить на задних конечностях, разговаривать вполне членораздельно (хотя круг тем у них сужается до предела). Что касается узких брюк и увлечения джазом, по которым одно время пытались определять степень обезьяноподобия, то довольно быстро выяснилось, что они свойственны даже лучшим из магов.

В институте же регресс скрыть было невозможно. Институт представлял неограниченные возможности для превращения человека в мага. Но он был беспощаден к отступникам и метил их без промаха. Стоило сотруднику предаться хотя бы на час эгоистическим и инстинктивным действиям (а иногда даже просто мыслям), как он со страхом замечал, что пушок на его ушах становится гуще. Это было предупреждение. Так милиционерский свисток предупреждает о возможном штрафе, так боль предупреждает о возможной травме. Теперь все зависело от себя. Человек сплошь и рядом не может бороться со своими кислыми мыслями, на то он и человек — переходная ступень от неандертальца к магу. Но он может поступать вопреки этим мыслям, и тогда у него сохраняются шансы. А может и уступить, махнуть на все рукой («Живем один раз», «Надо брать от жизни все», «Все человеческое мне не чуждо»), и тогда ему остается одно: как можно скорее уходить из института. Там, снаружи, он еще может остаться по крайней

мере добропорядочным мещанином, честно, но вяло отрабатывающим свою зарплату. Но трудно решиться на уход. В институте тепло, уютно, работа чистая, уважаемая, платят не плохо, люди прекрасные, а стыд глаза не выест. Вот и слоняются, провожаемые сочувственными и неодобрительными взглядами, по коридорам и лабораториям, с ушами, покрытыми жесткой серой шерстью, бестолковые, теряющие связность речи, глупеющие на глазах. Но этих еще можно пожалеть, можно пытаться помочь им, можно еще надеяться вернуть им человеческий облик...

Есть другие. С пустыми глазами. Достоверно знающие, с какой стороны у бутерброда масло. По-своему очень даже неглупые. По-своему немалые знатоки человеческой природы. Расчетливые и беспринципные, познавшие всю силу человеческих слабостей, умеющие любое зло обратить себе в добро и в этом неутомимые. Они тщательно выбирают свои уши и зачастую изобретают удивительные средства для уничтожения волосяного покрова. И как часто они достигают значительных высот и крупных успехов в своем основном деле — в строительстве светлого будущего в одной отдельно взятой квартире и на одном отдельно взятом приусадебном участке, отгороженном от остального человечества колючей проволокой...

Я вернулся на свой пост в приемную директора, свалил бесполезные ключи в ящик и прочел несколько страниц из классического труда Я. П. Невструева «Уравнения математической магии». Эта книга читалась, как приключенческий роман, потому что была битком набита поставленными и нерешенными проблемами. Мне жгуче захотелось работать, и я совсем было уже решил начать на дежурство и уйти к своему «Алдану», как позвонил Модест Матвеевич.

С хрустом жуя, он сердито осведомился:

— Где вы ходите, Привалов? Третий раз звоню, безобразие!

— С Новым годом, Модест Матвеевич, — сказал я.

Некоторое время он молча жевал, потом ответил тоном ниже:

— Соответственно. Как дежурство?

— Только что обошел помещения, — сказал я. — Все нормально.

— Самовозгораний не было?

- Никак нет.
- Везде обесточено?
- Бриарей палец сломал,— сказал я.
Он встревожился.
- Бриарей? Постойте... Ага, инвентарный номер 1489...

Почему?

- Я объяснил.
- Что вы предприняли?

Я рассказал.

- Правильное решение,— сказал Модест Матвеевич.— Продолжайте дежурить. У меня все.

Сразу после Модеста позвонил Эдик Амперян из отдела Линейного Счастья и вежливо попросил посчитать оптимальные коэффициенты беззаботности для ответственных работников. Я согласился, и мы договорились встретиться в электронном зале через два часа. Потом зашел дубль Ойры-Ойры и бесцветным голосом попросил ключи от сейфа Януса Полуэктовича. Я отказал. Он стал настаивать. Я выгнал его вон.

Через минуту примчался сам Роман.

- Давай ключи.
- Я помотал головой.

— Не дам.

— Давай ключи!

— Иди ты в баню. Я лицо материально ответственное.

— Сашка, я сейф унесу!

Я ухмыльнулся и сказал:

— Прошу.

Роман уставился на сейф и весь напрягся, но сейф был либо заговорен, либо привинчен к полу.

— А что тебе там нужно? — спросил я.

— Документация на РУ-16,— сказал Роман.— Ну дай ключи!

Я засмеялся и протянул руку к ящику с ключами. И в то же мгновение пронзительный вопль донесся откуда-то сверху. Я вскочил.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Горе! Малый я не сильный;
Съест упырь меня совсем...

A. C. ПУШКИН

— Вылупилися, — спокойно сказал Роман, глядя в потолок.

— Кто? — Мне было не по себе: крик был женский.

— Выбегаллов упырь, — сказал Роман. — Точнее, кадавр.

— А почему женщина кричала?

— А вот увидишь, — сказал Роман.

Он взял меня за руку, подпрыгнул, и мы понеслись через этажи. Пронизывая потолки, мы врезались в перекрытия, как нож в замерзшее масло, затем с чмокающим звуком выскачивали в воздух и снова врезались в перекрытия. Между перекрытиями было темно, и маленькие гномы вперемежку с мышами с испуганными писками шарахались от нас, а в лабораториях и кабинетах, через которые мы пролетали, сотрудники с озадаченными лицами смотрели вверх.

В «Родильном Доме» мы протолкались через толпу любознательных и увидели за лабораторным столом совершенно голого профессора Выбегалло. Синевато-белая его кожа мокро поблескивала, мокрая борода свисала клином, мокрые волосы залипали низкий лоб, на котором пламенел действующий вулканический прыщ. Пустые прозрачные глаза, редко помаргивая, бессмысленно шарили по комнате.

Профессор Выбегалло кашал. На столе перед ним дымилась большая фотографическая кювета, доверху наполненная паренными отрубями. Не обращая ни на кого специального внимания, он зачерпывал отруби ладонью, уминал их пальцами, как плов, и образовавшийся комок отправлял в ротовое отверстие, обильно посыпая крошками бороду. При этом он хрустел, чмокал, хрюкал, всхрапывал, склонял голову набок и жмурился, словно от огромного наслаждения. Время от времени, не переставая глотать и давиться, он приходил в волнение, хватал за края чан с отрубями и ведра с обратом, стоявшие рядом с ним на полу, и каждый раз придвигал их к себе все ближе и ближе. На другом конце стола молоденькая ведьмак-практиканта Стелла, с чистыми розовыми ушками, бледная

и заплаканная, с дрожащими губками, нарезала хлебные буханки огромными скибками и, отворачиваясь, подносила их Выбегалле на вытянутых руках. Центральный автоклав был раскрыт, опрокинут, и вокруг него растеклась обширная зеленоватая лужа.

Выбегалло вдруг произнес неразборчиво:

— Эй, девка... эта... молока давай! Лей, значить, прямо сюда, в отрубя... Силь в пле, значить...

Стелла торопливо подхватила ведро и плеснула в кювету обрат.

— Эх! — воскликнул профессор Выбегалло.— Посуда мала, значить! Ты, девка, как тебя, эта, прямо в чан лей. Будем, значить, из чана кушать...

Стелла стала опрокидывать ведра в чан с отрубями, а профессор, ухвативши кювету, как ложку, принялся черпать отруби и отправлять в пасть, раскрывшуюся вдруг невероятно широко.

— Да позвоните же ему! — жалобно закричала Стелла.— Он же сейчас все доест!

— Звонили уже,— сказали в толпе.— Ты лучше от него отойди все-таки. Ступай сюда.

— Ну, он придет? Придет?

— Сказал, что выходит. Галоши, значить, надевает и выходит. Отойди от него, тебе говорят.

Я, наконец, понял, в чем дело. Это не был профессор Выбегалло. Это был новорожденный кадавр, модель человека, неудовлетворенного желудочно. И слава богу, а то я уж подумал, что профессора хватил мозговой паралич. Как следствие напряженных занятий.

Стелла осторожненько отошла. Ее схватили за плечи и втянули в толпу. Она спряталась за моей спиной, вцепившись мне в локоть, и я немедленно расправил плечи, хотя не понимал еще, в чем дело и чего она так боится. Кадавр жрал. В лаборатории, полной народа, стояла потрясенная тишина, и было слышно только, как он сопит и хрустит, словно лошадь, и скребет кюветой по стенкам чана. Мы смотрели. Он слез со стула и погрузил голову в чан. Женщины отвернулись. Лилечке Новосмеховой стало плохо, и ее вывели в коридор. Потом ясный голос Эдика Амперяна произнес:

— Хорошо. Будем логичны. Сейчас он прикончит отруби, потом доест хлеб. А потом?

В передних рядах возникло движение. Толпа потеснилась



к дверям. Я начал понимать. Стелла сказала тоненьким голоском:

— Еще селедочные головы есть...

— Много?

— Две тонны.

— М-да,— сказал Эдик.— И где же они?

— Они должны подаваться по конвейеру,— сказала Стелла.— Но я попробовала, а конвейер сломан...

— Между прочим,— сказал Роман громко,— уже в течение двух минут я пытаюсь его пассивизировать, и совершенно безрезультатно...

— Я тоже,— сказал Эдик.

— Поэтому,— сказал Роман,— было бы очень хорошо, если бы кто-нибудь из особо брезгливых занялся починкой конвейера. Как паллиатив. Есть тут кто-нибудь еще из магистров? Эдика я вижу. Еще кто-нибудь есть? Корнеев! Виктор Павлович, ты здесь?

— Нет его. Может быть, за Федором Симеоновичем сбегать?

— Я думаю, пока не стоит беспокоить. Справимся какнибудь. Эдик, давай-ка вместе, сосредоточенно.

— В каком режиме?

— В режиме торможения. Вплоть до тетануса. Ребята, помогайте все, кто умеет.

— Одну минутку,— сказал Эдик.— А если мы его повредим?

— Да-да-да,— сказал я.— Вы уж лучше не надо. Пусть уж он лучше меня сожрет.

— Не беспокойся, не беспокойся. Мы будем осторожны. Эдик, давай на прикосновениях. В одно касание.

— Начали,— сказал Эдик.

Стало еще тише. Кадавр ворочался в чане, а за стеной переговаривались и постукивали добровольцы, возвившиеся с конвейером. Прошла минута. Кадавр вылез из чана, утер бороду, сонно посмотрел на нас и вдруг ловким движением, неимоверно далеко вытянув руку, сцепил последнюю буханку хлеба. Затем он рокочуще отрыгнулся и откинулся на спинку стула, сложив руки на огромном вздувшемся животе. По лицу его разлилось блаженство. Он посыпал и бессмысленно улыбался. Он был несомненно счастлив, как бывает счастлив предельно уставший человек, добрившийся, наконец, до желанной постели.

— Подействовало, кажется,— с облегченным вздохом сказал кто-то в толпе.

Роман с сомнением поджал тубы.

— У меня нет такого впечатления,— вежливо сказал Эдик.

— Может быть, у него завод кончился? — сказал я с надеждой.

Стелла жалобно сообщила:

— Это просто релаксация... Пароксизм довольства. Он скоро опять проснетесь.

— Слабаки вы, магистры,— сказал мужественный голос.— Пустите-ка меня, пойду Федора Симеоныча позвону.

Все переглядывались, неуверенно улыбаясь. Роман задумчиво играл умклайдетом, катая его на ладони. Стелла дрожала, шепча: «Что ж это будет? Саша, я боюсь!» Что касается меня, то я выпячивал грудь, хмурил брови и боролся со страстным желанием позвонить Модесту Матвеевичу. Мне ужасно хотелось снять с себя ответственность. Это была слабость, и я был бессилен перед ней. Модест Матвеевич представлялся мне сейчас совсем в особом свете. Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упьра: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» — как упырь немедленно бы прекратил.

— Роман,— сказал я небрежно,— я думаю, что в крайнем случае ты способен его дематериализовать?

Роман засмеялся и похлопал меня по плечу.

— Не трусь,— сказал он.— Это все игрушки. С Выбегаллой только связываться неохота... Этого ты не бойся, ты вон того бойся! — Он указал на второй автоклав, мирно пощелкивающий в углу.

Между тем кадавр вдруг беспокойно зашевелился. Стелла тихонько взвизгнула и прижалась ко мне. Глаза кадавра раскрылись. Сначала он нагнулся и заглянул в чан. Потом погримел пустыми ведрами. Потом замер и некоторое время сидел неподвижно. Выражение довольства на его лице сменилось выражением горькой обиды. Он приподнялся, быстро обнюхал, шевеля ноздрями, стол и, вытянув длинный красный язык, слизнул крошки.

— Ну, держись, ребята... — прошептали в толпе.

Кадавр сунул руку в чан, вытащил кювету, осмотрел ее со всех сторон и осторожно откусил край. Брови его страшно поднялись. Он откусил еще кусок и захрустел. Лицо

его посинело, словно от сильного раздражения, глаза увлажнились, но он кусал раз за разом, пока не сжевал всю кювету. С минуту он сидел в задумчивости, пробуя пальцами зубы, затем медленно прошелся взглядом по замершей толпе. Нехороший у него был взгляд — оценивающий, выбирающий какоето. Володя Почкин непроизвольно произнес: «Но-но, тихо, ты...» И тут пустые прозрачные глаза уперлись в Стеллу, и она испустила вопль, тот самый душераздирающий вопль, переходящий в ультразвук, который мы с Романом уже слышали в приемной директора четырьмя этажами ниже. Я содрогнулся. Кадавра это тоже смущило: он опустил глаза и нервно забарабанил пальцами по столу.

В дверях раздался шум, все задвигались, и сквозь толпу, расталкивая зазевавшихся, выдирая сосульки из бороды, полез Амвросий Амбуазович Выбегалло. Настоящий. От него пахло водкой, запуном и морозом.

— Милай! — закричал он. — Что же это, а? Кель сетуасьен!¹ Стелла, что же ты, эта, смориши.. Где селедка? У него же потребности!.. У него же они растут!.. Мои труды читать надо!

Он приблизился к кадавру, и кадавр сейчас же принялся жадно его обнюхивать. Выбегалло отдал ему запун.

— Потребности надо удовлетворять! — говорил он, торопливо щелкая переключателями на пульте конвейера. — Почему сразу не дала? Ох уж эти ле фам, ле фам!.. ² Кто сказал, что сломан? И не сломан вовсе, а заговорен. Чтоб, значит, не всяк мог пользоваться, потому что, эта, потребность у всех, а селедка — для модели...

В стене открылось окошечко, затарахтел конвейер, и прямо на пол полился поток благоухающих селедочных голов. Глаза кадавра сверкнули. Он пал на четвереньки, дробной рысью подскакал к окошечку и взялся за дело. Выбегалло, стоя рядом, хлопал в ладоши, радостно вскрикивал и время от времени, переполняясь чувствами, принимался чесать кадавра за ухом.

Толпа облегченно вздохала и шевелилась. Выяснилось, что Выбегалло привел с собой двух корреспондентов областной газеты. Корреспонденты были знакомые — Г. Проницательный и Б. Питомник. От них тоже пахло водкой. Сверкая блициами,

¹ Ну и дела! (*франц.*)

² Женщины, женщины! (*франц.*)



они принялись фотографировать и записывать в книжечки. Г. Проницательный и Б. Питомник специализировались по науке, Г. Проницательный был прославлен фразой: «Оорт первый взглянул на звездное небо и заметил, что Галактика вращается». Ему же принадлежали: литературная запись по вествования Мерлина о путешествии с председателем райсовета и интервью, взятое (по неграмотности) у дубля Ойры-Ойры. Интервью имело название «Человек с большой буквы» и начиналось словами: «Как всякий истинный ученый, он был немногословен...» Б. Питомник паразитировал на Выбегалле. Его боевые очерки о самонадевающейся обуви, о самовыдергивающе-самоукладывающейся в грузовики моркови и о других проектах Выбегаллы были широко известны в области, а статья «Волшебник из Соловца» появилась даже в одном из центральных журналов.

Когда у кадавра наступил очередной пароксизм довольства и он задремал, подоспевшие лаборанты Выбегаллы, с корнем выдранные из-за новогодних столов и потому очень неприветливые, торопливо нарядили его в черную пару и подсунули под него стул. Корреспонденты поставили Выбегаллу рядом, положили его руки на плечи кадавра и, нацелясь объективами, попросили продолжать.

— Главное — что? — с готовностью провозгласил Выбегалло. — Главное, чтобы человек был счастлив. Замечаю это в скобках: счастье есть понятие человеческое. А что есть человек, философски говоря? Человек, товарищи, есть хомо сапиенс, который может и хочет. Может, эта, все, что хочет, а хочет все, что может. Нес па, товарищи? Ежели он, то есть человек, может все, что хочет, а хочет все, что может, то он и есть счастлив. Так мы его и определим. Что мы здесь, товарищи, перед собою имеем? Мы имеем модель. Но эта модель, товарищи, хочет, и это уже хорошо. Так сказать, экселент, експи, шармант¹. И еще, товарищи, вы сами видите, что она может. И это еще лучше, потому что раз так, то она... он, значить, счастливый. Имеется метафизический переход от несчастья к счастью, и это нас не может удивлять, потому что счастливыми не рождаются, а счастливыми, эта, становятся. Вот оно сейчас просыпается... Оно хочет. И потому оно пока несчастно. Но оно может, и через это «может» совершается диалектический скачок. Во, во!.. Смотрите! Видали, как оно может? Ух

¹ Чудесно, превосходно, прелестно (*франц.*).

ты, мой милый, ух ты, мой радостный!.. Во, во! Вот как оно может! Минут десять — пятнадцать оно может... Вы, товарищ Питомник, там свой фотоаппаратик отложите, а возьмите вы киноаппаратик, потому как здесь мы имеем процесс... здесь у нас все в движении! Покой у нас, как и полагается быть, относителен, движение у нас абсолютно. Вот так. Теперь оно смогло и диалектически переходит к счастью. К довольству то есть. Видите, оно глаза закрыло. Наслаждается. Ему хорошо. Я вам научно утверждаю, что готов был бы с ним поменяться. В данный, конечно, момент... Вы, товарищ Проницательный, все, что я говорю, записывайте, а потом дайте мне. Я пригложу и ссылки вставлю... Вот теперь оно дремлет, но это еще не все. Потребности должны идти у нас как вглубь, так и вширь. Это, значит, будет единственно верный процесс. Он ди, ке¹, Выбегалло, мол, против духовного мира. Это, товарищи, ярлык. Нам, товарищи, давно пора забыть такие манеры в научной дискуссии. Все мы знаем, что материальное идет впереди, а духовное идет позади. Сатур вентур, как известно, нон студит либентур². Что мы, применительно к данному случаю, переведем так: голодной куме все хлеб на уме...

— Наоборот, — сказал Ойра-Ойра.

Некоторое время Выбегалло пусто смотрел на него, затем сказал:

— Эту реплику из зала мы, товарищи, сейчас отметем с негодованием. Как неорганизованную. Не будем отвлекаться от главного — от практики. Я продолжаю и переходжу к следующей ступени эксперимента. Поясняю для прессы. Исходя из материалистической идеи о том, что временное удовлетворение матпотребностей произошло, можно переходить к удовлетворению духовных потребностей. То есть посмотреть кино, телевизор, послушать народную музыку или попеть самому и даже почитать какую-нибудь книгу, скажем, «Крокодил» или там газету... Мы, товарищи, не забываем, что ко всему этому надо иметь способности, в то время как удовлетворение матпотребностей особенных способностей не требует, они всегда есть, ибо природа следует материализму. Пока насчет духовных способностей данной модели мы сказать ничего не можем, поскольку ее рациональное зерно есть желудочная неудовлетворенность. Но эти духспособности мы сейчас у нее вычленим.

¹ Говорят, что... (франц.)

² Сытое брюхо к учению глухо (лат.).

Угрюмые лаборанты развернули на столах магнитофон, радиоприемник, кинопроектор и небольшую переносную библиотеку. Кадавр окинул инструменты культуры равнодушным взором и попробовал на вкус магнитофонную ленту. Стало ясно, что духспособности модели спонтанно не проявятся. Тогда Выбегалло приказал начать, как он выразился, насильственное внедрение культурных навыков. Магнитофон сладко запел: «Мы с милым расставалися, клялись в любви своей...» Радиоприемник засвистел и зауллююкал. Проектор начал показывать на стене мультфильм «Волк и семеро козлят». Два лаборанта встали с журналами в руках¹ по сторонам кадавра и принялись наперебой читать вслух...

Как и следовало ожидать, желудочная модель отнеслась ко всему этому шуму с полным безразличием. Пока ей хотелось лопатить, она чихала на свой духовный мир, потому что хотела лопатить и лопала. Насытившись же, она игнорировала свой духовный мир, потому что соловела и временно уже ничего больше не желала. Зоркий Выбегалло ухитрился все-таки заметить несомненную связь между стуком барабана (из радиоприемника) и рефлекторным подрагиванием нижних конечностей модели. Это подрагивание привело его в восторг.

— Ногу! — закричал он, хватая за рукав Б. Питомника. — Снимайте ногу! Крупным планом! Ля выбрасъен са моле гош этюн гранд синь!¹ Эта нога отметет все происки и сорвет все ярлыки, которые на меня навешивают! Уи сан дот², человек, который не специалист, может быть, даже удивится, как я отношусь к этой ноге. Но ведь, товарищи, все великое обнаруживается в малом, а я должен напомнить, что данная модель есть модель ограниченных потребностей, говоря конкретно — только одной потребности и, называя вещи своими именами, прямо по-нашему, без всех этих вуалей,— модель потребности желудочной. Потому у нее такое ограничение и в духпотребностях. А мы утверждаем, что только разнообразие матпотребностей может обеспечить разнообразие духпотребностей. Поясняю для прессы на доступном ей примере. Ежели бы, скажем, была у него ярко выраженная потребность в данном магнитофоне «Астра-7» за сто сорок рублей, каковая потребность должна пониматься нами как материальная, и оно бы

¹ Дрожание его левой икры есть великий признак (*франц.*).

² Разумеется (*франц.*).

этот магнитофон заимело, то оно бы данный магнитофон и крутило бы, потому что, сами понимаете, что еще с магнитофоном делать? А раз крутило бы, то с музыкой, а раз музыка — надо ее слушать или там танцевать... А что, товарищи, есть слушанье музыки с танцами или без них? Это есть удовлетворение духпотребностей. Копране ву?

Я уже давно заметил, что поведение кадавра существенно переменилось. То ли в нем что-то разладилось, то ли так и должно было быть, но время релаксаций у него все сокращалось и сокращалось, так что к концу речи Выбегаллы он уже не отходил от конвейера. Впрочем, возможно, ему просто стало трудно передвигаться.

— Разрешите вопрос,— вежливо сказал Эдик.— Чем вы объясняете прекращение пароксизмов довольства?

Выбегалло замолк и посмотрел на кадавра. Кадавр жрал. Выбегалло посмотрел на Эдика.

— Отвечаю,— самодовольно сказал он.— Вопрос, товарищи, верный. И, я бы даже сказал, умный вопрос, товарищи. Мы имеем перед собою конкретную модель непрерывно возрастающих материальных потребностей. И только поверхностному наблюдателю может казаться, что пароксизмы довольства якобы прекратились. На самом деле они диалектически перешли в новое качество. Они, товарищи, распространились на сам процесс удовлетворения потребностей. Теперь ему мало быть сытым. Теперь потребности возросли, теперь ему надо все время кушать, теперь он самообучился и знает, что жевать — это тоже прекрасно. Понятно, товарищ Ампераин?

Я посмотрел на Эдика. Эдик вежливо улыбался. Рядом с ним стояли рука об руку дубли Федора Симеоновича и Кристобалия Хозевича. Головы их, с широко расставленными ушами, медленно поворачивались вокруг оси, как аэродромные радиолокаторы.

— Еще вопрос можно? — сказал Роман.

— Прошу,— сказал Выбегалло с устало-снисходительным видом.

— Амвросий Амбруазович, — сказал Роман, — а что будет, когда оно все потребит?

Взгляд Выбегаллы стал гневным.

— Я прошу всех присутствующих отметить этот провокационный вопрос, от которого за версту разит малтузианством, неомалтузианством, прагматизмом, экзистенци...о...нали-

змом и неверием, товарищи, в неисчерпаемую мощь человечества. Вы что же хотите сказать этим вопросом, товарищ Ойра-Ойра? Что в деятельности нашего научного учреждения может наступить момент, кризис, регресс, когда нашим потребителям не хватит продуктов потребления? Нехорошо, товарищ Ойра-Ойра! Не подумали вы! А мы не можем допустить, чтобы на нашу работу навешивали ярлыки и бросали тень. И мы этого, товарищи, не допустим.

Он достал носовой платок и вытер бороду. Г. Проницательный, скривившись от умственного напряжения, задал следующий вопрос:

— Я, конечно, не специалист. Но какое будущее у данной модели? Я понимаю, что эксперимент проходит успешно. Но очень уж активно она потребляет.

Выбегалло горько усмехнулся,

— Вот видите, товарищ Ойра-Ойра, — сказал он. — Так вот и возникают нездоровые сенсации. Вы, не подумав, задали вопрос. И вот уже рядовой товарищ неверно сориентирован. Не на тот идеал смотрит. Не на тот идеал смотрите, товарищ Проницательный! — обратился он прямо к корреспонденту. — Данная модель есть уже пройденный этап! Вот идеал, на который нужно смотреть! — Он подошел ко второму автоклаву и положил рыжеволосую руку на его полированный бок. Борода его задралась. — Вот наш идеал! — провозгласил он. — Или, выражаясь точнее, вот модель нашего с вами идеала. Мы имеем здесь универсального потребителя, который всего хочет и все, соответственно, может. Все потребности в нем заложены, какие только бывают на свете. И все эти потребности он может удовлетворить. С помощью нашей науки, разумеется. Поясняю для прессы. Модель универсального потребителя, заключенная в этом автоклаве, или, говоря по-нашему, в самозапиральнике, хочет неограниченно. Все мы, товарищи, при всем нашем уважении к нам, просто нули рядом с нею. Потому что она хочет таких вещей, о которых мы и понятия не имеем. И она не будет ждать милости от природы. Она возьмет от природы все, что ей нужно для полного счастья, то есть для удовлетворенности. Материально-магические силы сами извлекут из окружающей природы все ей необходимое. Счастье данной модели будет неописуемым. Она не будет знать ни голода, ни жажды, ни зубной боли, ни личных неприятностей. Все ее потребности будут мгновенно удовлетворяться по мере их возникновения.

— Простите, — вежливо сказал Эдик, — и все ее потребности будут материальными?

— Ну разумеется! — вскричал Выбегалло. — Духовные потребности разовьются в соответствии! Я уже отмечал, что чем больше материальных потребностей, тем разнообразнее будут духовные потребности. Это будет исполин духа и корифей!

Я оглядел присутствующих. Многие были ошарашены. Корреспонденты отчаянно писали. Некоторые, как я заметил, со странным выражением переводили взгляд с автоклава на непрерывно глотающего кадавра и обратно. Стелла, припав лбом к моему плечу, всхлипывала и шептала: «Уйду я отсюда, не могу, уйду...» Я, кажется, тоже начинал понимать, чего опасался Ойра-Ойра. Мне представилась громадная отверстая пасть, в которую, брошенные магической силой,сыплются животные, люди, города, континенты, планеты и солнца...

Б. Питомник снова обратился к Выбегалле:

— А когда и где будет происходить демонстрация универсальной модели, Амвросий Амбруазович?

— Ответ, — сказал Выбегалло. — Демонстрация будет происходить здесь, в этой моей лаборатории. О моменте прессы будет оповещена дополнительно.

— Но это будет в ближайшие дни?

— Есть мнение, что это будет в ближайшие часы. Так что товарищам прессе лучше всего оставаться и подождать.

Тут дубли Федора Симеоновича и Кристобаля Хозевича, словно по команде, повернулись и вышли. Ойра-Ойра сказал:

— Вам не кажется, Амвросий Амбруазович, что такую демонстрацию проводить в помещении, да еще в центре города, опасно?

— Нам опасаться нечего, — веско сказал Выбегалло. — Пусть наши враги, эта, опасаются.

— Помните, я говорил вам, что возможна...

— Вы, товарищ Ойра-Ойра, недостаточно, значить, подкованы. Отличать надо, товарищ Ойра-Ойра, возможность от действительности, случайность от необходимости, теорию от практики и вообще...

— Все-таки, может быть, на полигоне...

— Я испытываю не бомбу, — высокомерно сказал Выбегалло. — Я испытываю модель идеального человека. Какие будут еще вопросы?

Какой-то умник из отдела Абсолютного Знания принялся расспрашивать о режиме работы автоклава. Выбегалло с охотой пустился в объяснения. Угрюмые лаборанты собирали свою технику удовлетворения духпотребностей. Кадавр жрал. Черная пара на нем потрескивала, расползаясь по швам. Ойра-Ойра изучающе глядел на него. Потом он вдруг громко сказал:

— Есть предложение. Всем лично не заинтересованным немедленно покинуть помещение.

Все обернулись к нему.

— Сейчас здесь будет очень грязно,— пояснил он.— До невозможности грязно.

— Это провокация,— с достоинством сказал Выбегалло.

Роман, схватив меня за рукав, потащил к двери. Я потащил за собой Стеллу. Вслед за нами устремились остальные зрители. Роману в институте верили, Выбегалле — нет. В лаборатории из посторонних остались одни корреспонденты, а мы столпились в коридоре.

— В чем дело? — спрашивали Романа.— Что будет? Почему грязно?

— Сейчас он рванет,— отвечал Роман, не сводя глаз с двери.

— Кто рванет? Выбегалло?

— Корреспондентов жалко,— сказал Эдик.— Слушай, Саша, душ у нас сегодня работает?

Дверь лаборатории отворилась, и оттуда вышли два лаборанта, волоча чан с пустыми ведрами. Третий лаборант, опасливо оглядываясь, сутился вокруг и бормотал: «Давайте, ребята, давайте, я помогу, тяжело ведь...»

— Двери закройте,— посоветовал Роман.

Суетящийся лаборант поспешил захлопнуть дверь и подошел к нам, вытаскивая сигареты. Глаза у него были круглые и бегали.

— Ну, сейчас будет...— сказал он.— Проницательный дурак, я ему подмигивал... Как он жрет!.. С ума сойти, как он жрет...

— Сейчас двадцать пять минут третьего...— начал Роман.

И тут раздался грохот. Зазвенели разбитые стекла. Дверь лаборатории крякнула и сорвалась с петли. В образовавшуюся щель вынесло фотоаппарат и чей-то галстук. Мы шарахнулись, Стелла опять взвизгнула.

— Спокойно,— сказал Роман.— Уже все. Одним потребителем на земле стало меньше.

Лаборант, белый, как халат, непрерывно затягиваясь, курил сигарету. Из лаборатории доносилось хлюпанье, кашель, неразборчивые проклятия. Потянуло дурным запахом. Я нерешительно промямлил:

— Надо посмотреть, что ли.

Никто не отозвался. Все сочувственно смотрели на меня. Стелла тихо плакала и держала меня за куртку. Кто-то кому-то объяснял шепотом: «Он дежурный сегодня, понял?.. Надо же кому-то идти выгребать...»

Я сделал несколько неуверенных шагов к дверям, но тут из лаборатории, цепляясь друг за друга, выбрались корреспонденты и Выбегалло.

Господи, в каком они были виде!..

Опомнившись, я вытащил из кармана платиновый свисток и свистнул.

Расталкивая сотрудников, ко мне заспешила авральная команда домовых-ассенизаторов.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Верьте мне, это было самое ужасное зрелище на свете.

Ф. РАБЛЕ

Больше всего меня поразило то, что Выбегалло нисколько не был обескуражен происшедшим. Пока домовые обрабатывали его, поливая абсорбентами и умащивая благовониями, он вешал фальцетом:

— Вот вы, товарищи Ойра-Ойра и Амперян, вы тоже все опасались. Что, мол, будет, да как, мол, его остановить... Есть, есть в вас, товарищи, этакий нездоровий, значить, скептицизм. Я бы сказал, этакое недоверие к силам природы, к человеческим возможностям. И где же оно теперь, ваше недоверие? Лопнуло! Лопнуло, товарищи, на глазах широкой общественности и забрызгало меня и вот товарищей из прессы...

Пресса потеряно молчала, покорно подставляя бока под шипящие струи абсорбентов.

Г. Проницательного била крупная дрожь.

Б. Питомник мотал головой и непроизвольно облизывался.

Когда домовые прибрали лабораторию в первом приближении, я заглянул внутрь. Авральная команда деловито вставляла стекла и жгла в муфельной печи останки желудочной модели. Останков было мало: кучка пуговиц с надписью «фор джентльмен»¹, рукав пиджака, неимоверно растянутые подтяжки и вставная челюсть, напоминающая ископаемую челюсть гигантопитека. Остальное, по-видимому, разлетелось в пыль. Выбегалло осмотрел второй автоклав, он же самозапиральник, и объявил, что все в порядке. «Прессу прошу ко мне,— сказал он.— Прочим предлагаю вернуться к своим непосредственным обязанностям». Пресса вытащила книжечки, все трое уселись за стол и принялись уточнять детали очерка «Рождение открытия» и информационной заметки «Профессор Выбегалло рассказывает».

Зрители разошлись. Ушел Ойра-Ойра, забрав у меня ключи от сейфа Януса Полуэктовича. Ушла в отчаянии Стелла, которую Выбегалло отказался отпустить в другой отдел. Ушли заметно повеселевшие лаборанты. Ушел Эдик, окруженный толпой теоретиков, прикидывая на ходу минимальное возможное давление в желудке взорвавшегося кадавра. Я тоже отправился на свой пост, предварительно удостоверившись, что испытание второго кадавра состоится не раньше восьми утра.

Эксперимент произвел на меня тягостное впечатление, и, устроившись в огромном кресле в приемной, я некоторое время пытался понять, дурак Выбегалло или хитрый демагог-халтурщик. Научная ценность всех его кадавров была, очевидно, равна нулю. Модели на базе собственных дублей умел создавать любой сотрудник, защитивший магистерскую диссертацию и закончивший двухгодичный спецкурс нелинейной трансгрессии. Наделять эти модели магическими свойствами тоже ничего не стоило, потому что существовали справочники, таблицы и учебники для магов-аспирантов. Эти модели сами по себе никогда ничего не доказывали и с точки зрения науки представляли не больший интерес, чем карточные фокусы или шлаголготание. Можно было, конечно, понять всех этих горекорреспондентов, которые липли к Выбегалле, как мухи к по-

¹ «Мужские» (анел.).

мойке. Потому что с точки зрения неспециалиста все это было необычайно эффектно, вызывало почтительную дрожь и смутные ощущения каких-то громадных возможностей. Труднее было понять Выбегаллу с его болезненной страстью устраивать цирковые представления и публичные взрывы на потребу любопытным, лишенным возможности (да и желания) разобраться в сути вопроса. Если не считать двух-трех изнуренных командировками абсолютников, обожающих давать интервью о положении дел в бесконечности, никто в институте, мягко выражаясь, не злоупотреблял контактами с прессой: это считалось дурным тоном и имело глубокое внутреннее обоснование.

Дело в том, что самые интересные и изящные научные результаты сплющь и рядом обладают свойством казаться не-посвященным заумными и тоскливо-непонятными. Люди далекие от науки в наше время ждут от нее чуда и только чуда и практически не способны отличить настояще научное чудо от фокуса или какого-нибудь интеллектуального сальтогоморталя. Наука чародейства и волшебства не составляет исключения. Организовать на телестудии конференцию знаменных привидений или просверлить взглядом дыру в полуметровой бетонной стене могут многие, и это никому не нужно, но это приводит в восторг почтеннейшую публику, плохо представляющую себе, до какой степени наука сплела и перепутала понятия сказки и действительности. А вот попробуйте найти глубокую внутреннюю связь между сверлящим свойством взгляда и филологическими характеристиками слова «бетон», попробуйте решить эту маленькую частную проблемку, известную под названием Великой проблемы Ауэрса! Ее решил Ойра-Ойра, создав теорию фантастической общности и положив начало совершенно новому разделу математической магии. Но почти никто не слыхал об Ойре-Ойре, зато все превосходно знают профессора Выбегаллу. («Как, вы работаете в НИИЧАВО? Ну как там Выбегалло? Что он еще новенького сотворил?») Это происходит потому, что идеи Ойры-Ойры способны воспринять всего двести — триста человек на всем земном шаре, и среди этих двух-трех сотен довольно много членов-корреспондентов и — увы! — нет ни одного корреспондента. А классический труд Выбегаллы «Основы технологии производства самонадевающейся обуви», набитый демагогической болтовней, произвел в свое время заботами Б. Питомника изрядный шум. (Позже выяснилось, что самонадевающиеся ботинки стоят дороже мотоцикла и боятся пыли и сырости.)

Время было позднее. Я порядком устал и незаметно для себя заснул. Мне снилась какая-то нечисть: многоногие гигантские комары, бородатые, как Выбегалло, говорящие ведра с обратом, чан на коротких ножках, бегающий по лестнице. Иногда в мой сон заглядывал какой-нибудь нескромный домовой, но, увидев такие страсти, испуганно удирал. Проснулся я от боли и увидел рядом с собою мрачного бородатого комара, который старался запустить свой толстый, как авторучка, хобот мне в икру.

«Брысь!» — заорал я и стукнул его кулаком по выпученному глазу.

Комар обиженно заурчал и отбежал в сторону. Он был большой, как собака, рыжий с подпалинами. Вероятно, во сне я бессознательно произнес формулу материализации и нечаянно вызвал из небытия это угрюмое животное. Загнать его обратно в небытие мне не удалось. Тогда я вооружился томом «Уравнений математической магии», открыл форточку и выгнал комара на мороз. Пурга сейчас же закрутила его, и он исчез в темноте. «Вот так возникают нездоровые сенсации», — подумал я.

Было шесть часов утра. Я прислушивался. В институте стояла тишина. То ли все старательно работали, то ли уже разошлись по домам. Мне следовало совершить еще один обход, но идти никуда не хотелось и хотелось чего-нибудь поесть, потому что ел я в последний раз восемнадцать часов назад. И я решил пустить вместо себя дубля.

Вообще я пока еще очень слабый маг. Неопытный. Будь здесь кто-нибудь рядом, я бы никогда не рискнул демонстрировать свое невежество. Но я был один, и я решил рискнуть, а заодно немного попрактиковаться. В «Уравнениях матмагии» я отыскал общую формулу, подставил в нее свои параметры, проделал все необходимые манипуляции и произнес все необходимые выражения на древнекалдейском. Все-таки учение и труд все перетрут. Первый раз в жизни у меня получился порядочный дубль. Все у него было на месте, и он был даже немножко похож на меня, только левый глаз у него почему-то не открывался, а на руках было по шести пальцев. Я разъяснил ему задание, он кивнул, шаркнул ножкой и удалился, пошатываясь. Больше мы с ним не встречались. Может быть, его ненароком занесло в бункер к З. Горынычу, а может быть, он уехал в бесконечное путешествие на ободе Колеса Фортуны — не знаю, не знаю. Дело в том, что я очень

скоро забыл о нем, потому что решил изготовить себе завтрак.

Я человек неприхотливый. Мне всего-то и надо было, что бутерброд с докторской колбасой и чашку черного кофе. Не понимаю, как это у меня получилось, но сначала на столе образовался докторский халат, густо намазанный маслом. Когда первый приступ естественного изумления прошел, я внимательно осмотрел халат. Масло было не сливочное и даже не растительное. Вот тут мне надо было халат уничтожить и начать все сначала. Но с отвратительной самонадеянностью я вообразил себя богом-творцом и пошел по пути последовательных трансформаций. Рядом с халатом появилась бутылка с черной жидкостью, а сам халат, несколько помедлив, стал обугливаться по краям. Я торопливо уточнил свои представления, сделав особый упор на образы кружки и говядины. Бутылка превратилась в кружку, жидкость не изменилась, один рукав халата сжался, вытянулся, порыжел и стал подергиваться. Вспотев от страха, я убедился, что это коровий хвост. Я вылез из кресла и отошел в угол. Дальше хвоста дело не пошло, но зрелище и без того было жутковатое. Я попробовал еще раз, и хвост заколосился. Я взял себя в руки, зажмурился и стал со всевозможной отчетливостью представлять в уме ломоть обыкновенного ржаного хлеба, как его отрезают от буханки, намазывают маслом — сливочным, из хрустальной масленки — и кладут на него кружок колбасы. Бог с ней, с докторской, пусть будет обыкновенная полтавская полукощеная. С кофе я решил пока подождать. Когда я осторожно разжмурился, на докторском халате лежал большой кусок горного хрустала, внутри которого что-то темнело. Я поднял этот кристалл, за кристаллом потянулся халат, необъяснимо к нему приросший, а внутри кристалла я разливал вожделенный бутерброд, очень похожий на настоящий. Я застонал и попробовал мысленно расколоть кристалл. Он покрылся густой сетью трещин, так что бутерброд почти исчез из виду. «Тупица, — сказал я себе, — ты съел тысячи бутербродов, и ты не способен сколько-нибудь отчетливо вообразить их. Не волнуйся, никого нет, никто тебя не видит. Это не зачет, не контрольная и не экзамен. Попробуй еще раз». И я попробовал. Лучше бы я не пробовал. Воображение мое почему-то разыгралось, в мозгу вспыхивали и гасли самые неожиданные ассоциации, и, по мере того как я пробовал, приемная наполнялась странными предметами. Многие из них вышли, по-видимому, из подсознания, из дремучих джунглей

наследственной памяти, из давно подавленных высшим образованием первобытных страхов. Они имели конечности и не прерывно двигались, они издавали отвратительные звуки, они были неприличны, они были агрессивны и все время дрались. Я затравленно озирался. Все это живо напоминало мне старинные гравюры, изображающие сцены искушения святого Антония. Особенно неприятным было овальное блюдо на паучьих лапах, покрытое по краям жесткой редкой шерстью. Не знаю, что ему от меня было нужно, но оно отходило в дальний угол комнаты, разгонялось и со всего маху поддавало мне под коленки, пока я не прижал его креслом к стене. Часть предметов в конце концов мне удалось уничтожить, остальные разбрелись по углам и попрятались. Остались: блюдо, халат с кристаллом и кружка с черной жидкостью, разросшаяся до размеров кувшина. Я поднял ее обеими руками и понюхал. По-моему, это были черные чернила для авторучки. Блюдо за креслом шевелилось, царапая лапами цветной линолеум, и мерзко шипело. Мне было очень неуютно.

В коридоре послышались шаги и голоса, дверь распахнулась, на пороге появился Янус Полуэктович и, как всегда, произнес: «Так». Я заметался. Янус Полуэктович прошел к себе в кабинет, на ходу небрежно, одним универсальным движением брови ликвидировав всю сотворенную мною кунсткамеру. За ним проследовали Федор Симонович, Кристобаль Хунта с толстой черной сигарой в углу рта, насупленный Выбегалло и решительный Роман Ойра-Ойра. Все они были озабочены, очень спешили и не обратили на меня никакого внимания. Дверь в кабинет осталась открытой. Я с облегченным вздохом уселся на прежнее место и тут обнаружил, что меня поджидает большая фарфоровая кружка с дымящимся кофе и тарелка с бутербродами. Кто-то из титанов обо мне все-таки позаботился, уж не знаю кто. Я принялся завтракать, прислушиваясь к голосам, доносящимся из кабинета.

— Начнем с того, — с холодным презрением говорил Кристобаль Хозевич, — что ваш, простите, «Родильный Дом» находится в точности под моими лабораториями. Вы уже устроили один взрыв, и в результате я в течение десяти минут был вынужден ждать, пока в моем кабинете вставят вылетевшие стекла. Я сильно подозреваю, что аргументы более общего характера вы во внимание не примете, и потому исхожу из чисто эгоистических соображений...

— Это, дорогой, мое дело, чем я у себя занимаюсь,— отвечал Выбегалло фальцетом.— Я до вашего этажа не касаюсь, хотя вот у вас в последнее время бесперечь течет живая щада. Она у меня весь потолок замочила, и клопы от нее заводятся. Но я вашего этажа не касаюсь, а вы не касайтесь моего.

— Г-голубчик,— пророкотал Федор Симеонович,— Амвросий Амбруазович! Н-надо же принять во внимание в-возможные осложнения... В-весь никто же не занимается, скажем, д-драконом в здании, х-хотя есть и огнеупоры, и...

— У меня не дракон, у меня счастливый человек! Исполин духа! Как-то странно вы рассуждаете, товарищ Киврин, странные у вас аналогии, чужие! Модель идеального человека и какой-то внеклассовый огнедышащий дракон!..

— Г-голубчик, да дело же не в том, ч-что он внеклассовый, а в том, что он п-пожар может устроить...

— Вот, опять! Идеальный человек может устроить пожар! Не подумали вы, товарищ Федор Симеонович!

— Я г-говорю о д-драконе...

— А я говорю о вашей неправильной установке! Вы стираете, Федор Симеонович! Вы всячески замазываете! Мы, конечно, стираем противоречия... между умственным и физическим... между городом и деревней... между мужчиной и женщиной, наконец... Но замазывать пропасть мы вам не позволим, Федор Симеонович!

— К-какую пропасть? Что за ч-чертовщина, Р-роман, в конце концов?.. Вы же ему при мне об-объясняли! Я г-говорю, Амвросий Амбруазович, что ваш эксперимент оп-пасен, понимаете?.. Г-город можно повредить, п-понимаете?

— Я-то все понимаю. Я-то не позволю идеальному человеку вылупляться среди чистого поля на ветру!

— Амвросий Амбруазович,— сказал Роман,— я могу еще раз повторить свою аргументацию. Эксперимент опасен потому...

— Вот я, Роман Петрович, давно на вас смотрю и никак не могу понять, как вы можете применять такие выражения к человеку-идеалу. Идеальный человек ему, видите ли, опасен!

Тут Роман, видимо по молодости лет, потерял терпение.

— Да не идеальный человек! — заорал он. — А ваш гений-потребитель!

Воцарилось зловещее молчание.

— Как вы сказали? — страшным голосом осведомился Выбегалло. — Повторите. Как вы назвали идеального человека?

— И-янус Полуэктович, — сказал Федор Симеонович, — так, друг мой, нельзя все-таки...

— Нельзя! — воскликнул Выбегалло. — Правильно, товарищ Киврин, нельзя! Мы имеем эксперимент международно-научного звучания! Исполин духа должен появиться здесь, в стенах нашего института! Это символично! Товарищ Ойра-Ойра с его pragmatическим уклоном делячески, товарищи, относится к проблеме! И товарищ Хунта тоже смотрит узко-лобо! Не смотрите на меня, товарищ Хунта; царские жандармы меня не запугали, и вы меня тоже не запугаете! Разве в нашем, товарищи, духе бояться эксперимента? Конечно, товарищу Хунте, как бывшему иностранцу и работнику церкви, позволительно временами заблуждаться, но вы-то, товарищ Ойра-Ойра, и вы, Федор Симеонович, вы же простые русские люди!

— П-прекратите д-демагогию! — взорвался, наконец, и Федор Симеонович. — К-как вам не с-совестно нести такую чушь? К-какой я вам п-простой человек? И что это за слово такое — п-простой? Это д-дубли у нас простые!..

— Я могу сказать только одно, — равнодушно сообщил Кристобаль Хозевич. — Я простой бывший Великий Инквизитор, и я закрою доступ к вашему автоклаву до тех пор, пока не получу гарантии, что эксперимент будет производиться на полигоне.

— Н-не ближе пяти к-километров от г-города, — добавил Федор Симеонович. — Или д-даже десяти.

По-видимому, Выбегалле ужасно не хотелось тащить свою аппаратуру и тащиться самому на полигон, где была выюга и не было достаточного освещения для кинохроники.

— Так, — сказал он, — понятно. Отгораживаете нашу науку от народа. Тогда уж, может быть, не на десять километров, а прямо уж на десять тысяч километров, Федор Симеонович? Где-нибудь по ту сторону? Где-нибудь на Аляске, Кристобаль Хозевич, или откуда вы там? Так прямо и скажите. А мы запишем.

Снова воцарилось молчание, и было слышно, как грозно сопит Федор Симеонович, потерявший дар слова.

— Лет триста назад, — холодно произнес Хунта, — за такие слова я пригласил бы вас на прогулку за город, где отряхнул бы вам пыль с ушей и проткнул насеквозд.

— Ничего, ничего, — сказал Выбегалло. — Это вам не Португалия. Критики не любите. Лет триста назад я бы с тобой тоже не особенно церемонился, кафолик недорезанный.

Меня скрутило от ненависти. Почему молчит Янус? Сколько же можно? В тишине раздались шаги, в приемную вышел бледный, оскаленный Роман и, щелкнув пальцами, создал дубль Выбегаллы. Затем он с наслаждением взял дубля за грудь, мелко потряс, взялся за бороду, сладострастно рванул несколько раз, успокоился, уничтожил дубля и вернулся в кабинет.

— А ведь в-вас гнать надо, В-выбегалло, — неожиданно спокойным голосом произнес Федор Симеонович. — Вы, оказывается, н-неприятная фигура.

— Критики, критики не любите, — отвечал, отдуваясь, Выбегалло.

И вот тут, наконец, заговорил Янус Полуэктович. Голос у него был мощный, ровный, как у джек-лондоновских капитанов.

— Эксперимент, согласно просьбе Амвросия Амбуразовича, будет произведен сегодня в десять ноль-ноль. Ввиду того, что эксперимент будет сопровождаться значительными разрушениями, которые едва не повлекут за собой человеческие жертвы, местом эксперимента назначаю дальний сектор полигона в пятнадцати километрах от городской черты. Пользуясь случаем заранее поблагодарить Романа Петровича за его находчивость и мужество.

Некоторое время, по-видимому, все переваривали это решение. Во всяком случае, я переваривал. У Януса Полуэктовича была все-таки, несомненно, странная манера выражать свои мысли. Впрочем, все охотно верили, что ему виднее. Были уже precedents.

— Я пойду вызову машину, — сказал вдруг Роман и, вероятно, прошел сквозь стену, потому что в приемной не появился.

Федор Симеонович и Хунта, наверное, согласно кивали головами, а оправившийся Выбегалло вскричал:

— Правильное решение, Янус Полуэктович! Вовремя вы нам напомнили о потерянной бдительности. Подальше, подальше от посторонних глаз. Только вот грузчики мне понадобятся. Автоклав у меня тяжелый, значит, пять тонн все-таки...

— Конечно, — сказал Янус. — Распорядитесь.

В кабинете задвигали креслами, и я торопливо допил кофе.

В течение последующего часа я вместе с теми, кто еще оставался в институте, торчал у подъезда и наблюдал, как грузят автоклав, стереотрубы, бронещиты и зипуны на всякий случай. Буран утих, утро стояло морозное и ясное.

Роман пригнал грузовик на гусеничном ходу. Бурдалак Альфред привел грузчиков-гекатонхейров. Котт и Гиесшли охотно, оживленно галдя в сотню глоток и на ходу засучивая многочисленные рукава, а Бриарей тащился следом, выставив вперед корявый палец, и ныл, что ему больно, что у него несколько голов кружатся, что он ночь не спал. Котт взял автоклав, Гиес — все остальное. Тогда Бриарей, увидев, что ему ничего не досталось, принялся распоряжаться, давать указания и помогать советами. Он забегал вперед, открывал и держал двери, то и дело присаживался на корточки и, заглядывая снизу, кричал: «Пошло! Пошло!» или «Правее бери! Зацепляешься!» В конце концов ему наступили на руку, а самого защемили между автоклавом и стеной. Он разрыдался, и Альфред отвел его обратно в виварий.

В грузовик набилось порядочно народу. Выбегалло залез в кабину водителя. Он был очень недоволен и у всех спрашивал, который час. Грузовик уехал было, но через пять минут вернулся, потому что выяснилось, что забыли корреспондентов. Пока их искали, Котт и Гиес затянули играть в снежки, чтобы согреться, и выбили два стекла. Потом Гиес сцепился с каким-то ранним пьяным, который кричал: «Все на одного, да?» Гиеса оттащили и затолкали обратно в кузов. Он вращал глазами и грозно ругался по-эллински. Появились дрожащие со сна Г. Проницательный и Б. Питомник, и грузовик, наконец, уехал.

Институт опустел. Было половина девятого. Весь город спал. Мне очень хотелось отправиться вместе со всеми на полигон, но делать было нечего, я вздохнул и пустился во второй обход.

Я, зевая, шел по коридорам и гасил везде свет, пока не добрался до лаборатории Витьки Корнеева. Витька Выбегалловыми экспериментами не интересовался. Он говорил, что таких, как Выбегалло, нужно беспощадно передавать Хунте в качестве подопытных животных на предмет выяснения, не являются ли они летательными мутантами. Поэтому Витька



никуда не поехал, а сидел на диване-трансляторе, курил сигарету и лениво беседовал с Эдиком Амперяном, Эдик лежал рядом и, задумчиво глядя в потолок, сосал леденец. На столе в ванне с водой бодро плавал окунь.

— С Новым годом,— сказал я.

— С Новым годом,— приветливо отозвался Эдик.

— Вот пусть Сашка скажет,— предложил Корнеев.— Саша, бывает небелковая жизнь?

— Не знаю,— сказал я.— Не видел. А что?

— Что значит — не видел? М-поле ты тоже никогда не видел, а напряженность его рассчитываешь.

— Ну и что? — сказал я. Я смотрел на окуня в ванне. Окунь плавал кругами, лихо поворачиваясь на виражах, и тогда было видно, что он выпотрошен.— Витька,— сказал я,— получилось все-таки?

— Саша не хочет говорить про небелковую жизнь,— сказал Эдик.— И он прав.

— Без белка жить можно,— сказал я,— а вот как он живет без потрохов?

— А вот товарищ Амперян говорит, что без белка жить нельзя,— сказал Витька, заставляя струю табачного дыма сворачиваться в смерч и ходить по комнате, огибая предметы.

— Я говорю, что жизнь — это белок, — возразил Эдик.

— Не ощущаю разницы,— сказал Витька.— Ты говоришь, что если нет белка, то нет и жизни.

— Да.

— Ну, а это что? — спросил Витька. Он слабо помахал рукой.

На столе рядом с ванной появилось отвратительное существо, похожее на ежа и на паука одновременно. Эдик приподнялся и заглянул на стол.

— Ах,— сказал он и снова лег.— Это не жизнь. Это нежить. Разве Кощей Бессмертный — это небелковое существо?

— А что тебе надо? — спросил Корнеев.— Двигается? Двигается. Питается? Питается. И размножаться может. Хочешь, он сейчас размножится?

Эдик вторично приподнялся и заглянул на стол. Еж-паук неуклюже топтался на месте. Похоже было, что ему хочется идти на все четыре стороны одновременно.

— Нежить не есть жизнь,— сказал Эдик.— Нежить существует лишь постольку, поскольку существует разумная жизнь. Можно даже сказать точнее: поскольку существуют маги. Нежить есть отход деятельности магов.

— Хорошо,— сказал Витька.

Еж-паук исчез. Вместо него на столе появился маленький Витька Корнеев, точная копия настоящего, но величиной с руку. Он щелкнул маленькими пальчиками и создал микроДубля еще меньшего размера. Тот тоже щелкнул пальцами. Появился дубль величиной с авторучку. Потом величиной со спичечный коробок. Потом — с наперсток.

— Хватит? — спросил Витька.— Каждый из них маг. Ни в одном нет и молекулы белка.

— Неудачный пример,— сказал Эдик с сожалением.— Во-первых, они ничем принципиально не отличаются от станка с программным управлением. Во-вторых, они являются не продуктом развития, а продуктом твоего белкового мастерства. Вряд ли стоит спорить, способна ли дать эволюция саморазмножающиеся станки с программным управлением.

— Много ты знаешь об эволюции,— сказал грубый Корнеев.— Тоже мне Дарвин! Какая разница, химический процесс или сознательная деятельность. У тебя тоже не все предки белковые. Прародитель твоя была, готов признать, достаточно сложной, но вовсе не белковой молекулой. И может быть, наша так называемая сознательная деятельность есть тоже некая разновидность эволюции. Откуда мы знаем, что цель природы — создать товарища Амперяна? Может быть, цель природы — это создание нежити руками товарища Амперяна. Может быть.

— Понятно, понятно. Сначала протовирус, потом белок, потом товарищ Амперян, а потом вся планета заселяется нежитью.

— Именно,— сказал Витька.

— А мы все за ненадобностью вымерли.

— А почему бы и нет? — сказал Витька.

— У меня есть один знакомый,— сказал Эдик.— Он утверждает, будто человек — это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона.

— А почему бы в конце концов и нет?

— А потому, что мне не хочется,— сказал Эдик.— У природы свои цели, а у меня свои.

— Антропоцентрист, — сказал Витька с отвращением.

— Да, — гордо сказал Эдик.

— С антропоцентристами дискутировать не желаю, — сказал грубый Корнеев.

— Тогда давай рассказывать анекдоты, — спокойно предложил Эдик и сунул в рот еще один леденец.

Витькины дубли на столе продолжали работать. Самый маленький дубль был уже ростом с муравья. Пока я слушал спор антропоцентриста с космоцентристом, мне пришла в голову одна мысль.

— Ребятишечки, — сказал я с искусственным оживлением. — Что же это вы не пошли на полигон?

— А зачем? — спросил Эдик.

— Ну, все-таки интересно...

— Я никогда не хожу в цирк, — сказал Эдик. — Кроме того: уби нил валес, иби нил велис¹.

— Это ты о себе? — спросил Витька.

— Нет. Это я о Выбегалле.

— Ребятишечки, — сказал я, — я ужасно люблю цирк. Не все ли вам равно, где рассказывать анекдоты?

— То есть? — сказал Витька.

— Подежурьте за меня, а я сбегаю на полигон.

— Холодно, — напомнил Витька. — Мороз. Выбегалло.

— Очень хочется, — сказал я. — Очень все это таинственно.

— Отпустим ребенка? — спросил Витька у Эдика.

Эдик покивал.

— Идите, Привалов, — сказал Витька. — Это будет вам стоить четыре часа машинного времени.

— Два, — сказал я быстро. Я ждал чего-нибудь подобного.

— Пять, — нахально сказал Витька.

— Ну три, — сказал я. — Я и так все время на тебя работаю.

— Шесть, — хладнокровно сказал Витька.

— Витя, — сказал Эдик, — у тебя на ушах отрастет шерсть.

— Рыжая, — сказал я злорадно. — Может быть, даже с прозеленю.

— Ладно уж, — сказал Витька. — Иди даром. Два часа меня устроят.

¹ Где ты ни на что не способен, там ты не должен ничего хотеть (лат.).



Мы вместе прошли в приемную. По дороге магистры за-таяли невнятный спор о какой-то циклотации, и мне пришлось их прервать, чтобы они трансгрессировали меня на полигон. Я им уже надоел, и, спеша от меня отделаться, они провели трансгрессию с такой энергией, что я не успел одеться и влетел в толпу зрителей спиной вперед.

На полигоне уже все было готово. Публика пряталась за бронещиты. Выбегалло торчал из свежевырытой траншеи и молодецки смотрел в большую стереотрубу. Федор Симеонович и Кристобаль Хунта с сорокакратными биноклярами в руках тихо переговаривались по-латыни. Янус Полуэктович в большой шубе равнодушно стоял в стороне и ковырял троствью снег. Б. Питомник сидел на корточках возле траншеи с раскрытым книжечкой и авторучкой наготове. А Г. Проницательный, увешанный фото- и киноаппаратами, тер замерзшие щеки, крякал и стучал ногой об ногу за его спиной.

Небо было ясное, полная луна склонялась к западу. Мутные стрелы полярного сияния появлялись, дрожа, среди звезд и исчезали вновь. Блестел снег на равнине, и большой округлый цилиндр автоклава был отчетливо виден в сотне метров от нас.

Выбегалло оторвался от стереотрубы, прокашлялся и сказал:

— Товарищи! То-ва-ри-щи! Что мы наблюдаем в эту стереотрубу? В эту стереотрубу, товарищи, мы, обуреваемые сложными чувствами, замирая от ожидания, наблюдаем, как защитный колпак начинает автоматически отвинчиваться... Пишите, пишите, — сказал он Б. Питомнику. — И поточнее пишите... Автоматически, значить, отвинчиваться. Через несколько минут мы будем иметь появление среди нас идеального человека — шевалье, значить, сан пёр э сан-репрош...¹

Я и простым глазом видел, как отвинтилась крышка автоклава и беззвучно упала в снег. Из автоклава ударила длинная, до самых звезд, струя пара.

— Даю пояснение для прессы... — начал было Выбегалло, но тут раздался страшный рев.

Земля поплыла и запевелилась. Взвилась огромная снежная туча. Все повалились друг на друга, и меня тоже опрокинуло и покатило. Рев все усиливался, и, когда я с трудом, цепляясь за гусеницы грузовика, поднялся на ноги, я увидел,

¹ Рыцарь без страха и упрека (франц.).

как жутко, гигантской чашей в мертвом свете луны ползет, заворачиваясь внутрь, край горизонта, как угрожающие раскачиваются бронещиты, как бегут врассыпную, падают и снова вскакивают вывалившиеся в снегу зрители. Я увидел, как Федор Симеонович и Кристобаль Хунта, накрытые радужными колпаками защитного поля, пятятся под натиском урагана, как они, подняв руки, силятся растянуть защиту на всех остальных, но вихрь рвет защиту в клочья, и эти клочки несутся над равниной подобно огромным мыльным пузырям и лопаются в звездном небе. Я увидел поднявшегося воротник Януса Полуэктовича, который стоял, повернувшись спиной к ветру, прочно упершись тростью в обнажившуюся землю, и смотрел на часы. А там, где был автоклав, крутилось освещенное изнутри красивым тугое облако пара, и горизонт стремительно загибался все круче и круче, и казалось, что все мы находимся на дне колоссального кувшина. А потом совсем рядом с эпицентром этого космического безобразия появился вдруг Роман в своем зеленом пальто, рвущемся с плеч. Он широко размахнулся, швырнулся в ревущий пар что-то большое, блеснувшее бутылочным блеском, и сейчас же упал ничком, закрыв голову руками. Из облака вынырнула безобразная, искаженная бешенством физиономия джинна, глаза его крутились от ярости. Разевая пасть в беззвучном хохоте, он взмахнул просторными волосатыми ушами, пахнуло гарью, над метелью взметнулись призрачные стены великолепного дворца, затряслись и опали, а джинн, превратившись в длинный язык оранжевого пламени, исчез в небе. Несколько секунд было тихо. Затем горизонт с тяжелым грохотом осел. Меня подбросило высоко вверх, и, прия в себя, я обнаружил, что сижу, упираясь руками в землю, неподалеку от грузовика. Снег пропал. Все поле вокруг было черным. Там, где минуту назад стоял автоклав, зияла большая воронка. Из нее поднимался белый дымок, и пахло паленым.

Зрители начали подниматься на ноги. Лица у всех были испачканы и перекошены. Многие потеряли голос, кашляли, отплевывались и тихо постанывали. Начали чиститься, и тут обнаружилось, что некоторые раздеть до белья. Послышался ропот, затем крики: «Где брюки? Почему я без брюк? Я же был в брюках!», «Товарищи! Никто не видел моих часов?», «И моих!», «И у меня тоже пропали!», «Зуба нет, платинового! Летом только вставил...», «Ой, а у меня колечко пропало... И браслет», «Где Выбегалло? Что за безобразие?

Что все это значит?», «Да черт с ними, с часами и зубами! Люди-то все целы? Сколько нас было?», «А что, собственно, произошло? Какой-то взрыв... Джинн... А где же исполин духа?», «Где потребитель?», «Где Выбегалло, наконец?», «А горизонт видел? Знаешь, на что это похоже?», «На свертку пространства, я эти штуки знаю...», «Холодно в майке, дайте что-нибудь...», «Г-где же этот Вы-выбегалло? Где этот д-дурак?»

Земля зашевелилась, и из траншеи вылез Выбегалло. Он был без валенок.

— Поясняю для прессы,— сипло сказал он.

Но ему не дали пояснить. Магнус Федорович Редькин, пришедший специально, чтобы узнать наконец, что же такое настоящее счастье, подскочил к нему, тряся сжатыми кулаками, и завопил:

— Это шарлатанство! Вы за это ответите! Балаган! Где моя шапка? Где моя шуба? Я буду на вас жаловаться! Где моя шапка, я спрашиваю?

— В полном соответствии с программой...— бормотал Выбегалло, озираясь.— Наш дорогой исполин...

На него надвинулся Федор Симеонович.

— Вы, м-милейший, за-зарываете свой талант в землю. В-вами надо отдел Об-оборонной Магии у-усилить. В-ваших идеальных людей н-на неприятельские б-базы сбрасывать надо. Н-на страх а-агрессору.

Выбегалло попятился, заслоняясь рукавом зипуна. К нему подошел Кристобаль Хозевич, молча, меряя его взглядом, швырнул ему под ноги испачканные перчатки и удалился. Жиан Жиакомо, наспех создавая себе видимость элегантного костюма, прокричал издали:

— Это же феноменально, сеньоры. Я всегда питал к нему некоторую антипатию, но ничего подобного я представить себе не мог...

Тут, наконец, разобрались в ситуации Г. Проницательный и Б. Питомник. До сих пор, неуверенно улыбаясь, они глядели каждому в рот, надеясь что-нибудь понять. Затем они сообразили, что все идет далеко не в полном соответствии. Г. Проницательный твердыми шагами приблизился к Выбегалло и, тронув его за плечо, сказал железным голосом:

— Товарищ профессор, где я могу получить назад мои аппараты? Три фотоаппарата и один киноаппарат.

— И мое обручальное кольцо, — добавил Б. Питомник.

— Пardon, — сказал Выбегалло с достоинством. — Он ву демандера канд он ура безуан де ву¹. Подождите объяснений.

Корреспонденты оробели. Выбегалло повернулся и пошел к воронке. Над воронкой уже стоял Роман.

— Чего здесь только нет... — сказал он еще издали.

Исполина-потребителя в воронке не оказалось. Зато там было все остальное и еще много сверх того. Там были фото- и киноаппараты, бумажники, шубы, кольца, ожерелья, брюки и платиновый зуб. Там были валенки Выбегаллы и шапка Магнуса Федоровича. Там оказался мой платиновый свисток для вызова авральной команды. Кроме того, мы обнаружили там два автомобиля «Москвич», три автомобиля «Волга», железный сейф с печатями местной сберкассы, большой кусок жареного мяса, два ящика водки, ящик жигулевского пива и железную кровать с никелированными шарами.

Натянув валенки, Выбегалло, снисходительно улыбаясь, заявил, что теперь можно начать дискуссию. «Задавайте вопросы», — сказал он. Но дискуссии не получилось. Взвешенный Магнус Федорович вызвал милицию. Примчался на «газике» юный сержант Ковалев. Всем нам пришлось записаться в свидетели. Сержант Ковалев ходил вокруг воронки, пытаясь обнаружить следы преступника. Он нашел огромную вставную челюсть и глубоко задумался над нею. Корреспонденты, получившие свою аппаратуру и увидевшие все в новом свете, внимательно слушали Выбегаллу, который опять понес демагогическую ахинею насчет неограниченных и разнообразных потребностей. Становилось скучно, я мэрз.

— Пошли домой, — сказал Роман.

— Пошли, — сказал я. — Откуда ты взял джинна?

— Выписал вчера со склада. Совсем для других целей.

— А что все-таки произошло? Он опять обожрался?

— Нет, просто Выбегалло дурак, — сказал Роман.

— Это понятно, — сказал я. — Но откуда катаклизм?

— Все отсюда же, — сказал Роман. — Я говорил ему тысячу раз: «Вы программируете стандартного суперэгоцентриста. Он загребет все материальные ценности, до которых сможет дотянуться, а потом свернет пространство, закуклится и остановит время». А Выбегалло никак не может взять в толк, что

¹ Когда будет нужно, вас позовут (франц.).

истинный исполин духа не столько потребляет, сколько думает и чувствует.

— Это все зола,— продолжал он, когда мы подлетели к институту.— Это всем ясно. Ты лучше скажи мне, откуда У-Янус узнал, что все получится именно так, а не иначе? Он же все это предвидел. И огромные разрушения, и то, что я соображу, как прикончить исполина в зародыше.

— Действительно,— сказал я.— Он даже благодарность тебе вынес. Авансом.

— Странно, верно? — сказал Роман.— Надо бы все это тщательно продумать.

И мы стали тщательно продумывать. Это заняло у нас много времени. Только весной и только случайно нам удалось во всем разобраться.

Но это уже совсем другая история.





ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ

ВСЕЧЕСКАЯ СУЕТА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Когда бог создавал время, — говорят ирландцы, — он создал его достаточно.

Г. БЕЛЬ

Восемьдесят три процента всех дней в году начинаются одинаково: звенит будильник. Этот звон вливается в последние сны то судорожным стрекотанием итогового перфоратора, то гневными раскатами баса Федора Симеоновича, то скрежетом когтей василиска, играющего в термостате.

В то утро мне снился Модест Матвеевич Каменоедов. Будто он стал заведующим вычислительным центром и учит меня

работать на «Алдане». «Модест Матвеевич, — говорил я ему, — ведь все, что вы мне советуете, — это какой-то болезненный бред». А он орал: «Вы мне это пр-р-рекратите! У вас тут все др-р-р-ребедень! Бели-бер-р-рда!» Тогда я сообразил, что это не Модест Матвеевич, а мой будильник «Дружба» на одиннадцати камнях, с изображением слоника с подъятым хоботом, забормотал: «Слышу, слышу» — и забил ладонью по столу вокруг будильника.

Окно было раскрыто настежь, и я увидел ярко-синее весеннее небо и почувствовал острый весенний холодок. По карнизу, постукивая, бродили голуби. Вокруг стеклянного плафона под потолком обессиленно мотались три мухи — должно быть, первые мухи в этом году. Время от времени они вдруг принимались остервенело кидаться из стороны в сторону, и спросонок мне пришла в голову гениальная идея, что мухи, наверное, стараются выскочить из плоскости, через них проходящей, и я посочувствовал этому безнадежному занятию. Две мухи сели на плафон, а третья исчезла, и тогда я окончательно проснулся.

Прежде всего я отбросил одеяло и попытался воспарить над кроватью. Как всегда, без зарядки, без душа и завтрака это привело лишь к тому, что реактивный момент с силой вдавил меня в диван-кровать и где-то подо мной соскочили и жалобно задребезжали пружины. Потом я вспомнил вчерашний вечер, и мне стало очень обидно, потому что сегодня я весь день буду без работы.

Вчера в одиннадцать часов вечера в электронный зал пришел Кристобаль Хозевич и, как всегда, подсоединился к «Алдану», чтобы вместе с ним разрешить очередную проблему смысла жизни, и через пять минут «Алдан» загорелся. Не знаю, что там могло гореть, но «Алдан» вышел из строя надолго, и поэтому сегодня я, вместо того чтобы работать, должен буду, подобно всем волосатухим тунеядцам, беспечно бродить из отдела в отдел, жаловаться на судьбу и рассказывать анекдоты.

Я сморщился, сел на постели и для начала набрал полную грудь праны, смешанной с холодным утренним воздухом. Некоторое время я ждал, пока прана усвоится, и в соответствии с рекомендацией думал о светлом и радостном. Затем я выдохнул холодный утренний воздух и принялся выполнять комплекс упражнений утренней гимнастики. Мне рассказывали, что старая школа предписывала гимнастику йогов, но йога-

комплекс, так же как и почти ныне забытый майя-комплекс, отнимал пятнадцать — двадцать часов в сутки, и с назначением на пост нового президента АН СССР старой школе пришлось уступить. Молодежь НИИЧАВО с удовольствием ломала старые традиции.

На сто пятнадцатом прыжке в комнату впорхнул мой со-житель Витька Корнеев. Как всегда с утра, он был бодр, энергичен и даже благодушен. Он хлестнул меня по голой спине мокрым полотенцем и принялся летать по комнате, делая руками и ногами движения, как будто плывет брасом. При этом он рассказывал свои сны и тут же толковал их по Фрейду, Мерлину и по девице Ленорман. Я сходил умылся, мы прибрались и отправились в столовую.

В столовой мы заняли свой любимый столик под большим, уже выцветшим плакатом: «Смелее, товарищи! Щелкайте челюстями! Г. Флобер», откупорили бутылки с кефиром и стали есть, слушая местные новости и сплетни.

Вчерашней ночью на Лысой Горе состоялся традиционный весенний слет. Участники вели себя крайне безобразно. Вий с Хомой Брутом в обнимку пошли шляться по улицам ночного города, пьяные, приставали к прохожим, сквернословили, потом Вий наступил себе на левое веко и совсем озверел. Они с Хомой подрались, повалили газетный ларек и попали в милицию, где каждому дали за хулиганство по пятнадцать суток.

Кот Василий взял весенний отпуск — жениться. Скоро в Соловце опять объявятся говорящие котята с наследственно-склеротической памятью. Луи Седловой из отдела Абсолютного Знания изобрел какую-то машину времени и сегодня будет докладывать об этом на семинаре.

В институте снова появился Выбегалло. Везде ходит и хвастается, что осенен титанической идеей. Речь многих обезьян, видите ли, напоминает человеческую, записанную, значить, на магнитофонную пленку и пущенную задом наперед с большой скоростью. Так он, эта, записал в Сухумском заповеднике разговоры павианов и прослушал их, пустив задом наперед на малой скорости.

Получилось, как он заявляет, нечто феноменальное, но что именно — не говорит.

В вычислительном центре опять сгорел «Алдан», но Сашка Привалов не виноват, виноват Хунта, который последнее время из принципа интересуется только такими задачами, для которых доказано отсутствие решения.

Престарелый колдун Перун Маркович Неунывай-Дубино из отдела Атеизма взял отпуск для очередного перевоплощения.

В отделе Вечной Молодости после долгой и продолжительной болезни скончалась модель бессмертного человека.

Академия наук выделила институту энную сумму на благоустройство территории. На эту сумму Модест Матвеевич собирается обнести институт узорной чугунной решеткой с аллегорическими изображениями и с цветочными горшками на столбах, а на заднем дворе, между трансформаторной будкой и бензохранилищем, организовать фонтан с девятиватметровой струей. Спортбюро просило у него денег на теннисный корт — отказал, объявив, что фонтан необходим для научных размышлений, а теннис есть дрыгоночество и рукомашество...

После завтрака все разошлись по лабораториям. Я тоже заглянул к себе и горестно побродил около «Алдана» с распахнутыми внутренностями, в которых копались неприветливые инженеры из отдела Технического Обслуживания. Разговаривать со мной они не хотели и только угрюмо рекомендовали пойти куда-нибудь и заняться своим делом. Я побрел по знакомым.

Витька Корнеев меня выгнал, потому что я мешал ему сосредоточиться. Роман читал лекцию практикантом. Володя Почкин беседовал с корреспондентом. Увидев меня, он нехорошо обрадовался и закричал: «А-а, вот он! Познакомьтесь, это наш заведующий вычислительным центром, он вам расскажет, как...» Но я очень ловко притворился собственным дублем и, сильно напугав корреспондента, сбежал. У Эдика Амперяна меня угостили свежими огурцами, и совсем было завязалась оживленная беседа о преимуществах гастрономического взгляда на жизнь, но тут у них лопнул перегонный куб и про меня сразу забыли.

В совершенном отчаянии я вышел в коридор и столкнулся с У-Янусом, который сказал: «Так» — и, помедлив, осведомился, не беседовали ли мы вчера. «Нет, — сказал я, — к сожалению, не беседовали». Он пошел дальше, и я услышал, как в конце коридора он задает все тот же стандартный вопрос Жиану Жиакому.

В конце концов меня занесло к абсолютникам. Я попал перед самым началом семинара. Сотрудники, позевывая и осторожно поглаживая уши, рассаживались в малом конференц-

зале. На председательском месте, покойно сплетя пальцы, восседал завотделом магистр-академик всея Белыя, Черныя и Серыя магии многознатеc Морис-Иоганн-Лаврентий Пупков-Задний и благосклонно взирал на суетящегося докладчика, который с двумя неумело выполненными волосатоухими дублями устанавливал на экспозиционном стенде некую машину с седлом и педалями, похожую на тренажер для страдающих ожирением. Я присел в уголке подальше от остальных, вытащил блокнот и авторучку и принял заинтересованный вид.

— Ну-те-с,— произнес магистр-академик,— у вас готово?

— Да, Морис Иоганнович,— отозвался Л. Седловой.— Готово, Морис Иоганнович.

— Тогда, может быть, приступим? Что-то я не вижу Смогулия...

— Он в командировке, Иоганн Лаврентьевич,— сказали из зала.

— Ах, да, припоминаю. Экспоненциальные исследования? Ага, ага... Ну хорошо. Сегодня у нас Луи Иванович сделает небольшое сообщение относительно некоторых возможных типов машин времени... Я правильно говорю, Луи Иванович?

— Э... Собственно... Собственно, я бы назвал свой доклад таким образом, что...

— А, ну вот и хорошо. Вот вы и назовите.

— Благодарю вас. Э... Назвал бы так: «Осуществимость машины времени для передвижения во временных пространствах, сконструированных искусственно».

— Очень интересно,— подал голос магистр-академик.— Однако мне помнится, что уже был случай, когда наш сотрудник...

— Простите, я как раз с этого хотел начать.

— Ах, вот как... Тогда прошу, прошу.

Сначала я слушал довольно внимательно. Я даже увлекся. Оказывается, некоторые из этих ребят занимались прелюбопытными вещами. Оказывается, некоторые из них и по сей день бились над проблемой передвижения по физическому времени, правда, безрезультатно. Но зато кто-то, я забыл фамилию, кто-то из старых, знаменитых, доказал, что можно производить переброску материальных тел в идеальные миры, то есть в миры, созданные человеческим воображением. Оказывается, кроме нашего привычного мира с метрикой Римана,

принципом неопределенности, физическим вакуумом и пьяницей Брутом, существуют и другие миры, обладающие ярко выраженной реальностью. Это миры, созданные творческим воображением за всю историю человечества. Например, существуют: мир космологических представлений человечества; мир, созданный живописцами, и даже полуабстрактный мир, нечувствительно сконструированный поколениями композиторов.

Несколько лет назад, оказывается, ученик того самого, знаменитого, собрал машину, на которой отправился путешествовать в мир космологических представлений. В течение некоторого времени с ним поддерживалась односторонняя телепатическая связь, и он успел передать, что находится на краю плоской Земли, видит внизу извивающийся хобот одного из трех слонов-атлантов и собирается спуститься вниз, к чепрехе. Больше сведений от него не поступало.

Докладчик, Луи Иванович Седловой, неплохой, по-видимому, ученый, магистр, сильно страдающий, однако, от пережитков палеолита в сознании и потому вынужденный регулярно брить уши, сконструировал машину для путешествий по описываемому времени. По его словам, реально существует мир, в котором живут и действуют Анна Каренина, Дон-Кихот, Шерлок Холмс, Григорий Мелехов и даже капитан Немо. Этот мир обладает своими весьма любопытными свойствами и закономерностями, и люди, населяющие его, тем более ярки, реальны и индивидуальны, чем более талантливо, страстно и правдиво описали их авторы соответствующих произведений.

Все это меня очень заинтересовало, потому что Седловой, увлекшись, говорил живо и образно. Но потом он спохватился, что получается как-то ненаучно, понавешал на сцене схемы и графики и стал нудно, чрезвычайно специализированным языком излагать про конические декрементные шестерни, полиходовые темпоральные передачи и про какой-то проникающий руль. Я очень скоро потерял нить рассуждений и принялся рассматривать присутствующих.

Магистр-академик величественно спал изредка, чисто рефлекторно, поднимая правую бровь, как бы в знак некоторого сомнения в словах докладчика. В задних рядах резались в функциональный морской бой в банаховом пространстве. Двое лаборантов-заочников старательно записывали все подряд — на лицах их застыло безнадежное отчаяние и совершенная покорность судьбе. Кто-то украдкой закурил, пуская дым между колен под стол. В переднем ряду магистры и бакалавры

с привычной внимательностью слушали, готовя вопросы и замечания. Одни саркастически улыбались, у других на лицах выражалось недоумение. Научный руководитель Седлового после каждой фразы докладчика одобрительно кивал. Я стал смотреть в окно, но там был все тот же осточертевший лабаз да изредка пробегали мальчишки с удочками.

Я очнулся, когда докладчик заявил, что вводную часть он закончил и теперь хотел бы продемонстрировать машину в действии.

— Интересно, интересно,— сказал проснувшийся магистр-академик.— Нуте-ка? Сами отправитесь?

— Видите ли,— сказал Седловой,— я хотел бы остаться здесь, чтобы давать пояснения по ходу путешествия. Может быть, кто-нибудь из присутствующих?..

Присутствующие начали жаться. Очевидно, все вспомнили загадочную судьбу путешественника на край плоской Земли. Кто-то из магистров предложил отправить дубля. Седловой ответил, что это будет неинтересно, потому что дубли мало восприимчивы к внешним раздражениям и потому будут плохими передатчиками информации. Из задних рядов спросили, какого рода могут быть внешние раздражения. Седловой ответил, что обычные: зрительные, обонятельные, осязательные, акустические. Тогда из задних рядов опять спросили, какого рода осязательные раздражения будут превалировать. Седловой развел руками и сказал, что это зависит от поведения путешественника в тех местах, куда он попадет. В задних рядах произнесли: «Ага...» — и больше вопросов не задавали. Докладчик беспомощно озирался. В зале смотрели кто куда и все в сторону. Магистр-академик добродушно приговаривал: «Ну? Ну что же? Молодежь! Ну? Кто?» Тогда я встал и молча пошел к машине. Терпеть не могу, когда докладчик агонизирует: стыдное, жалкое и мучительное зрелище.

Из задних рядов крикнули: «Сашка, ты куда? Опомнись!» Глаза Седлового засверкали.

— Разрешите мне,— сказал я.

— Пожалуйста, пожалуйста, конечно! — забормотал Седловой, хватая меня за палец и подтаскивая к машине.

— Одну минуточку,— сказал я, деликатно вырываясь.— Это надолго?

— Да как вам будет угодно! — вскричал Седловой.— Как вы мне скажете, так я и сделаю... Да вы же сами будете управлять! Тут все очень просто.— Он снова схватил меня

и снова потащил к машине.— Вот это руль. Вот это педаль сцепления с реальностью. Это тормоз. А это газ. Вы автомобиль водите? Ну и прекрасно! Вот клавиша... Вы куда хотите — в будущее или в прошлое?

— В будущее,— сказал я.

— А,— произнес он, как мне показалось, разочарованно.— В описываемое будущее... Это, значит, всякие там фантастические романы и утопии. Конечно, тоже интересно. Только учтите, это будущее, наверное, дискретно, там должны быть огромные провалы времени, никакими авторами не заполненные. Впрочем, все равно... Так вот, эту клавишу вы нажмете два раза. Один раз сейчас, при старте, а второй раз — когда захотите вернуться. Понимаете?

— Понимаю, — сказал я. — А если в ней что-нибудь сломается?

— Абсолютно безопасно! — Он замахал руками.— Как только в ней что-нибудь испортится, хоть одна пылинка попадет между контактами, вы мгновенно вернетесь сюда.

— Дерзайте, молодой человек,— сказал магистр-академик.— Расскажете нам, что же там, в будущем, ха-ха-ха...

Я взгромоздился в седло, стараясь ни на кого не глядеть и чувствуя себя очень глупо.

— Нажимайте, нажимайте... — страстно шептал докладчик.

Я надавил на клавишу. Это было, очевидно, что-то вроде стартера. Машина дернулась, захрюкала и стала равномерно дрожать.

— Вал погнут,— шептал с досадой Седловой.— Ну ничего, ничего... Включайте скорость. Вот так. А теперь газу, газу...

Я дал газу, одновременно плавно выжимая сцепление. Мир стал меркнуть. Последнее, что я услышал в зале, был благодушный вопрос магистра-академика: «И каким же образом мы будем за ним наблюдать?..» И зал исчез.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Единственное различие между временем и любым из трех пространственных измерений заключается в том, что наше сознание движется вдоль него.

Г. Д. Ж. УЭЛЛС

Сначала машина двигалась скачками, и я был озабочен тем, чтобы удержаться в седле, обвившись ногами вокруг рамы и изо всех сил цепляясь за рулевую дугу. Краем глаза я смутно видел вокруг какие-то роскошные призрачные строения, мутно-зеленые равнины и холодное, негреющее светило в сером тумане неподалеку от зенита. Потом я сообразил, что тряска и скачки происходят оттого, что я убрал ногу с акселератора, мощности двигателя (совсем как это бывает на автомобиле) не хватает, и машина, двигаясь неравномерно, то и дело натыкается на развалины античных и средневековых утопий. Я подбавил газу, и движение сразу стало плавным, и я смог, наконец, устроиться поудобнее и оглянуться.

Меня окружал призрачный мир. Огромные постройки из разноцветного мрамора, украшенные колоннадами, возвышались среди маленьких домиков сельского вида. Вокруг в полном безветрии колыхались хлеба. Тучные прозрачные стада паслись на травке, на пригорках сидели благообразные седые пастухи. Все, как один, они читали книги и старинные рукописи. Потом рядом со мной возникли два прозрачных человека, встали в позы и начали говорить. Оба они были босы, увенчаны венками и закутаны в складчатые хитоны. Один держал в правой руке лопату, а в левой сжимал свиток пергамента. Другой опирался на киркомотыгу и рассеянно играл огромной медной чернильницей, подвешенной к поясу. Говорили они строго по очереди и, как мне сначала показалось, друг с другом. Но очень скоро я понял, что обращаются они ко мне, хотя ни один из них даже не взглянул в мою сторону. Я прислушался. Тот, что был с лопатой, длинно и монотонно излагал основы политического устройства прекрасной страны, гражданином коей он являлся. Устройство было необычайно демократичным, ни о каком принуждении граждан не могло быть и речи (он несколько раз с особым ударением это подчеркнул), все были богаты и свободны от забот, и даже самый

последний землепашец имел не менее трех рабов. Когда он останавливался, чтобы передохнуть и облизать губы, вступал тот, что с чернильницей. Он хвастался, будто только что отработал свои три часа перевозчиком на реке, не взял ни с кого ни копейки, потому что не знает, что такое деньги, а сейчас направляется под сень струй предаться наслаждению.

Говорили они долго — судя по спидометру, в течение нескольких лет, — а потом вдруг сразу исчезли, и стало пусто. Сквозь призрачные здания просвечивало неподвижное солнце. Неожиданно невысоко над землей медленно проплыли тяжелые летательные аппараты с перепончатыми, как у птеродактилей, крыльями. В первый момент мне показалось, что все они горят, но затем я заметил, что дым у них идет из больших конических труб. Грузно размахивая крыльями, они летели надо мной, посыпалась зола, и кто-то уронил на меня сверху суковатое полено.

В роскошных зданиях вокруг меня начали происходить какие-то изменения. Колонн у них не убавилось, и архитектура осталась по-прежнему роскошной и нелепой, но появились новые расцветки, и мрамор, по-моему, сменился каким-то более современным материалом, а вместо слепых статуй и бюстов на крышах возникли поблескивающие устройства, похожие на антенны радиотелескопов. Людей на улицах стало больше, появилось огромное количество машин. Исчезли стада с читающими пастухами, однако хлеба все колыхались, хотя ветра по-прежнему не было. Я нажал на тормоз и остановился.

Оглядевшись, я понял, что стою с машиной на ленте движущегося тротуара. Народ вокруг так и кишел — самый разнообразный народ. В большинстве своем, правда, эти люди были какие-то нереальные, гораздо менее реальные, чем могучие, сложные, почти бесшумные механизмы. Так что, когда такой механизм случайно наезжал на человека, столкновения не происходило. Машины мало меня занимались, наверное, потому, что на лобовой броне у каждой сидел вдохновенный до полупрозрачности изобретатель, пространно объяснявший устройство и назначение своего детища. Изобретателей никто не слушал, да они, кажется, ни к кому в особенности и не обращались.

На людей смотреть было интереснее. Я увидел здоровенных ребят в комбинезонах, ходивших в обнимку, чертыхавшихся и оравших немелодичные песни на плохие стихи. То и дело попадались какие-то люди, одетые только частично: скажем,

в зеленой шляпе и красном пиджаке на голое тело (больше ничего); или в желтых ботинках и цветастом галстуке (ни штанов, ни рубашки, ни даже белья); или в изящных туфельках на босу ногу. Окружающие относились к ним спокойно, а я смущался до тех пор, пока не вспомнил, что некоторые авторы имеют обыкновение писать что-нибудь вроде «дверь отворилась, и на пороге появился стройный мускулистый человек в мохнатой кепке и темных очках». Попадались и люди нормально одетые, правда в костюмах странного покроя, и то тут, то там проталкивался сквозь толпу загорелый бородатый мужчина в незапятнанно-белой хламиде с кетменем или каким-нибудь хомутом в одной руке и с мольбертом или пеналом в другой. У носителей хламид вид был растерянный, они шарахались от многоночных механизмов и затравленно озирались.

Если не считать бормотания изобретателей, было довольно тихо. Большинство людей помалкивало. На углу двое юношей вились с каким-то механическим устройством. Один убежденно говорил: «Конструкторская мысль не может стоять на месте. Это закон развития общества. Мы изобретем его. Обязательно изобретем. Вопреки бюрократам вроде Чинушина и консерваторам вроде Твердолобова». Другой юноша нес свое: «Я нашел, как применить здесь нестирающиеся шины из полиструктурного волокна с вырожденными аминными связями и неполными кислородными группами. Но я не знаю пока, как использовать регенерирующий реактор на субтепловых нейтронах. Миша, Мишок! Как быть с реактором?» Присмотревшись к устройству, я без труда узнал велосипед.

Тротуар вынес меня на огромную площадь, забитую людьми и уставленную космическими кораблями самых разнообразных конструкций. Я сошел с тротуара и стащил машину. Сначала я не понимал, что происходит. Играла музыка, произносились речи, тут и там, возвышаясь над толпой, кудрявые румяные юноши, с трудом управляясь с непокорными прядями волос, непрерывно падающими на лоб, проникновенно читали стихи. Стихи были либо знакомые, либо скверные, но из глаз многочисленных слушателей обильно капали скупые мужские, горькие женские и светлые детские слезы. Суровые мужчины крепко обнимали друг друга и, шевеля желваками на скулах, хлопали друг друга по спинам. Поскольку многие были не одеты, хлопание это напоминало аплодисменты. Два подтянутых лейтенанта с усталыми, но добрыми глазами пропа-

ишили мимо меня лошоного мужчину, завернув ему руки за спину. Мужчина извивался и кричал что-то на ломаном английском. Кажется, он всех выдавал и рассказывал, как и за чьи деньги подкладывал мину в двигатель звездолета. Несколько мальчишек с томиками Шекспира, воровато озираясь, подкрадывались к дюзам ближайшего астроплана. Толпа их не замечала.

Скоро я понял, что одна половина толпы расставалась с другой половиной. Это было что-то вроде тотальной мобилизации. Из речей и разговоров мне стало ясно, что мужчины отправлялись в космос — кто на Венеру, кто на Марс, а некоторые, с совсем уже отрешенными лицами, собирались к другим звездам и даже в центр Галактики. Женщины оставались их ждать. Многие занимали очередь в огромное уродливое здание, которое одни называли Пантеоном, а другие — Рефрижератором. Я подумал, что поспел вовремя. Опоздай я на час, и в городе остались бы только замороженные на тысячи лет женщины. Потом мое внимание привлекла высокая серая стена, отгораживающая площадь с запада. Из-за стены поднимались клубы черного дыма.

— Что это там? — спросил я красивую женщину в косынке, понуро бредущую к Пантеону-Рефрижератору.

— Железная Стена, — ответила она, не останавливаясь.

С каждой минутой мне становилось все скучнее и скучнее. Все вокруг плакали, ораторы уже охрипли. Рядом со мной юноша в голубом комбинезоне прощался с девушкой в розовом платье. Девушка монотонно говорила: «Я хотела бы стать астральной пылью, я бы космическим облаком обняла твой корабль...» Юноша внимал. Потом над толпой грянули сводные оркестры, нервы мои не выдержали, я прыгнул в седло и дал газ. Я еще успел заметить, как над городом с ревом взлетели звездолеты, планетолеты, астропланы, ионолеты, фотонолеты и астроматы, а затем все, кроме серой стены, заволоклось фосфоресцирующим туманом.

После двухтысячного года начались провалы во времени. Я летел через время, лишенное материи. В таких местах было темно, и только изредка за серой стеной вспыхивали взрывы и разгорались зарева. Время от времени город вновь обступал меня, и с каждым разом здания его становились выше, сферические купола становились все прозрачнее, а звездолетов на площади становилось все меньше. Из-за стены непрерывно поднимался дым.



Я остановился вторично, когда с площади исчез последний астромат. Тротуары двигались. Шумных парней в комбинезонах не было. Никто не чертыхался. По улицам по двое и по трое скромно прогуливались какие-то бесцветные личности, одетые либо странно, либо скучно. Насколько я понял, все говорили о науке. Кого-то намеревались оживлять, и профессор медицины, атлетически сложенный интеллигент, очень непривычно выглядевший в своей одинокой жилетке, растолковывал процедуру оживления верзиле биофизику, которого представлял всем встречным как автора, инициатора и главного исполнителя этой затеи. Где-то собирались провертеть дыру сквозь землю. Проект обсуждался прямо на улице при большом скоплении народа, чертежи рисовали мелком на стенах и на тротуаре. Я стал было слушать, но это оказалась такая скучища, да еще пересыпанная выпадами в адрес незнакомого мне консерватора, что я взвалил машину на плечи и пошел прочь. Меня не удивило, что обсуждение проекта сейчас же прекратилось и все занялись делом. Но зато, едва я остановился, начал разглагольствовать какой-то гражданин неопределенной профессии. Ни к селу ни к городу он повел речь о музыке. Сразу понабежали слушатели. Они смотрели ему в рот и задавали вопросы, свидетельствующие о дремучем невежестве. Вдруг по улице с криком побежал человек. За ним гнался паукообразный механизм. Судя по крикам преследуемого, это был «самопрограммирующийся кибернетический робот на тригенных куаторах с обратной связью, которые разладились и... Ой-ой, он меня сейчас расчленит!..» Странно, никто даже бровью не повел. Видимо, никто не верил в бунт машин.

Из переулка выскочили еще две паукообразные металлические машины, ростом поменьше и не такие свирепые на вид. Не успел я ахнуть, как одна из них быстро почистила мне ботинки, а другая выстирала и выгладила носовой платок. Подъехала большая белая цистерна на гусеницах и, мигая многочисленными лампочками, опрыскала меня духами. Я совсем было собрался уезжать, но тут раздался громовой треск и с неба на площадь свалилась громадная ржавая ракета. В толпе сразу заговорили:

— Это «Звезда Мечты»!

— Да, это она!

— Ну конечно, это она! Это она стартовала двести восемьдесят пять лет тому назад, о ней уже все забыли, но благодаря эйнштейновскому сокращению времени, происходящему от

движения на субсветовых скоростях, экипаж постарел всего на два года!

— Благодаря чему? Ах, Эйнштейн... Да-да, помню. Я проходил это в школе во втором классе.

Из ржавой ракеты с трудом выбрался одноглазый человек без левой руки и правой ноги.

— Это Земля? — раздраженно спросил он.

— Земля! Земля! — откликнулись в толпе. На лицах начали расцветать улыбки.

— Слава богу,— сказал человек, и все переглянулись. Толи не поняли его, то ли сделали вид, что не понимают.

Увечный астролетчик стал в позу и разразился речью, в которой призывал все человечество поголовно лететь на планету Хош-ни-Хош системы звезды Эоэллы в Малом Магеллановом Облаке освобождать братьев по разуму, стенающих (он так и сказал: стенающих) под властью свирепого кибернетического диктатора. Рев дюз заглушил его слова. На площадь спускались еще две ракеты, тоже ржавые. Из Пантеона-Рефрижератора побежали заиндевевшие женщины. Началась давка. Я понял, что попал в эпоху возвращений, и торопливо нажал на педаль.

Город исчез и долго не появлялся. Осталась стена, за которой с удручающим однообразием полыхали пожары и вспыхивали зарницы. Странное это было зрелище: совершенная пустота и только стена на западе. Но вот, наконец, разгорелся яркий свет, и я сейчас же остановился.

Вокруг расстилалась безлюдная цветущая страна. Колыхались хлеба. Бродили тучные стада, но культурных пастухов видно не было. На горизонте серебрились знакомые прозрачные купола, виадуки и спиральные спуски. Совсем рядом с запада по-прежнему возвышалась стена.

Кто-то тронул меня за колено, и я вздрогнул. Возле меня стоял маленький мальчик с глубоко посаженными горящими глазами.

— Тебе что, малыш? — спросил я.

— Твой аппарат поврежден? — осведомился он мелодичным голосом.

— Взрослым надо говорить «вы», — сказал я наставительно.

Он очень удивился, потом лицо его просветлело.

— Ах да, припоминаю. Если мне не изменяет память, так было принято в Эпоху Принудительной Вежливости. Коль скоро обращение на «ты» дисгармонирует с твоим эмоциональ-

ным ритмом, я готов удовольствоваться любым ритмичным тебе обращением.

Я не нашелся что ответить, и тогда он присел на корточки перед машиной, потрогал ее в разных местах и произнес несколько слов, которых я совершенно не понял. Славный это был мальчуган, очень чистенький, очень здоровый и ухоженный, но он показался мне слишком уж серьезным для своих лет.

За стеной оглушительно затрещало, и мы оба обернулись. Я увидел, как жуткая чешуйчатая лапа о восьми пальцах ухватилась за гребень стены, напряглась, разжалась и исчезла.

— Слушай, малыш,— сказал я,— что это за стена?

Он обратил на меня серьезный застенчивый взгляд.

— Это так называемая Железная Стена,— ответил он.—

К сожалению, мне неизвестна этимология обоих этих слов, но я знаю, что она разделяет два мира — Мир Гуманного Всебражения и Мир Страха перед Будущим.— Он помолчал и добавил: — Этимология слова «страх» мне тоже неизвестна.

— Любопытно,— сказал я.— А нельзя ли посмотреть? Что это за Мир Страха?

— Конечно, можно. Вот коммуникационная амбразура. Удовлетвори свое любопытство.

Коммуникационная амбразура имела вид низенькой арки, закрытой броневой дверцей. Я подошел и нерешительно взялся за щеколду. Мальчик сказал мне вслед:

— Не могу не предупредить. Если там с тобой что-нибудь случится, тебе придется предстать перед Объединенным Советом Стас Сорока Миров.

Я приоткрыл дверцу. Тррах! Бах! Уау! Аи-и-и-и! Ду-ду-ду-ду-ду! Все пять моих чувств были травмированы одновременно. Я увидел красивую блондинку с неприличной татуировкой меж лопаток, голую и длинноногую, палившую из двух автоматических пистолетов в некрасивого брюнета, из которого при каждом попадании летели красные брызги. Я услыхал грохот разрывов и душераздирающий рев чудовищ. Я обонял неописуемый смрад гнилого горелого небелкового мяса. Раскаленный ветер недалекого ядерного взрыва опалил мое лицо, а на языке я опустил отвратительный вкус рассеянной в воздухе протоплазмы. Я шарахнулся и судорожно захлопнул дверцу, едва не прищемив себе голову. Воздух показался мне сладким, а мир — прекрасным. Мальчик исчез. Некоторое вре-

мя я приходил в себя, а потом вдруг испугался, что этот паршивец, чьего доброго, побежал жаловаться в свой Объединенный Совет, и бросился к машине.

Снова сумерки беспространственного времени сомкнулись вокруг меня. Но я не отрывал глаз от Железной Стены, меня разбирало любопытство. Чтобы не терять времени даром, я прыгнул вперед сразу на миллион лет. Над стеной вырастали заросли атомных грибов, и я обрадовался, когда по мою сторону стены снова забрезжил свет. Я затормозил и застонал от разочарования.

Невдалеке высился громадный Пантеон-Рефрижератор. С неба спускался ржавый звездолет в виде шара. Вокруг было безлюдно, колыхались хлеба. Шар приземлился, из него вышел давешний пилот в голубом, а на пороге Пантеона появилась, вся в красных пятнах пролежней, девица в розовом. Они устроились друг к другу и взялись за руки. Я отвел глаза — мне стало неловко. Голубой пилот и розовая девушка затянули речь.

Чтобы размять ноги, я сошел с машины и только тут заметил, что небо над стеной непривычно чистое. Ни грохота взрывов, ни треска выстрелов слышно не было. Я осмелел и направился к коммуникационной амбразуре.

По ту сторону стены простиралось совершенно ровное поле, рассеченное до самого горизонта глубоким рвом. Слева от рва не было видно ни одной живой души, поле там было покрыто низкими металлическими куполами, похожими на крышки канализационных люков. Справа от рва у самого горизонта гарцевали какие-то всадники. Потом я заметил, что на краю рва сидит, свесив ноги, коренастый темнолицый человек в металлических доспехах. На груди у него на длинном ремне висело что-то вроде автомата с очень толстым стволом. Человек медленно жевал, поминутно сплевывая, и глядел на меня без особенного интереса. Я, придерживая дверцу, тоже смотрел на него, не решаясь заговорить. Слишком уж у него был странный вид. Непривычный какой-то. Дикий. Кто его знает, что за человек.

Насмотревшись на меня, он достал из-под доспехов плоскую бутылку, вытащил зубами пробку, пососал из горлышка, снова сплюнул в ров и сказал хриплым голосом:

— Хэлло! Юфром ээт сайд?¹

— Да, — ответил я. — То есть йес².

¹— Привет! Вы с той стороны? (англ.)

²— Да.

— Энд хау из ит гоуинг он аут эза?¹

— Со-со. — сказал я, прикрывая дверь. — Энд хау из ит гоуинг он хиа?²

— Итс о'кэй³, — сказал он флегматично и замолчал.

Подождав некоторое время, я спросил, что он здесь делает. Сначала он отвечал неохотно, но потом разговорился. Оказалось, что слева от рва человечество доживает последние дни под пятой свирепых роботов. Роботы там сделались умнее людей, захватили власть, пользуются всеми благами жизни, а людей загнали под землю и поставили к конвейерам. Справа от рва, на территории, которую он охраняет, людей поработили пришельцы из соседствующей вселенной. Они тоже захватили власть, установили феодальные порядки и вовсю пользуются правом первой ночи. Живут эти пришельцы — дай бог всякому, но тем, кто у них в милости, тоже кое-что перепадает. А милях в двадцати отсюда, если идти вдоль рва, находится область, где людей поработили пришельцы с Алтыира, разумные вирусы, которые поселяются в теле человека и заставляют его делать, что им угодно. Еще дальше к западу находится большая колония Галактической Федерации. Люди там тоже порабощены, но живут не так уж плохо, потому что его превосходительство наместник кормит их на убой и вербует из них личную гвардию Его Величества Галактического Императора А-у 3562-го. Есть еще области, порабощенные разумными паразитами, разумными растениями и разумными мицералами. И наконец, за горами есть области, порабощенные еще кем-то, но о них рассказывают разные сказки, которым серьезный человек верить не станет...

Тут наша беседа была прервана. Над равниной низко прошло несколько тарелкообразных летательных аппаратов. Из них, крутясь и кувыркаясь, посыпались бомбы. «Опять началось», — проворчал человек, лег ногами к взрывам, поднял автомат и открыл огонь по всадникам, гарцующим на горизонте. Я выскочил вон, захлопнул дверцу и, прислонившись к ней спиной, некоторое время слушал, как визжат, ревут и грохочут бомбы. Пилот в голубом и девица в розовом на ступеньках Пантеона все никак не могли покончить со своим диалогом. Я еще раз осторожно заглянул в дверцу: над равниной медленно вспыхали огненные шары разрывов. Металли-

¹ — Ну и как там?

² — Ничего. А здесь?

³ — Порядок... (англ.)

ческие колпаки откидывались один за другим, из-под них лезли бледные, оборванные люди с бородатыми свирепыми лицами и с железными ломами наперевес. Моего недавнего собеседника наскакавшие всадники в латах рубили в капусту длинными мечами, он орал и отмахивался автоматом...

Я закрыл дверцу и тщательно задвинул засов.

Я вернулся к машине и сел в седло. Мне хотелось слетать еще на миллионы лет вперед и посмотреть умирающую Землю, описанную Уэллсом. Но тут в машине впервые что-то застороприло: не выжималось сцепление. Я нажал раз, нажал другой, потом пнул педаль изо всех сил, что-то треснуло, зазвенело, колыхающиеся хлеба встали дыбом, и я словно проснулся. Я сидел на демонстрационном стенде в малом конференц-зале нашего института, и все с благоговением смотрели на меня.

— Что со сцеплением? — спросил я, озираясь в поисках машины. Машины не было. Я вернулся один.

— Это неважно! — закричал Луи Седловой. — Огромное вам спасибо! Вы меня просто выручили... А как было интересно, верно, товарищи?

Аудитория загудела в том смысле, что да, интересно.

— Но я все это где-то читал, — сказал с сомнением один из магистров в первом ряду.

— Ну, а как же! А как же! — вскричал Л. Седловой. — Ведь он же был в описываемом будущем!

— Приключений маловато, — сказали в задних рядах игроки в функциональный морской бой. — Все разговоры, разговоры...

— Ну, уж тут я ни при чем, — сказал Седловой решительно.

— Ничего себе — разговоры, — сказал я, слезая со стендса. Я вспомнил, как рубили моего темнолицего собеседника, и мне стало нехорошо.

— Нет, отчего же, — сказал какой-то бакалавр. — Попадаются любопытные места. Вот эта вот машина... Помните? На тригенных куаторах... Это, знаете ли, да...

— Ну-те-с? — сказал Пупков-Задний. — У нас уже, кажется, началось обсуждение. А может быть, у кого-нибудь есть вопросы к докладчику?

Дотошный бакалавр немедленно задал вопрос о полиходовой темпоральной передаче (его, видите ли, заинтересовал коэффициент объемного расширения), и я потихонечку удалился.

У меня было странное ощущение. Все вокруг казалось таким материальным, прочным, вещественным. Проходили лю-

ди, и я слышал, как скрипят у них башмаки, и чувствовал ветерок от их движений. Все были очень немногословны, все работали, все думали, никто не болтал, не читал стихов, не произносил пафосных речей. Все знали, что лаборатория — это одно, а трибуна профсоюзного собрания — это совсем другое, а праздничный митинг — это совсем третье. И когда мне навстречу, шаркая подбитыми кожей валенками, прошел Выбегалло, я испытал к нему даже нечто вроде симпатии, потому что у него была своеобычная пшеничная каша в бороде, потому что он ковырял в зубах длинным тонким гвоздем и, проходя мимо, не поздоровался. Он был живой, весомый и зримый хам, он не помавал руками и не принимал академических поз.

Я заглянул к Роману, потому что мне очень хотелось рассказать кому-нибудь о своем приключении. Роман, ухватившись за подбородок, стоял над лабораторным столом и смотрел на маленького зеленого попугая, лежащего в чашке Петри. Маленький зеленый попугай был дохлый, с глазами, затянутыми мертвой белесой пленкой.

- Что это с ним? — спросил я.
- Не знаю, — сказал Роман. — Издох, как видишь.
- Откуда у тебя попугай?
- Сам поражаюсь, — сказал Роман.
- Может быть, он искусственный? — предположил я.
- Да нет, попугай как попугай.
- Опять, наверное, Витька на умклайдет сел.

Мы наклонились над попугаем и стали его внимательно рассматривать. На черной поджатой лапке у него было колечко.

— «Фотон», — прочитал Роман. — И еще какие-то цифры... «Девятнадцать поль пять семьдесят три».

- Так, — сказал сзади знакомый голос.

Мы обернулись и подтянулись.

— Здравствуйте, — сказал У-Янус, подходя к столу. Он вышел из дверей своей лаборатории в глубине комнаты, и вид у него был какой-то усталый и очень печальный.

— Здравствуйте, Янус Полузкевич, — сказали мы хором со всей возможной почтительностью.

Янус увидел попугая и еще раз сказал: «Так». Он взял птичку в руки, очень бережно и нежно, погладил ее ярко-красный хохолок и тихо проговорил:

- Что же это ты, Фотончик?..

Он хотел сказать еще что-то, но взглянул на нас и



промолчал. Мы стояли рядом и смотрели, как он по-стариковски медленно прошел в дальний угол лаборатории, откинул дверцу электрической печи и опустил туда зеленый трупик.

— Роман Петрович,— сказал он.— Будьте любезны, включите, пожалуйста, рубильник.

Роман повиновался. У него был такой вид, словно его осенила необычная идея. У-Янус, понурив голову, постоял немного над печью, старательно выскреб горячий пепел и, открыв форточку, высыпал его на ветер. Он некоторое время глядел в окно, потом сказал Роману, что ждет его у себя через полчаса, и ушел.

— Странно,— сказал Роман, глядя ему вслед.

— Что странно? — спросил я.

— Все странно,— сказал Роман.

Мне тоже казалось странным и появление этого мертвого зеленого попугая, по-видимому так хорошо известного Янусу Полуэктовичу, и какая-то слишком уж необычная церемония огненного погребения с развеиванием пепла по ветру, но мне не терпелось рассказать про путешествие в описываемое будущее, и я стал рассказывать. Роман слушал крайне рассеянно, смотрел на меня отрешенным взглядом, невспомад кивал, а потом вдруг, сказавши: «Продолжай, продолжай, я слушаю», полез под стол, вытащил оттуда корзинку для мусора и принялся копаться в мятои бумаге и обрывках магнитофонной ленты. Когда я кончил рассказывать, он спросил:

— А этот Седловой не пытался путешествовать в описываемое на с т о я щ е? По-моему, это было бы гораздо забавнее...

Пока я обдумывал это предложение и радовался Романову остроумию, он перевернул корзинку и высыпал содержимое на пол.

— В чем дело? — спросил я.— Диссертацию потерял?

— Ты понимаешь, Сашка,— сказал он, глядя на меня невидящими глазами,— удивительная история. Вчера я чистил печку и нашел в ней обгорелое зеленое перо. Я выбросил его в корзинку, а сегодня его здесь нет.

— Чье перо? — спросил я.

— Ты понимаешь, зеленые птички перья в наших широтах попадаются крайне редко. А попугай, которого только что сожгли, был зеленым.

— Что за ерунда,— сказал я.— Ты же нашел перо вчера.

— В том-то и дело,— сказал Роман, собирая мусор обратно в корзинку.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Стихи неизречены, никто не говорит стихами, кроме Бидля, когда он приходит со святочным подарком, или объявления о ваксе, или какого-нибудь там простачка. Никогда не опускайтесь до поэзии, мой мальчик.

Ч. ДИККЕНС

«Алдан» чинили всю ночь. Когда я следующим утром явился в электронный зал, невыспавшиеся злые инженеры сидели на полу и неостроумно поносили Кристобаля Хозевича. Они называли его скифом, варваром и гунном, дорвавшимся до кибернетики. Отчаяние их было так велико, что некоторое время они даже прислушивались к моим советам и пытались им следовать. Но потом пришел их главный — Саваоф Баалович Один, — и меня сразу отодвинули от машины. Я отошел в сторонку, сел за свой стол и стал наблюдать, как Саваоф Баалович вникает в суть разрушений.

Был он очень стар, но крепок и жилист, загорелый, с блестящей лысиной, с гладко выбритыми щеками, в ослепительно белом чесучовом костюме. К этому человеку все относились с большими пietетом. Я сам однажды видел, как он вполголоса выговаривал за что-то Модесту Матвеевичу, а грозный Модест стоял, льстиво склонившись перед ним, и приговаривал: «Слушаюсь... Виноват. Больше не повторится...» От Саваофа Бааловича исходила чудовищная энергия. Было замечено, что в его присутствии часы начинают спешить и распрымляются треки элементарных частиц, искривленные магнитным полем. И в то же время он не был магом. Во всяком случае, практикующим магом. Он не ходил сквозь стены, никогда никого не трансгрессировал и никогда не создавал своих дублей, хотя работал необычайно много. Он был главой отдела Технического Обслуживания, знал до тонкостей всю технику института и числился консультантом Китежградского завода маготехники. Кроме того, он занимался самыми неожиданными и далекими от его профессии делами.

Историю Саваофа Бааловича я узнал сравнительно недавно. В незапамятные времена С. Б. Один был ведущим магом земного шара. Кристобаль Хунта и Жиан Жиакомо были учениками его учеников. Его именем заклинали нечисть. Его

именем опечатывали сосуды с джиннами. Царь Соломон писал ему восторженные письма и возводил в его честь храмы. Он казался всемогущим. И вот где-то в середине шестнадцатого века он воистину стал всемогущим. Проведя численное решение интегро-дифференциального уравнения Высшего Совершенства, выведенного каким-то титаном еще до ледникового периода, он обрел возможность творить любое чудо. Каждый из магов имеет свой предел. Некоторые не способны вывести растительность на ушах. Другие владеют обобщенным законом Ломоносова — Лавуазье, но бессильны перед вторым принципом термодинамики. Третий — их совсем немного — могут, скажем, останавливать время, но только в римановом пространстве и ненадолго. Саваоф Баалович был всемогущ. Он мог все. И он ничего не мог. Потому что граничным условием уравнения Совершенства оказалось требование, чтобы чудо не причиняло никому вреда. Никакому разумному существу. Ни на Земле, ни в иной части Вселенной. А такого чуда никто, даже сам Саваоф Баалович, представить себе не мог. И С. Б. Один навсегда оставил магию и стал заведующим отделом Технического Обслуживания НИИЧАВО...

С его приходом дела инженеров живо пошли на лад. Движения их стали осмысленны, злобные остроты прекратились. Я достал папку с очередными делами и принял было за работу, но тут пришла Стеллочка, очень милан курносая и сероглазая ведьмочка, практикантка Выбегаллы, и позвала меня делать очередную стенгазету.

Мы со Стеллой состояли в редколлегии, где писали сатирические стихи, басни и подписи под рисунками. Кроме того, я искусно рисовал почтовый ящик для заметок, к которому со всех сторон слетаются письма с крыльшками. Вообще то художником газеты был мой тезка Александр Иванович Дрозд, киномеханик, каким-то образом прорвавшийся в институт. Но он был специалистом по заголовкам. Главным редактором газеты был Роман Ойра-Ойра, а его помощником — Володя Почкин.

— Саша, — сказала Стеллочка, глядя на меня честными серыми глазами. — Пойдем.

— Куда? — сказал я. Я знал куда.

— Газету делать.

— Зачем?

— Роман очень просит, потому что Кербер лается. Говорит, осталось два дня, а ничего не готово.

Кербер Псоевич Демин, товарищ завкадрами, был куратором нашей газеты, главным подгонялой и цензором.

— Слушай, — сказал я, — давай завтра, а?

— Завтра я не смогу, — сказала Стеллочка. — Завтра я улетаю в Сухуми. Павианов записывать. Выбегалло говорит, что надо вожака записать, как самого ответственного... Сам он к вожаку подходить боится, потому что вожак ревнует. Пойдем, Саша, а?

Я вздохнул, сложил дела и пошел за Стеллочкой, потому что один я стихи сочинять не могу. Мне нужна Стеллочка. Она всегда дает первую строчку и основную идею, а в поэзии это, по-моему, самое главное.

— Где будем делать? — спросил я по дороге. — В месткоме?

— В месткоме занято, там прорабатывают Альфреда. За чай. А нас пустил к себе Роман.

— А о чем писать надо? Опять про баню?

— Про баню тоже есть. Про баню, про Лысую Гору. Хому Брута надо заклеймить.

— Хома наш Брут — ужасный плут, — сказал я.

— И ты, Брут, — сказала Стелла.

— Это идея, — сказал я. — Это надо развить.

В лаборатории Романа на столе была разложена газета — огромный девственно чистый лист ватмана. Рядом с нею среди баночек с гуашью, пульверизаторов и заметок лежал живописец и киномеханик Александр Дрозд с сигаретой на губе. Рубашечка у него, как всегда, была расстегнута, и виднелся выпуклый волосатый животик.

— Здорово, — сказал я.

— Привет, — сказал Саня.

Гремела музыка — Саня крутил портативный приемник.

— Ну что тут у вас? — сказал я, сгребая заметки.

Заметок было немного. Была передовая «Навстречу празднику». Была заметка Кербера Псоевича «Результаты обследования состояния выполнения распоряжения дирекции о трудовой дисциплине за период конец первого — начало второго квартала». Была статья профессора Выбегаллы «Наш долг — это долг перед подшефными городскими и районными хозяйствами». Была статья Володи Почкина «О всесоюзном совещании по электронной магии». Была заметка какого-то домового «Когда же продуют паровое отопление на четвертом этаже». Была статья председателя столового комитета «Ни рыбы, ни мяса» — шесть машинописных страниц через один

интервал. Начиналась она словами: «Фосфор нужен человеку, как воздух». Была заметка Романа о работах отдела Недоступных Проблем. Для рубрики «Наши ветераны» была статья Кристобаля Хунты «От Севильи до Гренады. 1547 г.». Было еще несколько маленьких заметок, в которых критиковалось: отсутствие надлежащего порядка в кассе взаимопомощи; налипание безалаберности в организации работы добровольной пожарной дружины; допущение азартных игр в виварии. Было несколько карикатур. На одной изображался Хома Брут, расхлюстанный и с лиловым носом. На другой высмеивалась бабя — был нарисован голый синий человек, застывающий под ледяным душем.

— Ну и скучища! — сказал я. — А может, не надо стихов?

— Надо, — сказала Стеллочка со вздохом. — Я уже заметки и так и сяк раскладывала, все равно остается свободное место.

— А пусть Саня там чего-нибудь нарисует. Колосья какие-нибудь, расцветающие анютины глазки... А, Санька?

— Работайте, работайте, — сказал Дрозд. — Мне заголовок писать.

— Подумаешь, — сказал я. — Три слова написать.

— На фоне звездной ночи, — сказал Дрозд внушительно. — И ракету. И еще заголовки к статьям. А я не обедал еще. И не завтракал.

— Так сходи поешь, — сказал я.

— А мне не на что, — сказал он раздраженно. — Я магнитофон купил. В комиссионном. Вот вы тут ерундой занимаетесь, а лучше бы сделали мне пару бутербродов. С маслом и вареньем. Или, лучше, десятку сотворите.

Я вынул рубль и показал ему издали.

— Вот заголовок напишешь — получишь.

— Насовсем? — живо сказал Саня.

— Нет. В долг.

— Ну, это все равно, — сказал он. — Только учти, что я сейчас умру. У меня уже начались спазмы. И холдеют конечности.

— Врет он все, — сказала Стелла. — Саша, давай вон за тот столик сядем и все стихи сейчас напишем.

Мы сели за отдельный столик и разложили перед собой карикатуры. Некоторое время мы смотрели на них в надежде, что нас осенит. Потом Стелла произнесла:

— Таких людей, как этот Брут, поберегись — они сопрут!

— Что сопрут? — спросил я. — Он разве что-нибудь спер?

— Нет,— сказала Стелла.— Он хулиганил и дрался. Это я для рифмы.

Мы снова подождали. Ничего, кроме «поберегись — они сопрут», в голову мне не лезло.

— Давай рассуждать логически,— сказал я.— Имеется Хома Брут. Он напился пьяный. Дрался. Что он еще делал?

— К девушкам приставал, — сказала Стелла. — Стекло разбил.

— Хорошо,— сказал я.— Еще?

— Выражался...

— Вот странно,— подал голос Саня Дрозд.— Я с этим Брутом работал в кинобудке. Парень как парень. Нормальный...

— Ну? — сказал я.

— Ну и все.

— Ты рифму можешь дать на «Брут»? — спросил я.

— Прут.

— Уже было,— сказал я.— Сопрут.

— Да нет. Прут. Палка такая, которой секут.

Стелла сказала с выражением:

— Товарищ, пред тобою Брут. Возьмите прут, каким секут, секите Брута там и тут.

— Не годится,— сказал Дрозд.— Пропаганда телесных наказаний.

— Помрут,— сказал я.— Или просто — мрут.

— Товарищ, пред тобою Брут,— сказала Стелла.— От слов его все мухи мрут.

— Это от ваших стихов все мухи мрут,— сказал Дрозд.

— Ты заголовок написал? — спросил я.

— Нет,— сказал Дрозд кокетливо.

— Вот и зайдись.

— Позорят славный институт,— сказала Стелла,— такие пьяницы, как Брут.

— Это хорошо,— сказал я.— Это мы дадим в конец. Запиши. Это будет мораль, свежая и оригинальная.

— Чего же в ней оригинального? — спросил простодушный Дрозд.

Я не стал с ним разговаривать.

— Теперь надо описать,— сказал я,— как он хулиганил. Скажем, так. Напился пьян, как павиан, за словом не полез в карман, был человек, стал хулиган.

— Ужасно,— сказала Стелла с отвращением.

Я подпер голову руками и стал смотреть на карикатуру.

Дрозд, оттопырив зад, водил кисточкой по ватману. Ноги его в предельно узких джинсах были выгнуты дугой. Меня осенило.

— Коленками назад! — сказал я. — Песенка!

— «Сидел кузнечик маленький коленками назад», — сказала Стелла.

— Точно, — сказал Дрозд, не оборачиваясь. — И я ее знаю. «Все гости расползались коленками назад», — пропел он.

— Подожди, подожди, — сказал я. Я чувствовал вдохновение. — Дерется и бранится он, и вот вам результат: влекут его в милицию коленками назад.

— Это ничего, — сказала Стелла.

— Понимаешь? — сказал я. — Еще пару строф, и чтобы везде был рефрен «коленками назад». Упился сверх кондиции... Погнался за девицей... Что-нибудь вроде этого.

— Отчаянно напился он, — сказала Стелла. — Сам черт ему не брат. В чужую дверь вломился он коленками назад.

— Блеск! — сказал я. — Записывай. А он вламывался?

— Вламывался, вламывался.

— Отлично! — сказал я. — Ну, еще одну строфу.

— Погнался за девицей коленками назад, — сказала Стелла задумчиво. — Первую строчку нужно...

— Амуниция, — сказал я. — Полиция. Амбиция. Юстиция.

— Ютится он, — сказала Стелла. — Стремится он. Не бриться и не мыться...

— Он, — добавил Дрозд. — Это верно. Это у вас получилась художественная правда. Сроду он не брился и не мылся.

— Может, вторую строчку придумаем? — предложила Стелла. — Назад — аппарат — автомат...

— Гад, — сказал я. — Рад.

— Мат, — сказал Дрозд. — Шах, мол, и мат.

Мы опять долго молчали, бессмысленно глядя друг на друга и шевеля губами. Дрозд постукивал кисточкой о края чашки с водой.

— Играет и резвится он, — сказал я наконец, — ругаясь, как пират. Погнался за девицей коленками назад.

— Пират — как-то... — сказала Стелла.

— Тогда: сам черт ему не брат.

— Это уже было.

— Где?.. Ах да, действительно было.

— Как тигра полосат, — предложил Дрозд.

Тут послышалось легкое царапанье, и мы обернулись. Дверь в лабораторию Януса Полуэктовича медленно отворялась.

— Смотри-ка! — изумленно воскликнул Дрозд, застывая с кисточкой в руке.

В щель вполз маленький зеленый попугай с ярким красным хохолком на макушке.

— Попугайчик! — воскликнул Дрозд. — Попугай! Цып-цып-цып-цып...

Он стал делать пальцами движения, как будто крошил хлеб на пол. Попугай глядел на нас одним глазом. Затем он разинул горбатый, как нос у Романа, черный клюв и хрюпло выкрикнул:

— Р-реактор! Р-реактор! Надо выдер-ржать!

— Какой сла-авный! — воскликнула Стелла. — Саня, пой-май его...

Дрозд двинулось было к попугаю, но остановился.

— Он же, наверное, кусается, — опасливо произнес он. — Вон клюв какой.

Попугай оттолкнулся от пола, взмахнул крыльями и как-то неловко запорхал по комнате. Я следил за ним с удивлением. Он был очень похож на того, вчерашнего. Родной единокровный брат-близнец. Полным-полно попугаев, подумал я.

Дрозд отмахнулся кисточкой.

— Еще долбанет, пожалуй, — сказал он.

Попугай сел на коромысло лабораторных весов, подергался, уравновешиваясь, и разборчиво крикнул:

— Пр-роксима Центавр-р-ра! Р-рубидий! Р-рубидий!

Потом он нахохлился, втянул голову и закрыл глаза пленкой. По-моему, он дрожал. Стелла быстро сотворила кусок хлеба с повидлом, отщипнула корочку и поднесла ему под клюв. Попугай не реагировал. Его явно лихорадило, и чашки весов, мелко трясясь, позвякивали о подставку.

— По-моему, он больной, — сказал Дрозд. Он рассеянно взял из рук Стеллы бутерброд и стал есть.

— Ребята, — сказал я, — кто-нибудь раньше видел в институте попугаев?

Стелла помотала головой. Дрозд пожал плечами.

— Что-то слишком много попугаев за последнее время, — сказал я. — И вчера вот тоже...

— Наверное, Янус экспериментирует с попугаями, — сказала Стелла. — Антигравитация или еще что-нибудь в этом роде...

Дверь в коридор отворилась, и толпой вошли Роман Ойра-Ойра, Витька Корнеев, Эдик Амнерян и Володя Почкин. В комнате стало шумно. Корнеев, хорошо выспавшийся и очень

бодрый, принял листать заметки и громко издеваться над стилем. Могучий Володя Почкин, как замредактора исполняющий в основном полицейские обязанности, схватил Дрозда за толстый загривок, согнул его пополам и принял ткать носом в газету, приговаривая: «Заголовок где? Где заголовок, Дроздилло?» Роман потребовал от нас готовых стихов. А Эдик, не имевший к газете никакого отношения, прошел к шкафу и принял с грохотом передвигать в нем разные приборы. Вдруг попугай заорал: «Овер-рсан! Овер-рсан!» — и все замерли.

Роман уставился на попугая. На лице его появилось давшее выражение, словно его только что осенила необычайная идея. Володя Почкин отпустил Дрозда и сказал: «Вот так штука, попугай!» Грубый Корнеев немедленно протянул руку, чтобы схватить попугая поперек туловища, но попугай вырвался, и Корнеев схватил его за хвост.

— Оставь, Витька! — закричала Стелла сердито. — Что за манера — мучить животных?

Попугай заорал. Все столпились вокруг него. Корнеев держал его, как голубя, Стелла гладила по хохолку, а Дрозд нежно перебирал перья в хвосте. Роман посмотрел на меня.

— Любопытно, — сказал он. — Правда?

— Откуда он здесь взялся, Саша? — вежливо спросил Эдик.

Я мотнул головой в сторону лаборатории Януса.

— Зачем Янусу попугай? — осведомился Эдик.

— Ты это меня спрашиваешь? — сказал я.

— Нет, это вопрос риторический, — серьезно сказал Эдик.

— Зачем Янусу два попугая? — сказал я.

— Или три, — тихонько добавил Роман.

Корнеев обернулся к нам.

— А где еще? — спросил он, с интересом озираясь. Попугай в его руке слабо трепыхался, пытаясь ущипнуть его за палец.

— Отпусти ты его, — сказал я. — Видишь, ему нездоровится.

Корнеев отпихнул Дрозда и снова посадил попугая на весы. Попугай взъерошился и растопырил крылья.

— Бог с ним, — сказал Роман. — Потом разберемся. Где стихи?

Стелла быстро протараторила все, что мы успели сочинить. Роман почесал подбородок, Володя Почкин неестественно заржал, а Корнеев скомандовал:

— Расстрелять. Из крупнокалиберного пулемета. Вы когданибудь научитесь писать стихи?

— Пиши сам, — сказал я сердито.

— Я писать стихи не могу,— сказал Корнеев.— По натуре я не Пушкин. Я по натуре Белинский.

— Ты по натуре кадавр,— сказала Стелла.

— Пардон! — потребовал Витька.— Я желаю, чтобы в газете был отдел литературной критики. Я хочу писать критические статьи. Я вас всех раздолбаю! Я вам еще припомню ваше творение про дачи.

— Какое? — спросил Эдик.

Корнеев немедленно процитировал:

— «Я хочу построить дачу. Где? Вот главная задача! Только местный комитет не дает пока ответ». Было? Признавайтесь!

— Мало ли что,— сказал я.— У Пушкина тоже были неудачные стихи. Их даже в школьных хрестоматиях не полностью публикуют.

— А я знаю,— сказал Дрозд.

Роман повернулся к нему.

— У нас будет сегодня заголовок или нет?

— Будет,— сказал Дрозд.— Я уже букву «К» нарисовал.

— Какую «К»? При чем здесь «К»?

— А что, не надо было?

— Я сейчас умру,— сказал Роман.— Газета называется «За передовую магию». Покажи мне там хоть одну букву «К»!

Дрозд, уставясь в стену, пошевелил губами.

— Как же так? — сказал он наконец.— Откуда же я взял букву «К»? Была же буква «К»!

Роман рассвирепел и приказал Почкину разогнать всех по местам. Меня со Стеллой отдали под команду Корнеева. Дрозд лихорадочно принялся переделывать букву «К» в стилизованную букву «З». Эдик Амперян пытался улизнуть с психоэлектрометром, но был схвачен, скручен и брошен на починку пульверизатора, необходимого для создания звездного неба. Потом пришла очередь самого Почкина. Роман приказал ему перепечатывать заметки на машинке с одновременной правкой стиля и орфографии. Сам Роман принялся расхаживать по лаборатории, заглядывая всем через плечи.

Некоторое время работа кипела. Мы успели сочинить и забраковать ряд вариантов на банную тему: «В нашей бане завсегда льет холодная вода», «Кто до чистоты голодный, не удовлетворится водой холодной», «В институте двести душ, все хотят горячий душ» и так далее. Корнеев безобразно ругался, как настоящий литературный критик. «Учитесь у Пушкина! — втолковывал он нам.— Или хотя бы у Почкина.

Рядом с вами сидит гений, а вы не способны даже подражать ему... «Вот по дороге едет ЗИЛ, и им я буду задавим...» Какая физическая сила заключена в этих строках! Какая ясность чувства!» Мы неумело отругивались. Саня Дрозд дошел до буквы «И» в слове «передовую». Эдик починил пульверизатор и опробовал его на Романовых конспектах. Володя Почкин, изрыгая проклятия, искал на машинке букву «Ц». Все шло нормально. Потом Роман вдруг сказал:

— Саша, глянь-ка сюда.

Я посмотрел. Попугай с поджатыми лапками лежал под весами, и глаза его были затянуты белесоватой пленкой, а хохолок обвис.

— Помер,— сказал Дрозд жалостливо.

Мы снова столпились около попугая. У меня не было никаких особых мыслей в голове, а если и были, то где-то в подсознании, но я протянул руку, взял попугая и осмотрел его лапы. И сейчас же Роман спросил меня:

— Есть?

— Есть,— сказал я.

На черной поджатой лапке было колечко из белого металла, и на колечке было выгравировано: «Фотон»,— и стояли цифры: «190573». Я растерянно поглядел на Романа. Наверное, у нас с ним был необычный вид, потому что Витька Корнеев сказал:

— А ну, рассказывайте, что вам известно.

— Расскажем? — спросил Роман.

— Бред какой-то,— сказал я.— Фокусы, наверное. Это какие-нибудь дубли.

Роман снова внимательно осмотрел трупик.

— Да нет,— сказал он.— В том-то все и дело. Это не дубль. Это самый что ни на есть оригинальный оригинал.

— Дай посмотреть,— сказал Корнеев.

Втроем с Володей Почкиным и с Эдиком они тщательнейшим образом исследовали попугая и единогласно объявили, что это не дубль и что они не понимают, почему это нас так трогает. «Возьмем, скажем, — меня,— предложил Корнеев.— Я вот тоже не дубль. Почему это вас не поражает?»

Тогда Роман оглядел сгорающую от любопытства Стеллу, откравшего рот Володю Почкина, издевательски улыбающегося Витьку и рассказал им про все — про то, как позавчера он нашел в электрической печи зеленое перо и бросил его в корзину для мусора; и про то, как вчера этого пера в корзине не оказалось, но зато на столе (на этом самом столе) объявился

мертвый попугай, точная копия вот этого, и тоже не дубль; и про то, что Янус попугая узнал, пожалел и сжег в упомянутой выше электрической печи, а пепел зачем-то выбросил в форточку.

Некоторое время никто ничего не говорил. Дрозд, рассказом Романа заинтересовавшийся слабо, пожимал плечами. На лице его было явственно видно, что он не понимает, из-за чего горит сыр-бор, и что, по его мнению, в этом учреждении случаются штучки и похлеще. Стеллочка тоже казалась разочарованной. Но тройка магистров поняла все очень хорошо, и на лицах их читался протест. Корнеев решительно сказал:

— Врете. Причем неумело.

— Это все-таки не тот попугай,— сказал вежливый Эдик.— Вы, наверное, ошиблись.

— Да тот,— сказал я.— Зеленый, с колечком.

— Фотон? — спросил Володя Почкин прокурорским голосом.

— Фотон. Янус его Фотончиком называл.

— А цифры? — спросил Володя.

— И цифры.

— Цифры те же? — спросил Корнеев грозно.

— По-моему, те же,— ответил я нерешительно, оглядываясь на Романа.

— А точнее? — потребовал Корнеев. Он прикрыл красной лапой попугая.— Повтори, какие тут цифры?

— Девятнадцать...— сказал я.— Э-э... ноль два, что ли? Шестьдесят три.

Корнеев заглянул под ладонь.

— Врешь,— сказал он.— Ты? — обратился он к Роману.

— Не помню,— сказал Роман спокойно.— Кажется, не ноль три, а ноль пять.

— Нет,— сказал я.— Все-таки ноль шесть. Я помню, там такая закорючка была.

— Закорючка, — сказал Почкин презрительно. — Ше Холмы! Нэ Пинкертоны! Закон причинности им надоел...

Корнеев засунул руки в карманы.

— Это другое дело,— сказал он.— Я даже не настаиваю на том, что вы врете. Просто вы перепутали. Попугай все зеленые, многие из них окольцованны, эта пара была из серии «Фотон». А память у вас дырявая. Как у всех стихоплетов и редакторов плохих стенгазет.

— Дырявая? — осведомился Роман.

- Как терка.
- Как терка? — повторил Роман, странно усмехаясь.
- Как старая терка,— пояснил Корнеев.— Ржавая. Как сеть. Крупноячеистая.

Тогда Роман, продолжая странно улыбаться, вытащил из нагрудного кармана записную книжку и перелистал страницы.

— Итак,— сказал он,— крупноячеистая и ржавая. Посмотрим... Девятнадцать ноль пять семьдесят три,— прочитал он.

Магистры рванулись к попугаю и с сухим треском столкнулись лбами.

— Девятнадцать ноль пять семьдесят три,— упавшим голосом прочитал на кольце Корнеев.

Это было очень эффектно. Стелла немедленно завизжала от удовольствия.

— Подумаешь,— сказал Дрозд, не отрываясь от заголовка.— У меня однажды совпал номер на лотерейном билете, и я побежал в сберкассу получать автомобиль. А потом оказалось...

— Почему это ты записал номер? — сказал Корнеев, прищурившись на Романа.— Это у тебя привычка? Ты все номера записываешь? Может быть, у тебя и номер твоих часиков записан?

— Блестяще! — сказал Почкин.— Витька, ты молодец. Ты попал в самую точку. Роман, какой позор! Зачем ты отравил попугая? Как жестоко!

— Идиоты! — сказал Роман.— Что я вам — Выбегалло?

Корнеев подскочил к нему и осмотрел его уши.

— Иди к дьяволу! — сказал Роман.— Саша, ты только полюбуйся на них!

— Ребята,— сказал я укоризненно,— да кто же так шутит? За кого вы нас принимаете?

— А что остается делать? — сказал Корнеев.— Кто-то врет. Либо вы, либо законы природы. Я верю в законы природы. Все остальное меняется.

Впрочем, он быстро скис, сел в сторонке и стал думать. Саня Дрозд спокойно рисовал заголовок. Стелла глядела на всех по очереди испуганными глазами. Володя Почкин быстро писал и зачеркивал какие-то формулы. Первым заговорил Эдик.

— Если даже никакие законы не нарушаются,— рассудительно сказал он,— все равно остается странным неожиданное появление большого количества попугаев в одной и той же

комнате и подозрительная смертность среди них. Но я не очень удивлен, потому что не забываю, что имею дело с Янусом Полуэктовичем. Вам не кажется, что Янус Полуэктович сам по себе преплюбопытнейшая личность?

— Кажется,— сказал я.

— И мне тоже кажется,— сказал Эдик.— Чем он, собственно, занимается, Роман?

— Смотря какой Янус. У-Янус занимается связью с параллельными пространствами.

— Гм,— сказал Эдик.— Это нам вряд ли поможет.

— К сожалению,— сказал Роман.— Я вот тоже все время думаю, как связать попугаев с Янусом, и ничего не могу придумать.

— Но ведь он странный член век? — спросил Эдик.

— Да, несомненно. Начать с того, что их двое и он один. Мы к этому так привыкли, что не думаем об этом...

— Вот об этом я и хотел сказать. Мы редко говорим о Янусе, мы слишком уважаем его. А ведь наверняка каждый из нас замечал за ним хоть одну какую-нибудь странность.

— Странность номер один,— сказал я.— Любовь к умирающим попугаям.

— Пусть так,— сказал Эдик.— Еще?

— Сплетники,— сказал Дрозд с достоинством.— Вот я у него однажды просил в долг.

— Да? — сказал Эдик.

— И он мне дал,— сказал Дрозд.— А я забыл, сколько он мне дал. И теперь не знаю, что делать.

Он замолчал. Эдик некоторое время ждал продолжения, потом сказал:

— Известно ли вам, например, что каждый раз, когда мне приходилось работать с ним по ночам, ровно в полночь он кудато уходил и через пять минут возвращался, и каждый раз у меня создавалось впечатление, что он так или иначе старается узнать у меня, чем мы тут с ним занимались до его ухода.

— Истинно так,— сказал Роман.— Я это знаю отлично. Я уже давно заметил, что именно в полночь у него начисто отшибает память. И он об этом своем дефекте прекрасно осведомлен. Он несколько раз извинялся и говорил, что это у него рефлекторное, связанное с последствиями сильной контузии.

— Память у него никуда не годится,— сказал Володя Поч-

кин. Он смял листок с вычислениями и швырнул его под стол.— Он все время пристает, виделся ты с ним вчера или не виделся.

— И о чем беседовал, если виделся,— добавил я.

— Память, память,— пробормотал Корнеев нетерпеливо.—

При чем здесь память? Мало ли у кого плохая память... Не в этом дело. Что там у него с параллельными пространствами?..

— Сначала надо собрать факты,— сказал Эдик.

— Попугай, попугай, попугай,— продолжал Витька.— Неужели это все-таки дубли?

— Нет,— сказал Володя Почкин.— Я просчитал. Это по всем категориям не дубль.

— Каждую полночь,— сказал Роман,— он идет вот в эту свою лабораторию и буквально на несколько минут запирается там. Один раз он вбежал туда так поспешно, что не успел закрыть дверь...

— И что? — спросила Стелла замирающим голосом.

— Ничего. Сел в кресло, посидел немножко и вернулся обратно. И сразу спросил, не беседовал ли я с ним о чем-нибудь важном.

— Я пошел,— сказал Корнеев, поднимаясь.

— И я,— сказал Эдик.— У нас сейчас семинар.

— И я,— сказал Володя Почкин.

— Нет,— сказал Роман.— Ты сиди и печатай. Назначаю тебя главным. Ты, Стеллочка, возьми Сашу и пиши стихи. А вот я пойду. Вернусь вечером, и чтобы газета была готова.

Они ушли, а мы остались делать газету. Сначала мы пытались что-нибудь придумать, но быстро утомились и поняли, что не можем. Тогда мы написали небольшую поэму об умирающем попугае.

Когда Роман вернулся, газета была готова, Дрозд лежал на столе и поглощал бутерброды, а Почкин объяснял нам со Стеллой, почему происшествие с попугаем совершенно невозможно.

— Молодцы,— сказал Роман.— Отличная газета. А какой заголовок! Какое бездонное звездное небо! И как мало опечаток!.. А где попугай?

Попугай лежал в чашке Петри, в той самой чашке и на том самом месте, где мы с Романом видели его вчера. У меня даже дух захватило.

— Кто его сюда положил? — осведомился Роман.

— Я,— сказал Дрозд.— А что?

— Нет, ничего, — сказал Роман. — Пусть лежит. Правда, Саша?

Я кивнул.

— Посмотрим, что с ним будет завтра, — сказал Роман.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Эта бедная, старая навинная птица
ругается, как тысяча чертей, но
она не понимает, что говорит.

Р. СТИВЕНСОН

Однако завтра с самого утра мне пришлось заняться своими прямыми обязанностями. «Алдан» был починен и готов к бою, и, когда я пришел после завтрака в электронный зал, у дверей уже собралась небольшая очередь дублей с листками предлагаемых задач. Я начал с того, что мстительно прогнал дубля Кристобаля Хунты, написав на его листке, что не могу разобрать почерк. (Почерк у Кристобаля Хозевича был действительно неудобочитаем: Хунта писал по-русски готическими буквами.) Дубль Федора Симеоновича принес программу, составленную лично Федором Симеоновичем. Это была первая программа, которую составил сам Федор Симеонович без всяких советов, подсказок и указаний с моей стороны. Я внимательно просмотрел программу и с удовольствием убедился, что составлена она грамотно, экономно и не без остроумия. Я исправил некоторые незначительные ошибки и передал программу своим девочкам. Потом я заметил, что в очереди томится бледный и напуганный бухгалтер рыбозавода. Ему было страшно и неуютно, и я сразу принял его.

— Да неудобно как-то, — бормотал он, опасливо косясь на дублей. — Вот ведь товарищи ждут, раньше меня пришли...

— Ничего, это не товарищи, — успокоил я его.

— Ну граждане...

— И не граждане.

Бухгалтер совсем побелел и, склонившись ко мне, проговорил прерывающимся шепотом:

— То-то же я смотрю — не мигают оне... А вот этот в синем — он, по-моему, и не дышит...

Я уже отпустил половину очереди, когда позвонил Роман.

— Саша?

- Да.
- А попугая-то нет.
- Как так нет?
- А вот так.
- Уборщица выбросила?
- Спрашивал. Не только не выбрасывала, но и не видела.
- Может быть, домовые хамят?
- Это в лаборатории-то директора? Вряд ли.
- Н-да, — сказал я. — А может быть, сам Янус?
- Янус еще не приходил. И вообще, кажется, не вернулся

из Москвы.

- Так как же это все понимать? — спросил я.
- Не знаю. Посмотрим.

Мы помолчали.

— Ты меня позовешь? — спросил я. — Если что-нибудь интересное...

— Ну конечно. Обязательно. Пока, дружище.

Я заставил себя не думать об этом попугае, до которого мне в конце концов не было никакого дела. Я отпустил всех дублей, проверил все программы и занялся гнусной задачкой, которая уже давно висела на мне. Эту задачу дали мне абсолютники. Сначала я им сказал, что она не имеет ни смысла, ни решения, как и большинство их задач. Но потом посоветовался с Хунтой, который в таких вещах разбирался очень тонко, и он мне дал несколько обнадеживающих советов. Я много раз обращался к этой задаче и снова ее откладывал, а вот сегодня добил-таки. Получилось очень изящно. Как раз когда я кончил и, блаженствуя, откинулся на спинку стула, оглядывая решение издали, пришел темный от злости Хунта. Глядя мне в ноги, голосом сухим и неприятным он осведомился, с каких это пор я перестал разбирать его почерк. Это чрезвычайно напоминает ему саботаж, сообщил он.

Я с умилением смотрел на него.

— Кристобаль Хозевич, — сказал я. — Я ее все-таки решил. Вы были совершенно правы. Пространство заклинаний действительно можно свернуть по любым четырем переменным.

Он поднял, наконец, глаза и посмотрел на меня. Наверное, у меня был очень счастливый вид, потому что он смягчился и проворчал:

— Позвольте посмотреть.

Я отдал ему листки, он сел рядом со мною, и мы вместе разобрали задачу с начала и до конца и с наслаждением

просмаковали два изящнейших преобразования, одно из которых подсказал мне он, а другое нашел я сам.

— У нас с вами неплохие головы, Александро,— сказал, наконец, Хунта.— В нас есть артистичность мышления. Как вы находите?

— По-моему, мы молодцы,— сказал я искренне.

— Я тоже так думаю, — сказал он. — Это мы опубликуем. Это никому не стыдно опубликовать. Это не галоши-автостопы и не брюки-невидимки.

Мы пришли в отличное настроение и начали разбирать новую задачу Хунты, и очень скоро он сказал, что и раньше иногда считал себя п об р е к и т о, а в том, что я математически невежествен, убедился при первой же встрече. Я с ним горячо согласился и высказал предположение, что ему, пожалуй, пора уже на пенсию, а меня надо в три шеи гнать из института грузить лес, потому что ни на что другое я не годен. Он возразил мне. Он сказал, что ни о какой пенсии не может быть и речи, что его надлежит пустить на удобрения, а меня на километр не подпускать к лесоразработкам, где определенный интеллектуальный уровень все-таки необходим, а назначить учеником младшего черпальщика в ассенизационном обозе при холерных бараках. Мы сидели, подперев головы, и предавались самоуничижению, когда в зал заглянул Федор Симеонович. Насколько я понял, ему не терпелось узнать мое мнение о составленной им программе.

— Программа! — желчно усмехнувшись, произнес Хунта.— Я не видел твоей программы, Теодор, но я уверен, что она гениальна по сравнению с этим....— Он с отвращением подал двумя пальцами Федору Симеоновичу листок со своей задачей.— Полюбуйся, вот образец убожества и ничтожества.

— Г-голубчики,— сказал Федор Симеонович озадаченно, разобравшись в почерках.— Это же п-проблема Бен Б-бецалеля. К-калиостро же доказал, что она н-не имеет р-решения.

— Мы сами знаем, что она не имеет решения,— сказал Хунта, немедленно ощетиниваясь.— Мы хотим знать, как ее решать.

— К-как-то ты странно рассуждаешь, К-кристо... К-как же искать решение, к-когда его нет? Б-бессмыслица какая-то...

— Извини, Теодор, но это ты очень странно рассуждаешь. Бессмыслица — искать решение, если оно и так есть. Речь идет о том, как поступать с задачей, которая решения не имеет. Это глубоко принципиальный вопрос, который, как я вижу, тебе,

прикладнику, к сожалению, не доступен. По-видимому, я напрасно начал с тобой беседовать на эту тему.

Тон Кристобали Хозевича был необычайно оскорбителен, и Федор Симеонович рассердился.

— В-вот что, г-голубчик,— сказал он.— Я не-не могу дискутировать с т-тобой в этом тоне п-при молодом человеке. Т-ты меня удивляешь. Это н-неп-педагогично. Если тебе угодно п-продолжать, изволь выйти со мной в к-коридор.

— Изволь,— отвечал Хунта, распрымляясь как пружина и судорожно хватая у бедра несуществующий эфес.

Они церемонно вышли, гордо задрав головы и не глядя друг на друга. Девочки захихикали. Я тоже не особенно испугался. Я сел, обхватив руками голову, над оставленным листком и некоторое время краем уха слушал, как в коридоре могуче рокочет бас Федора Симеоновича, прорезаемый сухими гневными вскриками Кристобали Хозевича. Потом Федор Симеонович взревел: «Извольте пройти в мой кабинет!» — «Извольте!» — проискрежетал Хунта. Они уже были на «вы». И голоса удалились. «Дуэль! Дуэль!» — защебетали девочки. О Хунте ходила лихая слава бретёра и забияки. Говорили, что он приводит противника в свою лабораторию, предлагает на выбор рапиры, шпаги или алебарды, а затем принимается а-ля Жан Маре скакать по столам и опрокидывать шкафы. Но за Федора Симеоновича можно было быть спокойным. Было ясно, что в кабинете они в течение получаса будут мрачно молчать через стол, потом Федор Симеонович тяжело вздохнет, откроет по-гребец и наполнит две рюмки эликсиром Блаженства. Хунта пошевелит ноздрями, закрутит ус и выпьет. Федор Симеонович незамедлительно наполнит рюмки вновь и крикнет в лабораторию: «Свежих огурчиков!»

В это время позвонил Роман и странным голосом сказал, чтобы я немедленно поднялся к нему. Я побежал наверх.

В лаборатории были Роман, Витька и Эдик. Кроме того, в лаборатории был зеленый попугай. Живой. Он сидел, как и вчера, на коромысле весов, рассматривал всех по очереди то одним, то другим глазом, копался клювом в перьях и чувствовал себя, по-видимому, превосходно. Ученые, в отличие от него, выглядели неважно. Роман, понурившись, стоял над попугаем и время от времени судорожно вздыхал. Бледный Эдик осторожно массировал себе виски с мучительным выражением на лице, словно его гладила мигрень. А Витька, верхом на стуле, раскачивался, как мальчик, играющий в ло-

шадки и неразборчиво бормотал, лихорадочно тараща глаза.

- Тот самый? — спросил я вполголоса.
- Тот самый, — сказал Роман.
- Фотон? — Я тоже почувствовал себя неважко.
- Фотон.
- И номер совпадает?

Роман не ответил. Эдик сказал болезненным голосом:

— Если бы мы знали, сколько у попугаев перьев в хвосте, мы могли бы их пересчитать и учесть то перо, которое было потеряно позавчера.

- Хотите, я за Бремом сбегаю? — предложил я.

— Где покойник? — спросил Роман. — Вот с чего нужно начинать! Слушайте, детективы, где труп?

— Тр-руп! — рявкнул попугай. — Цер-ремония! Тр-руп за бор-рт! Р-рубидий!

- Черт знает что он говорит, — сказал Роман с сердцем.

— Труп за борт — это типично пиратское выражение, — пояснил Эдик.

- А рубидий?

- Р-рубидий! Резер-рв! Огр-ромен! — сказал попугай.

— Резервы рубидия огромны, — перевел Эдик. — Интересно, где?

Я наклонился и стал разглядывать колечко.

- А может быть, это все-таки не тот?

- А где тот? — спросил Роман.

— Ну, это другой вопрос, — сказал я. — Все-таки это проще объяснить.

- Объясни, — предложил Роман.

— Подожди, — сказал я. — Давай сначала решим вопрос: тот или не тот?

- По-моему, тот, — сказал Эдик.

— А по-моему, не тот, — сказал я. — Вот здесь на колечке царепина, где тройка...

— Тр-ройка! — произнес попугай. — Тр-ройка! Кр-руче впр-раво! Смер-рч! Смер-рч!

Битька вдруг встрепенулся.

- Есть идея, — сказал он.

- Какая?

- Ассоциативный допрос.

- Как это?

— Погодите. Сядьте все, молчите и не мешайте. Роман, у тебя есть магнитофон?

— Есть диктофон.

— Давай сюда. Только все молчите. Я его сейчас расколю, прохвоста. Он у меня все скажет.

Витьяка подтащил стул, сел с диктофоном в руке напротив попугая, нахохлился, посмотрел на попугая одним глазом и гаркнул:

— Р-рубидий!

Попугай вздрогнул и чуть не свалился с весов. Помахав крыльями, чтобы восстановить равновесие, он отозвался:

— Р-резерв! Кр-ратер Р-ричи!

Мы переглянулись.

— Р-резерв! — гаркнул Витьяка.

— Огр-ромен! Гр-руды! Гр-руды! Р-ричи пр-рав! Р-ричи пр-рав! Р-роботы! Р-роботы!

— Роботы!

— Кр-рах! Гор-рят! Атмосфер-ра гор-рит! Пр-рочь! Др-рамба, пр-рочь!

— Драмба!

— Р-рубидий! Р-резерв!

— Рубидий!

— Р-резерв! Кр-ратер Р-ричи!

— Замыкание, — сказал Роман. — Круг.

— Погоди, погоди, — бормотал Витьяка. — Сейчас...

— Попробуй что-нибудь из другой области, — посоветовал Эдик.

— Янус! — сказал Витьяка.

Попугай открыл клюв и чихнул.

— Я-нус, — повторил Витьяка строго.

Попугай задумчиво смотрел в окно.

— Буквы «р» нет, — сказал я.

— Пожалуй, — сказал Витьяка. — А ну-ка... Нев-стр-руев!

— Пер-рехожу на пр-рием! — сказал попугай. — Чар-родей!

Чар-родей! Говор-рит Кр-рыло, говор-рит Кр-рыло!

— Это не пиратский попугай, — сказал Эдик.

— Спроси его про труп, — попросил я.

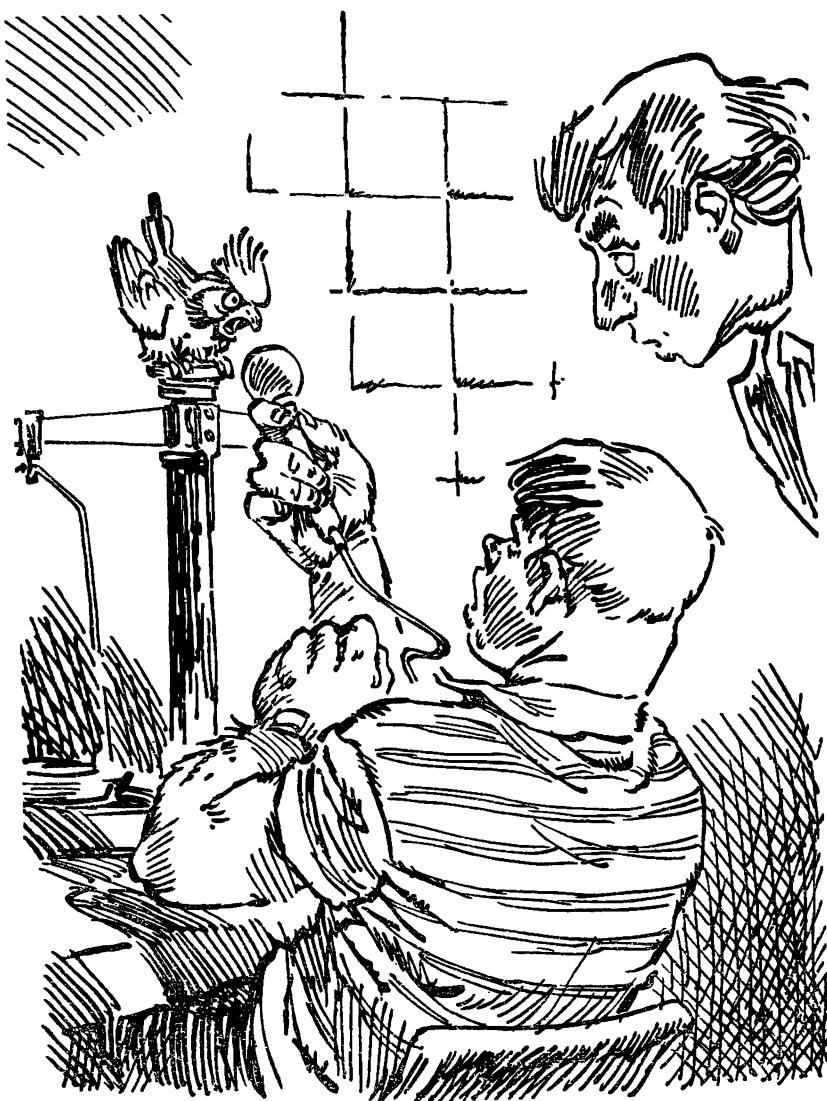
— Труп, — неохотно сказал Витьяка.

— Цер-ремония, погр-ребения! Вр-ремя огр-раничено!

Р-речь! Р-речь! Тр-репотня! Р-работать! Р-работать!

— Любопытные у него были хозяева, — сказал Роман. — Что же нам делать?

— Витя, — сказал Эдик. — У него, по-моему, космическая терминология. Попробуй что-нибудь простое, обыденное.



— Водородная бомба,— сказал Витька.

Попугай наклонил голову и почистил лапкой клюв.

— Паровоз! — сказал Витька.

Попугай промолчал.

— Да, не получается,— сказал Роман.

— Вот дьявол,— сказал Витька.— Ничего не могу придумать обыденного с буквой «р». Стул, стол, потолок... Диван... О! Тр-ранслятор!

Попугай поглядел на Витьку одним глазом.

— Кор-рнеев, пр-рошу!

— Что? — спросил Витька.

Впервые в жизни я видел, как Витька растерялся.

— Кор-рнеев гр-руб! Гр-руб! Пр-красный р-работник!

Дур-рак р-редкий! Пр-релест!

Мы захихикали. Витька посмотрел на нас и мстительно сказал:

— Оир-ра-Оир-ра!

— Стар-р, стар-р! — с готовностью откликнулся попугай.—

Р-рад! Дор-рвался!

— Это что-то не то,— сказал Роман.

— Почему же не то? — сказал Витька.— Очень даже то...

Пр-ривалов!

— Пр-ростодушный пр-роект! Пр-римитив! Тр-рудяга!

— Ребята, он нас всех знает,— сказал Эдик.

— Р-ребята,— отозвался попугай.— Зер-рнышко пер-рцу!

Зер-ро! Зер-ро! Гр-равитация!

— Амперян,— торопливо сказал Витька.

— Кр-рематорий! Безвр-ременно обор-рвалась! — сказал попугай, подумал и добавил: — Ампер-рмтр!

— Бессвязица какая-то,— сказал Эдик.

— Бессвязиц не бывает,— задумчиво сказал Роман.

Витька, щелкнув замочком, открыл диктофон.

— Лента кончилась,— сказал он.— Жаль.

— Знаете что,— сказал я,— по-моему, проще всего спросить у Януса. Что это за попугай, откуда он, и вообще...

— А кто будет спрашивать? — осведомился Роман.

Никто не вызвался. Витька предложил прослушать запись, и мы согласились. Все это звучало очень странно. При первых же словах из диктофона попугай перелетел на плечо Витьки и стал с видимым интересом слушать, вставляя иногда реплики вроде: «Др-рамба игнор-рирует ур-ран», «Пр-правильно» и «Кор-рнеев гр-руб». Когда запись кончилась, Эдик сказал:

— В принципе можно было бы составить лексический словарь и проанализировать его на машине. Но кое-что ясно и так. Во-первых, он всех нас знает. Это уже удивительно. Это значит, что он много раз слышал наши имена. Во-вторых, он знает про роботов. И про рубидий. Кстати, где употребляется рубидий?

— У нас в институте, — сказал Роман, — он, во всяком случае, нигде не употребляется.

— Это что-то вроде натрия, — сказал Корнеев.

— Рубидий — ладно, — сказал я. — Откуда он знает про лунные кратеры?

— Почему именно про лунные?

— А разве на Земле горы называют кратерами?

— Ну, во-первых, есть кратер Аризона, а во-вторых, кратер — это не гора, а, скорее, дыра.

— Дыр-ра вр-ремени, — сообщил попугай.

— У него любопытнейшая терминология, — сказал Эдик. — Я никак не могу назвать ее общеупотребительной.

— Да, — согласился Витька. — Если попугай все время находится при Янусе, то Янус занимается странными делами.

— Стр-ранный ор-битальный пер-реход, — сказал попугай.

— Янус не занимается космосом, — сказал Роман. — Я бы знал.

— Может быть, раньше занимался?

— И раньше не занимался.

— Роботы какие-то, — с тоской сказал Витька. — Кратеры... При чем здесь кратеры?

— Может быть, Янус читает фантастику? — предположил я.

— Вслух? Попугаю?

— Н-да...

— Венера, — сказал Витька, обращаясь к попугаю.

— Р-роковая стр-расть, — сказал попугай. Он задумался и пояснил: — Р-разился. Зр-ря.

Роман поднялся и стал ходить по лаборатории. Эдик лег и щекой на стол и закрыл глаза.

— А как он здесь появился? — спросил я.

— Как вчера, — сказал Роман. — Из лаборатории Януса.

— Вы это сами видели?

— Угу.

— Я одного не понимаю, — сказал я. — Он умирал или не умирал?

— А мы откуда знаем? — сказал Роман. — Я не ветеринар. А Витька не орнитолог. И вообще это, может быть, не попугай.

— А что?

— А я откуда знаю?

— Это, может быть, сложная наведенная галлюцинация, — сказал Эдик, не открывая глаз.

— Кем наведенная?

— Вот об этом я сейчас и думаю, — сказал Эдик.

Я надавил пальцем на глаз и посмотрел на попугая. Попугай раздвоился.

— Он раздваивается, — сказал я. — Это не галлюцинация.

— Я сказал: сложная галлюцинация, — напомнил Эдик.

Я надавил на оба глаза. Я временно ослеп.

— Вот что, — сказал Корнеев. — Я заявляю, что мы имеем дело с нарушением причинно-следственного закона. Поэтому выход один — всё это галлюцинация, а нам нужно встать, построиться и с песнями идти к психиатру. Становись!

— Не пойду, — сказал Эдик. — У меня есть еще одна идея.

— Какая?

— Не скажу.

— Почему?

— Побьете.

— Мы тебя и так побьем.

— Бейте.

— Нет у тебя никакой идеи, — сказал Витька. — Это все тебе кажется. Айда к психиатру.

Дверь скрипнула, и в лабораторию из коридора вошел Янус Полуэктович.

— Так, — сказал он. — Здравствуйте.

Мы встали. Он обошел нас и по очереди пожал каждому руку.

— Фотончик, — сказал он, увидя попугая. — Он вам не мешает, Роман Петрович?

— Мешает? — сказал Роман. — Мне? Почему он мешает? Он не мешает. Наоборот...

— Ну, все-таки каждый день... — начал Янус Полуэктович и вдруг осекся. — О чем это мы с вами вчера беседовали? — спросил он, потирая лоб.

— Вчера вы были в Москве, — сказал Роман с покорностью в голосе.

— Ах... да-да. Ну хорошо. Фотончик! Иди сюда!

Попугай, вспорхнув, сел Янусу на плечо и сказал ему на ухо:



— Пр-росо, пр-росо! Сахар-рок!

Янус Полуэктович нежно заулыбался и ушел в свою лабораторию. Мы обалдело посмотрели друг на друга.

— Пошли отсюда, — сказал Роман.

— К психиатру! К психиатру! — зловеще бормотал Корнеев, пока мы шли по коридору к нему на диван. — В кратер Ричи. Др-рамба! Сахар-рок!

ГЛАВА ПЯТАЯ

Фактов всегда достаточно — не хватает фантазии.

Д. ВЛОХИНЦЕВ

Витьяка составил на пол контейнеры с живой водой, мы повалились на диван-транслятор и закурили. Через некоторое время Роман спросил:

— Витьяка, а ты диван выключил?

— Да.

— Что-то мне в голову ерунда какая-то лезет.

— Выключил и заблокировал, — сказал Витьяка.

— Нет, ребята, — сказал Эдик, — а почему все-таки не галлюцинация?

— Кто говорит, что не галлюцинация? — спросил Витьяка. — Я же предлагал — к психиатру.

— Когда я ухаживал за Майкой, — сказал Эдик, — я наводил такие галлюцинации, что самому страшно становилось.

— Зачем? — спросил Витьяка.

Эдик подумал.

— Не знаю, — сказал он. — Наверное, от восторга.

— Я спрашиваю: зачем кому-то наводить на нас галлюцинации? — сказал Витьяка. — И потом, мы не Майка. Мы, слава богу, магистры. Кто нас может одолеть? Ну, Янус. Ну, Киврин, Хунта. Может быть, Жиакомо еще.

— Вот Саша у нас слабоват, — извиняющимся тоном сказал Эдик.

— Ну и что? — спросил я. — Мне, что ли, одному мерещится?

— Вообще-то это можно было бы проверить, — задумчиво сказал Витьяка. — Если Сашку... того... этого...



— Но-но,— сказал я.— Вы мне это прекратите. Других способов нет, что ли? Надавите на глаз. Или дайте диктофон постороннему человеку. Пусть прослушает и скажет, есть там запись или нет.

Магистры жалостливо улыбнулись.

— Хороший ты программист, Саша,— сказал Эдик.

— Салака,— сказал Корнеев.— Личинка.

— Да, Сашенька,— вздохнул Роман.— Ты даже представить себе не можешь, я вижу, что такое настоящая, подробная, тщательно наведенная галлюцинация.

На лицах магистров появилось мечтательное выражение — видимо, их осенили сладкие воспоминания. Я смотрел на них с завистью. Они улыбались. Они жмурились. Они подмигивали кому-то. Потом Эдик вдруг сказал:

— Всю зиму у нее цвели орхидеи. Они пахли самым лучшим запахом, какой я только мог выдумать.

Витька очнулся.

— Берклеанцы,— сказал он.— Солипсисты вымытые. «Как ужасно мое представленье!»

— Да,— сказал Роман.— Галлюцинации — это не предмет для обсуждения. Слишком простодушно. Мы не дети и не бабки. Не хочу быть агностиком. Какая там у тебя была идея, Эдик?

— У меня?.. Ах да, была. Тоже в общем-то примитив. Матрикаты.

— Гм,— сказал Роман с сомнением.

— А как это? — спросил я.

Эдик неохотно объяснил, что, кроме известных мне дублей, существуют еще матрикаты — точные, абсолютные копии предметов или существ. В отличие от дублей матрикат совпадает с оригиналом с точностью до структуры. Различить их обычными методами невозможно. Нужны специальные установки, и вообще это очень сложная и трудоемкая работа. В свое время Бальзамо получил магистра-академика за доказательство матрикатной природы Филиппа Бурбона, известного в народе под прозвищем «Железная Маска». Этот матрикат Людовика Четырнадцатого был создан в тайных лабораториях иезуитов с целью захватить французский престол. В наше время матрикаты изготавливаются методом биостереографии а-ля Ришар Сэгюра.

Я не знал тогда, кто такой Ришар Сэгюр, но я сразу сказал, что идея о матрикатах может объяснить только необычайное

сходство попугаев. И все. Например, остается по-прежнему непонятным, куда исчез вчерашний дохлый попугай.

— Да, это так,— сказал Эдик.— Я и не настаиваю. Тем более, что Янус не имеет никакого отношения к биостереографии.

— Вот именно,— сказал я смелее.— Тогда уж лучше предположить путешествие в описываемое будущее. Знаете? Как Луи Седловой.

— Ну? — сказал Корнеев без особого интереса.

— Просто Янус летает в какой-нибудь фантастический роман, забирает оттуда попугая и привозит сюда. Попугай сдохнет, он снова летит на ту же страницу и опять... Тогда понятно, почему попугаи похожи. Это один и тот же попугай, и понятно, почему у него такой научно-фантастический лексикон. И вообще,— продолжал я, чувствуя, что все получается не так уж глупо,— можно даже попытаться объяснить, почему Янус все время задает вопросы: он каждый раз боится, что вернулся не в тот день, в который следует... По-моему, я все здорово объяснил, а?

— А что, есть такой фантастический роман? — с любопытством спросил Эдик.— С попугаем?..

— Не знаю,— сказал я честно.— Но у них там в звездолетах всякие животные бывают. И кошки, и обезьяны, и дети... Опять же на Западе существует обширнейшая фантастика, все не перечитаешь...

— Ну... во-первых, попугай из западной фантастики вряд ли станет говорить по-русски,— сказал Роман.— А главное, совершенно непонятно, откуда эти космические попугаи — пусть даже из советской фантастики — могут знать Корнеева, Привалова и Ойру-Ойру...

— Я уже не говорю о том,— лениво сказал Витька,— что перебрасывать материальное тело в идеальный мир — это одно, а идеальное тело в материальный мир — это уже другое. Сомневаюсь я, чтобы нашелся писатель, создавший образ попугая, пригодный для самостоятельного существования в реальном мире.

Я вспомнил полуупрозрачных изобретателей и не нашелся что возразить.

— Впрочем,— благосклонно продолжал Витька,— наш Сашенция подает определенные надежды. В его идее ощущается некое благородное безумие.

— Не стал бы Янус сжигать идеального попугая,—

убежденно сказал Эдик.— Ведь идеальный попугай даже протухнуть не может.

— А почему? — сказал вдруг Роман.— Почему мы так не-последовательны? Почему Седловой? С какой стати Янус будет повторять Л. Седлового? У Януса есть тема. У Януса есть своя проблематика. Янус занимается параллельными пространствами. Давайте исходить из этого!

— Давайте, — сказал я.

— Ты думаешь, что Янусу удалось связаться с каким-нибудь параллельным пространством? — спросил Эдик.

— Связь он наладил уже давно. Почему не предположить, что он пошел дальше? Почему не предположить, что он налаживает переброску материальных тел? Эдик прав, это матрикаты, это и должны быть матрикаты, потому что необходима гарантия полной идентичности перебрасываемого предмета. Режим переброски они подбирают, исходя из эксперимента. Первые две переброски были неудачны: попугаи дохли. Сегодня эксперимент, кажется, удался...

— Почему они говорят по-русски? — спросил Эдик.— И почему все-таки у попугаев такой лексикон?

— Значит, и там есть Россия, — сказал Роман.— Но там уже добывают рубидий в кратере Ричи.

— Сплошные натяжки, — сказал Витьяка.— Почему именно попугаи? Почему не собаки и не морские свинки? Почему не просто магнитофоны, наконец? И опять же, откуда эти попугаи знают, что Ойра-Ойра стар, а Корнеев — прекрасный работник?

— Грубый, — подсказал я.

— Грубый, но прекрасный. И куда все-таки девался дохлый попугай?

— Вот что, — сказал Эдик.— Так нельзя. Мы работаем, как дилетанты. Как авторы любительских писем: «Дорогие ученые. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит». Система нужна. Где у тебя бумага, Витя? Сейчас мы все распишем...

И мы расписали все красивым Эдиковым почерком.

Во-первых, мы приняли постулат, что происходящее не является галлюцинацией, иначе было бы просто неинтересно. Потом мы сформулировали вопросы, на которые искомая гипотеза должна была дать ответ. Эти вопросы мы разделили на две группы: группа «Попугай» и группа «Янус». Группа «Янус» была введена по настоянию Романа и Эдика, которые

заявили, что всем нутром чуют связь между странностями Януса и странностями попугаев. Они не смогли ответить на вопрос Корнеева, каков физический смысл понятий «нутро» и «чуять», но подчеркнули, что Янус сам по себе представляет любопытнейший объект для исследования и что яблочко от яблони далеко не падает. Поскольку я своего мнения не имел, они оказались в большинстве, и окончательный список вопросов выглядел так.

Почему попугай за номером один, два и три, наблюдавшиеся соответственно десятого, одиннадцатого и двенадцатого, похожи друг на друга до такой степени, что были приняты нами сначала за одного и того же? Почему Янус сжег первого попугая, а также, вероятно, и того, который был перед первым (нулевого) и от которого осталось только перо? Куда девалось перо? Куда девался второй (издохший) попугай? Как объяснить странный лексикон второго и третьего попугаев? Как объяснить, что третий попугай знает всех нас, в то время как мы видим его впервые? («Почему и от чего издохли попугай?» — добавил было я, но Корнеев проворчал: «Почему и от чего первым признаком отравления является посинение трупа?» — и мой вопрос не записали.) Что объединяет Януса и попугаев? Почему Янус никогда не помнит, с кем и о чем он беседовал вчера? Что происходит с Янусом в полночь? Почему У-Янус имеет странную манеру говорить в будущем времени, в то время как за А-Янусом ничего подобного не замечалось? Почему их вообще двое, и откуда, собственно, пошла легенда, что Янус Полуэктович един в двух лицах?

После этого мы некоторое время старательно думали, по-минутно заглядывая в листок. Я все надеялся, что меня вновь осенит благородное безумие, но мысли мои рассеивались, и я чем дальше, тем больше начинал склоняться к точке зрения Сани Дрозда: что в этом институте и не такие штучки вытворяются. Я понимал, что этот дешевый скептицизм есть попросту следствие моего невежества и непривычки мыслить категориями измененного мира, но это уже от меня не зависело. Все происходящее, рассуждал я, по-настоящему удивительно только, если считать, что эти три или четыре попугая — один и тот же попугай. Они действительно так похожи друг на друга, что вначале я был введен в заблуждение. Это естественно. Я математик, я уважаю числа, и совпадение номеров — в особенности шестизначных — для меня автоматически ассоциируется с совпадением пронумерованных предметов. Однако

ясно, что это не может быть один и тот же попугай. Тогда нарушается закон причинно-следственной связи, закон, от которого я совершенно не собирался отказываться из-за каких-то паршивых попугаев, да еще дохлых вдобавок. А если это не один и тот же попугай, то вся проблема мельчает. Ну, совпадают номера. Ну, кто-то незаметно от нас выбросил попугая. Ну, что там еще? Лексикон? Подумаешь, лексикон... Наверняка этому есть какое-нибудь очень простое объяснение. Я собрался было уже произнести по этому поводу речь, как вдруг Витька сказал:

— Ребята, кажется, я догадываюсь.

Мы не сказали ни слова. Мы только повернулись к нему — одновременно и с шумом. Витька встал.

— Это просто, как блин, — сказал он. — Это тривиально. Это плоско и банально. Это даже неинтересно рассказывать.

Мы медленно поднимались. У меня было такое ощущение, будто я читаю последние страницы захватывающего детектива. Весь мой скептицизм как-то сразу испарился.

— Контрамоция! — изрек Витька.

Эдик лег.

— Хорошо! — сказал он. — Молодец!

— Контрамоция? — сказал Роман. — Что ж... Ага... — Он завертел пальцами. — Так... Угу... А если так?.. Да, тогда понятно, почему он нас всех знает... — Роман сделал широкий приглашающий жест. — Идут, значит, оттуда...

— И поэтому он спрашивает, о чем беседовал вчера, — подхватил Витька. — И фантастическая терминология...

— Да подождите вы! — завопил я. Последняя страница детектива была написана по-арабски. — Подождите! Какая контрамоция?

— Нет, — сказал Роман с сожалением, и сейчас же по лицу Витьки стало ясно, что он тоже понял, что контрамоция не пойдет. — Не получается, — сказал Роман. — Это как кино... Представь себе кино...

— Какое кино?! — закричал я. — Помогите!!!

— Кино наоборот, — пояснил Роман. — Понимаешь? Контрамоция.

— Дрянь собачья, — расстроенно сказал Витька и лег на диван носом в сложенные руки.

— Да, не получается, — сказал Эдик тоже с сожалением. — Саша, ты не волнуйся: все равно не получается. Контрамоция — это, по определению, движение по времени в обратную

сторону. Как нейтрино. Но вся беда в том, что, если бы попугай был контрамотом, он летал бы задом наперед и не умирал бы на наших глазах, а оживал бы... А вообще-то идея хорошая. Попугай-контрамот действительно мог бы знать кое-что о космосе. Он же живет из будущего в прошлое. А контрамот Янус действительно не мог бы знать, что происходило в нашем «вчера». Потому что наше «вчера» было бы для него «завтра».

— В том-то и дело,— сказал Витька.— Я так и подумал: почему попугай говорил про Ойру-Ойру «стар»? И почему Янус иногда так ловко и в деталях предсказывает, что будет завтра? Помнишь случай на полигоне, Роман? Напрашивалось, что они из будущего...

— А разве это возможно — контрамоция? — сказал я.

— Теоретически возможно,— сказал Эдик.— Ведь половина вещества во Вселенной движется в обратную сторону по времени. Практически же этим никто не занимался.

— Кому это нужно и кто это выдержит? — сказал Витька мрачно.

— Положим, это был бы замечательный эксперимент,— заметил Роман.

— Не эксперимент, а самопожертвование,— проворчал Витька.— Как хотите, а есть в этом что-то от контрамоции... Нутром чую.

— Ах, нутром!..— сказал Роман, и все замолчали.

Пока они молчали, я лихорадочно суммировал, что же мы имеем на практике. Если контрамоция теоретически возможна, значит теоретически возможно нарушение причинно-следственного закона. Собственно, даже не нарушение, потому что закон этот остается справедлив в отдельности и для нормального мира и для мира контрамота... А значит, можно все-таки предположить, что попугаев не три и не четыре, а всего один, один и тот же. Что получается? Десятого с утра он лежит дохлый в чашке Петри. Затем его сжигают, превращают в пепел и развеивают по ветру. Тем не менее утром одиннадцатого он жив опять. Не только не испепелен, но цел и невредим. Правда, к середине дня он изыхает и снова оказывается в чашке Петри. Это чертовски важно! Я чувствовал, что это чертовски важно — чашка Петри... Единство места!.. Двенадцатого попугай опять жив и просит сахарок... Это не контрамоция, это не фильм,пущенный наоборот, но что-то от контрамоции здесь все-таки есть... Витька прав... Для контрамота ход событий таков: попугай жив, попугай умирает,

попугая сжигают. С нашей точки зрения, если отвлечься от деталей, получается как раз наоборот: попугая сжигают, попугай умирает, попугай жив... Словно фильм разрезали на три куска и показывают сначала третий кусок, потом второй, а потом уже первый... Какие-то разрывы непрерывности... Разрывы непрерывности... Точки разрыва...

— Ребята, — сказал я замирающим голосом, — а контрамо-
ция обязательно должна быть непрерывной?

Некоторое время они не реагировали. Эдик курил, пуская дым в потолок, Витька неподвижно лежал на животе, а Роман бессмысленно смотрел на меня. Потом глаза его расширились.

— П полноч! — сказал он страшным шепотом.

Все вскочили.

Было так, точно я на кубковом матче забил решающий гол. Они бросались на меня, они слюнявили мои щеки, они били меня по спине и по шее, они повалили меня на диван и повалились сами. «Умница!» — вопил Эдик. «Голова!» — ревел Роман. «А я-то думал, что ты у нас дурак!» — приговаривал грубый Корнеев. Затем они успокоились, и дальше все пошло как по маслу.

Сначала Роман ни с того ни с сего заявил, что теперь он знает тайну Тунгусского метеорита. Он пожелал сообщить ее нам немедленно, и мы с радостью согласились, как ни парадоксально это звучит. Мы не торопились приступить к тому, что интересовало нас больше всего. Нет, мы совсем не торопились! Мы чувствовали себя гурманами. Мы не на-
кидывались на яства. Мы вдыхали ароматы, мы закатывали глаза и чмокали, ходя вокруг, мы предвкушали...

— Давайте, наконец, внесем ясность, — вкрадчивым голосом начал Роман, — в запутанную проблему Тунгусского дива. До нас этой проблемой занимались люди, абсолютно лишенные фантазии. Все эти кометы, метеориты из антивещества, само-взрывающиеся атомные корабли, всякие там космические облака и квантовые генераторы — все это слишком банально, а значит, далеко от истины. Для меня Тунгусский метеорит всегда был кораблем пришельцев, и я всегда полагал, что корабль не могут найти на месте взрыва просто потому, что его там давно уже нет. До сегодняшнего дня я думал, что падение Тунгусского метеорита есть не посадка корабля, а его взлет. И уже эта черновая гипотеза многое объясняла. Идеи дис-
кретной контрамоции позволяют покончить с этой проблемой раз и навсегда. Что же произошло тридцатого июня тысяча

девятьсот восьмого года в районе Подкаменной Тунгуски? Примерно в середине июля того же года в околосолнечное пространство вторгся корабль пришельцев. Но это не были простые, безыскусные пришельцы фантастических романов. Это были контрамоты, товарищи! Люди, прибывшие в наш мир из другой вселенной, где время течет навстречу нашему. В результате взаимодействия противоположных потоков времени они из обыкновенных контрамотов, воспринимающих нашу вселенную как фильм, пущенный наоборот, превратились в контрамотов дискретного типа. Природа этой дискретности нас пока не интересует. Важно другое. Важно то, что жизнь их в нашей вселенной стала подчинена определенному ритмическому циклу. Если предположить для простоты, что единичный цикл был у них равен земным суткам, то существование их, с нашей точки зрения, выглядело бы так. В течение, скажем, первого июля они живут, работают и питаются совершенно как мы. Однако ровно, скажем, в полночь они вместе со всем своим оборудованием переходят не во второе июля, как это делаем мы, простые смертные, а в самое начало тридцатого июня, то есть не на мгновение вперед, а на двое суток назад, если рассуждать с нашей точки зрения. Точно так же в конце тридцатого июня они переходят не в первое июля, а в самое начало двадцать девятого июня. И так далее. Оказавшись в непосредственной близости от Земли, наши контрамоты с изумлением обнаружили, если не обнаружили этого еще раньше, что Земля совершает на своей орбите весьма странные скачки — скачки, чрезвычайно затрудняющие астронавигацию. Кроме того, находясь над Землею первого июля в нашем счете времени, они обнаружили в самом центре гигантского Евразийского материка мощный пожар, дым которого они наблюдали в могучие телескопы и раньше — второго, третьего и так далее июля в нашем счете времени. Катализм и сам по себе заинтересовал их, однако научное их любопытство было окончательно распалено, когда утром тридцатого июня — в нашем счете времени — они заметили, что никакого пожара нет и в помине, а под кораблем расстилается спокойное зеленое море тайги. Заинтригованный капитан приказал посадку в том самом месте, где он вчера — в его счете времени — своими глазами наблюдал эпицентр огненной катастрофы. Дальше пошло как полагается. Защелкали тумблеры, замерцали экраны, загремели планетарные двигатели, в которых взрывался ка-гамма-плазмоин...

— Как-как? — спросил Витька.

— Ка-гамма-плазмоин. Или, скажем, мю-дельта-ионопласт. Корабль, окутанный пламенем, рухнул в тайгу и, естественно, зажег ее. Именно эту картину и наблюдали крестьяне села Карелинского и другие люди, вошедшие впоследствии в историю как очевидцы. Пожар был ужасен. Контрамоты выглянули было наружу, затрепетали и решили переждать за тугоплавкими и жаростойкими стенами корабля. До полуночи они с трепетом прислушивались к свирепому реву и треску пламени, а ровно в полночь все вдруг стихло. И не удивительно. Контрамоты вступили в свой новый день — двадцать девятое июня по нашему времянисчислению. И когда отважный капитан с огромными предосторожностями решился около двух часов ночи высунуться наружу, он увидел в свете мощных прожекторов спокойно качающиеся сосны и тут же подвергся нападению тучи мелких кровососущих насекомых, известных под названием гнуса или мошки в нашей терминологии.

Роман перевел дух и оглядел нас. Нам очень нравилось. Мы предвкушали, как точно так же разделаем под орех тайну попугая.

— Дальнейшая судьба пришельцев-контрамотов, — продолжал Роман, — не должна нас интересовать. Может быть, числа пятнадцатого июня они тихо и бесшумно, используя на этот раз ничего не воспламеняющую альфа-бета-гамма-антигравитацию, снялись со странной планеты и вернулись домой. Может быть, они все до одного погибли, отравленные комариной слюной, а их космический корабль еще долго торчал на нашей планете, погружаясь в пучину времени, и на дне Силурийского моря по нему ползали трилобиты. Не исключено также, что где-нибудь в девяносто шестом или, скажем, в девяносто первом году набрел на него таежный охотник и долго потом рассказывал об этом приятелям, которые, как и следует быть, ни на грош ему не верили. Заканчивая свое выступление, я позволю себе выразить сочувствие славным исследователям, которые тщетно пытались обнаружить что-нибудь в районе Подкаменной Тунгуски. Завороженные очевидностью, они интересовались только тем, что происходило в тайге после взрыва, и никто из них не попытался узнать, что там было до о. Дикси¹.

Роман откашлялся и выпил кружку живой воды.

— У кого есть вопросы к докладчику? — осведомился

¹ *Dixi* — я сказал (лат.).

Эдик.— Нет вопросов? Превосходно. Вернемся к нашим популярным. Кто просит слова?

Слова просили все. И все заговорили. Даже Роман, который слегка охрип. Мы рвали друг у друга листочек со списком вопросов и вычеркивали вопросы один за другим, и через какие-нибудь полчаса была составлена исчерпывающее ясная и детально разработанная картина наблюдаемого явления.

В тысяча восемьсот сорок первом году в семье небогатого помещика и отставного армейского прапорщика Полуэкта Хрисанфовича Невструева родился сын. Назвали его Янусом в честь дальнего родственника Януса Полуэктовича Невструева, точно предсказавшего пол, а также день и даже час рождения младенца. Родственник этот, тихий, скромный старичок, переехал в поместье отставного прапорщика вскоре после наполеоновского нашествия, жил во флигеле и предавался ученым занятиям. Был он чудаковат, как и полагается ученым людям, со многими странностями, однако привязался к своему крестнику всей душой и не отходил от него ни на шаг, настойчиво внедряя в него познания из математики, химии и других наук. Можно сказать, что в жизни младшего Януса не было ни одного дня без Януса-старшего, и, верно, потому он не замечал того, чему дивились другие: старик не только не дряхел, но, напротив, становился будто бы даже сильнее и бодрее. К концу столетия старый Янус посвятил младшего в окончательные тайны аналитической, релятивистской и обобщенной магии. Они продолжали жить и трудиться бок о бок, участвуя во всех войнах и революциях, претерпевая более или менее мужественно все превратности истории, пока не попали, наконец, в Научно-исследовательский институт Чародейства и Волшебства...

Откровенно говоря, вся эта вводная часть являлась сплошной литературой. О прошлом Янусов мы достоверно знали только тот факт, что родился Я. П. Невструев седьмого марта тысяча восемьсот сорок первого года. Каким образом и когда Я. П. Невструев стал директором института, нам было совершенно неизвестно. Мы не знали даже, кто первый догадался и проговорился о том, что У-Янус и А-Янус — один человек в двух лицах. Я узнал об этом у Ойры-Ойры и поверили, потому что понять не мог. Ойра-Ойра узнал от Жиакомо и тоже поверили, потому что был молод и восхищен. Корнееву рассказала об этом уборщица, и Корнеев тогда решил, что сам факт настолько тривиален, что о нем не стоит размышлять. А Эдик слышал, как об этом разговаривали Саваоф Баалович и Федор

Симеонович. Эдик был тогда младшим препаратором и верил вообще во все, кроме бога.

Итак, прошлое Янусов представлялось нам весьма приблизительно. Зато будущее мы знали совершенно точно. А-Янус, который сейчас занят больше институтом, чем наукой, в недалеком будущем чрезвычайно увлечется идеей практической контрамоции. Он посвятит ей всю жизнь. Он заведет себе друга — маленького зеленого попугая по имени Фотон, которого подарят ему знаменитые русские космометчики. Это случится девятнадцатого мая не то тысяча девятьсот семьдесят третьего, не то две тысячи семьдесят третьего года — именно так хитроумный Эдик расшифровал таинственный номер 190573 на кольце. Вероятно, вскорости после этого А-Янус добьется, начонец, решительного успеха и превратит в контрамота и самого себя и попугая Фотона, который в момент эксперимента будет, конечно, сидеть у него на плече и просить сахарок. Именно в этот момент, если мы хоть что-нибудь понимаем в контрамоции, человеческое будущее лишится Януса Полуэктовича Невструева, но зато человеческое прошлое обретет сразу двух Янусов, ибо А-Янус превратится в У-Януса, и заскользит назад по оси времени. Они будут встречаться каждый день, но ни разу в жизни А-Янусу не придет в голову заподозрить, потому что ласковое морщинистое лицо У-Януса, своего дальнего родственника и учителя, он привык видеть с колыбели. И каждую полночь, ровно в ноль часов ноль-ноль минут ноль-ноль секунд ноль-ноль терций по местному времени А-Янус будет, как и все мы, переходить из сегодняшней ночи в завтрашнее утро, тогда как У-Янус и его попугай в тот самый момент, за мгновение, равное одному микрокванту времени, перейдет из нашей сегодняшней ночи в наше вчерашнее утро.

Вот почему попугай за номером один, два и три, наблюдавшиеся соответственно десятого, одиннадцатого и двенадцатого, были так похожи друг на друга: они были просто одним и тем же попугаем. Бедный старый Фотон! Может быть, его одолела старость, а может быть, его прохватил сквозняк, но он заболел и прилетел умирать на любимые весы в лаборатории Романа. Он умер, и его огорченный хозяин устроил ему огненное погребение и развеял его пепел, и сделал это потому, что не знал, как ведут себя мертвые контрамоты. А может быть, именно потому, что знал. Мы, естественно, наблюдали весь этот процесс, как кино с переставленными частями. Девятого Роман находит в печке уцелевшее перо Фотона. Трупа Фотона уже

нет, он сожжен завтра. Завтра, десятого, Роман находит его в чашке Петри. У-Янус находит покойника тогда же и там же и сжигает его в печи. Сохранившееся перо остается в печи до конца суток и в полночь перескаивает в девятое. Одиннадцатого с утра Фотон жив, хотя уже болен. Он издахает на наших глазах под весами (на которых он будет так любить сидеть теперь), и простодушный Саня Дрозд кладет его в чашку Петри, где покойник пролежит до полуночи, перескочит в утро десятого, будет найден там У-Янусом, сожжен, развеян по ветру, но перо его останется, пролежит до полуночи, перескочит в утро девятого, и там его найдет Роман. Двенадцатого с утра Фотон жив и бодр, он дает Корнееву интервью и просит сахарок, а в полночь перескочит в утро одиннадцатого, заболеет, умрет, будет положен в чашку Петри, в полночь перескочит в утро десятого, будет сожжен и развеян, но останется перо, которое в полночь перескочит в утро девятого, будет найдено Романом и брошено в мусорную корзину. Тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого и так далее Фотон, на радость всем нам, будет весел, разговорчив, и мы будем баловать его, кормить сахарком и зернышками перца, а У-Янус будет приходить и спрашивать, не мешает ли он нам работать. Применяя ассоциативный допрос, мы сможем узнать от него много любопытного относительно космической экспансии, человечества и, несомненно, кое-что о нашем собственном, личном будущем.

Когда мы дошли до этого пункта рассуждений, Эдик вдруг помрачнел и заявил, что ему не нравятся намеки Фотона на его, Амперяна, бевременную смерть. Чуждый душевного такта Корнеев заметил на это, что любая смерть мага всегда бевременна и что тем не менее мы все там будем. И вообще, сказал Роман, может быть, он будет тебя любить сильнее всех нас и только твою смерть запомнит. Эдик понял, что у него еще есть шансы умереть позже нас, и настроение его улучшилось.

Однако разговор о смерти направил наши мысли в меланхолическое русло. Мы все, кроме Корнеева, конечно, вдруг начали жалеть У-Януса. Действительно, если подумать, положение его было ужасно. Во-первых, он являл собою образец гигантского научного бескорыстия, потому что практически был лишен возможности пользоваться плодами своих идей. Далее, у него не было никакого светлого будущего. Мы шли в мир разума и братства, он же с каждым днем уходил навстречу Николаю Кровавому, крепостному праву, расстрелу

на Сенатской площади и — кто знает? — может быть, навстречу аракчеевщине, бироновщине, опричнице. И где-то в глубине времен, на вощеном паркете Санкт-Петербургской де Сианс Академии его встретит в один скверный день коллега в напудренном парике — коллега, который вот уже неделю как-то странно к нему приглядывается — ахнет, всплеснет руками и с ужасом в глазах пробормочет: «Герр Нефструефф!.. Как же это?.. Федь фчера ф «Федомостях» определенно писали, что фы скончались от удар...» И ему придется говорить что-то о брате-близнеце или о фальшивых слухах, зная и прекрасно понимая, что означает этот разговор...

— Бросьте, — сказал Корнеев. — Распустили слюни. Зато он знает будущее. Он уже побывал там, куда нам еще идти и идти. И он, может быть, прекрасно знает, когда мы все помрем.

— Это совсем другое дело, — сказал грустно Эдик.

— Старику тяжело, — сказал Роман. — Извольте относиться к нему поласковее и потеплее. Особенно ты, Витьяка. Вечно ты ему хамишь.

— А что он ко мне пристает? — огрызнулся Витьяка. — О чём беседовали да где виделись...

— Вот теперь ты знаешь, чего он к тебе пристает, и веди себя прилично.

Витьяка наступил и стал демонстративно рассматривать листок со списком вопросов.

— Надо объяснять ему все поподробнее, — сказал я. — Все, что сами знаем. Надо постоянно предсказывать ему его ближайшее будущее.

— Да, черт возьми, — сказал Роман. — Он этой зимой ногу сломал. На гололеде.

— Надо предотвратить, — решительно сказал я.

— Что? — спросил Роман. — Ты понимаешь, что ты говоришь? Она у него уже давно срослась...

— Но она у него еще не сломана, — возразил Эдик.

Несколько минут мы пытались все сообразить. Витьяка вдруг сказал:

— Постойте-ка! А это что такое? Один вопрос у нас, ребята, не вычеркнут...

— Какой?

— Куда девалось перо?

— Ну как куда? — сказал Роман. — Перенеслось в восьмое. А восьмого я как раз печку включал, расплав делал...

— Ну и что из этого?

— Да, ведь я же его бросил в корзинку... Восьмого, седьмого, шестого я его не видел... Гм... Куда же оно делось?

— Уборщица выбросила, — предположил я.

— Вообще об этом интересно подумать, — сказал Эдик. — Предположим, что его никто не сжег. Как оно должно выглядеть в веках?

— Есть вещи поинтереснее, — сказал Витька. — Например, что происходит с ботинками Януса, когда он доносит их до дня их изготовления на фабрике «Скороход»? И что бывает с пищей, которую он съедает за ужином? И вообще...

Но мы были уже слишком утомлены. Мы еще немногого поспорили, потом пришел Саня Дрозд, вытеснил нас, спорящих, с дивана, включил свою «Спидолу» и стал просить два рубля. «Ну дайте», — ныл он. «Да нет у нас», — отвечали мы ему. «Ну, может, последние есть... Дали бы!..» Спорить стало невозможно, и мы решили идти обедать.

— В конце концов, — сказал Эдик, — наша гипотеза не так уж фантастична. Может быть, судьба У-Януса гораздо удивительнее.

Очень может быть, подумали мы и пошли в столовую.

Я забежал на минутку в электронный зал сообщить, что ухожу обедать. В коридоре я налетел на У-Януса, который внимательно на меня посмотрел, улыбнулся почему-то и спросил, не виделись ли мы с ним вчера.

— Нет, Янус Полуэктович, — сказал я. — Вчера мы с вами не виделись. Вчера вас в институте не было. Вы вчера, Янус Полуэктович, прямо с утра улетели в Москву.

— Ах да, — сказал он. — Я запамятовал.

Он так ласково улыбался мне, что я решился. Это было немножко нагло, конечно, но я твердо знал, что последнее время Янус Полуэктович относился ко мне хорошо, а значит, никакого особенного инцидента у нас с ним сейчас произойти не могло. И я спросил вполголоса, осторожно оглядевшись:

— Янус Полуэктович, разрешите, я вам задам один вопрос?

Подняв брови, он некоторое время внимательно смотрел на меня, а потом, видимо вспомнив что-то, сказал:

— Пожалуйста, прошу вас. Только один?

Я понял, что он прав. Все это никак не влезало в один вопрос. Случится ли война? Выйдет ли из меня толк? Найдут ли рецепт всеобщего счастья? Умрет ли когда-нибудь последний дурак?.. Я сказал:

— Можно, я зайду к вам завтра с утра?

Он покачал головой и, как мне показалось, с некоторым злорадством ответил:

— Нет. Это никак невозможно. Завтра с утра вас, Александр Иванович, вызовет Китеjkградский завод, и мне придется дать вам командировку.

Я почувствовал себя глупо. Было что-то унизительное в этом детерминизме, обрекавшем меня, самостоятельного человека со свободой воли, на совершенно определенные, не зависящие теперь от меня дела и поступки. И речь шла совсем не о том, хотелось мне ехать в Китеjkград или не хотелось. Речь шла о неизбежности. Теперь я не мог ни умереть, ни заболеть, ни закапризничать («вплоть до увольнения!»), я был обречен, и впервые я понял ужасный смысл этого слова. Я всегда знал, что плохо быть обреченным, например, на казнь или слепоту. Но быть обреченным даже на любовь самой славной девушки в мире, на интереснейшее кругосветное путешествие и на поездку в Китеjkград (куда я, кстати, рвался уже три месяца) тоже, оказывается, может быть крайне неприятно. Знание будущего представилось мне совсем в новом свете...

— Плохо читать хорошую книгу с конца, не правда ли? — сказал Янус Полуэктович, откровенно за мною наблюдавший. — А что касается ваших вопросов, Александр Иванович, то... Постарайтесь понять, Александр Иванович, что не существует единственного для всех будущего. Их много, и каждый ваш поступок творит какое-нибудь из них. Вы это поймете, — сказал он убедительно. — Вы это обязательно поймете.

Позже я действительно это понял.

Но это уже совсем-совсем другая история.





ПОСЛЕСЛОВИЕ И КОММЕНТАРИЙ

Краткое послесловие и комментарий
и. о. заведующего вычислительной лаборатории НИИЧАВО
младшего научного сотрудника
А. И. Привалова

Предлагаемые очерки из жизни Научно-исследовательского института Чародейства и Волшебства не являются, на мой взгляд, реалистическими в строгом смысле этого слова. Однако они обладают достоинствами, которые выгодно отличают их от аналогичных по теме опусов Г. Проницательного и Б. Питомника и позволяют рекомендовать их широкому кругу читателей.

Прежде всего следует отметить, что авторы сумели разобраться в ситуации и отделить прогрессивное в работе инсти-

тута от консервативного. Очерки не вызывают того раздражения, которое испытываешь, читая восхищенные статьи о конъюнктурных фокусах Выбегаллы или восторженные переложения безответственных прогнозов сотрудников из отдела Абсолютного Знания. Далее, приятно отметить верное отношение авторов к магу, как к человеку. Маг для них — не объект опасливого восхищения и преклонения, но и не раздражающий кинодурак, личность не от мира сего, которая постоянно теряет очки, не способна дать по морде хулигану и читает влюбленной девушке избранные места из «Курса дифференциального и интегрального исчисления». Все это означает, что авторы взяли верный тон. К достоинствам очерков можно отнести и то, что авторы дали институтские пейзажи с точки зрения новичка, а также не просмотрели весьма глубокого соотношения между законами административными и законами магическими. Что же касается недостатков очерков, то подавляющее большинство из них определяется изначальной гуманитарной направленностью авторов. Будучи профессиональными литераторами, авторы сплошь и рядом предпочитают так называемую художественную правду так называемой правде факта. И будучи профессиональными литераторами, авторы, как и большинство литераторов, назойливо эмоциональны и прискорбно невежественны в вопросах современной магии. Никак не возражая против опубликования данных очерков, я тем не менее считаю необходимым указать на некоторые конкретные погрешности и ошибки.

1. Название очерков, как мне кажется, не вполне соответствует содержанию. Используя эту действительно распространенную у нас поговорку, авторы, видимо, хотели сказать, что маги работают непрерывно, даже когда отдыхают. Это в самом деле почти так и есть. Но в очерках этого не видно. Авторы излишне увлеклись нашей экзотикой и не сумели избежать соблазна дать побольше завлекательных приключений и эффектных эпизодов. Приключения духа, которые составляют суть жизни любого мага, почти не нашли отражения в очерках. Я, конечно, не считаю последней главы третьей части, где авторы хотя и попытались показать работу мысли, но сделали это на неблагодарном материале довольно элементарной дилетантской логической задачи. (Кстати, я излагал авторам свою точку зрения по этому вопросу, но они пожали плечами и несколько обиженно сказали, что я отношусь к очеркам слишком серьезно.)

2. Упомянутое уже невежество в вопросах магии как науки играет с авторами злые шутки на протяжении всей книги.

Так, например, формулируя диссертационную тему М. Ф. Редькина, они допустили четырнадцать (!) фактических ошибок. Солидный термин «гиперполе», который им, очевидно, очень понравился, они вставляют в текст сплошь и рядом неуместно. Им, по-видимому, невдомек, что диван-транслятор является излучателем не М- поля, а мю- поля; что термин «живая вода» вышел из употребления в позапрошлом веке; что таинственного прибора под названием аквавитометр и электронной машины под названием «Алдан» в природе не существует; что заведующий вычислительной лабораторией крайне редко занимается проверкой программ — для этого существуют математики-программисты, которых в нашей лаборатории двое и которых авторы упорно называют девочками. Описание упражнений по материализации в первой главе второй части сделано безобразно: на совести авторов остаются дикие термины «вектор-магистатум» и «заклинание Ауэрса»; уравнение Стокса не имеет к материализации никакого отношения, а Сатурн в описываемый момент никак не мог находиться в созвездии Весов. (Этот последний ляпсус тем более непростителен, что, насколько я понял, один из авторов является астрономом-профессионалом.) Список такого рода по-грешностей и нелепостей можно было бы без труда продолжить, однако я не делаю этого, потому что авторы наотрез отказались что-либо исправлять. Выбросить непонятную им терминологию они тоже отказались: один заявил, что терминология необходима для антуража, а другой — что она создает колорит. Впрочем, я был вынужден согласиться с их соображением о том, что подавляющее большинство читателей вряд ли окажется способным отличить правильную терминологию от ошибочной и что какая бы терминология ни налипчивала, все равно ни один разумный читатель ей не поверит.

3. Стремление к упомянутой выше художественной правде (по выражению одного из авторов) и к типизации (по выражению другого) привело к значительному искажению образов реальных людей, участвующих в повествовании. Авторы вообще склонны к нивелировке героев, и потому более или менее правдоподобен у них разве что Выбегалло и в какой-то степени Кристобаль Хозевич Хунта (я не считаю эпизодического образа вурдалака Альфреда, который получился лучше, чем кто-ни-

будь другой). Например, авторы твердят, что Корнеев груб, и воображают, будто читатель сможет составить себе правильное представление об этой грубости. Да, Корнеев действительно груб. Но именно поэтому описанный Корнеев выглядит «полупрозрачным изобретателем» (в терминологии самих авторов) по сравнению с Корнеевым реальным. То же относится и к пресловутой вежливости Э. Амперяна. Р. П. Ойра-Ойра в очерках совершенно бесплотен, хотя именно в описываемый период он разводился со второй женой и собирался жениться в третий раз. Приведенных примеров, вероятно, достаточно для того, чтобы читатель не придавал слишком много веры моему собственному образу в очерках.

Авторы попросили меня объяснить некоторые непонятные термины и малознакомые имена, встречающиеся в книге. Выполняя эту просьбу, я встретился с определенными затруднениями. Естественно, объяснить терминологию, выдуманную авторами («аквавитометр», «тимпоральная передача» и т. п.), я не собираюсь. Но я не думаю, что большую пользу принесло бы объяснение даже реально существующих терминов, требующее основательных специальных знаний. Невозможно, например, объяснить термин «гиперполе» человеку, плохо разбирающемуся в теории физического вакуума. Термин «трансгрессия» еще более емок, и вдобавок разные школы употребляют его в разных смыслах. Короче говоря, я ограничился комментарием к некоторым именам, терминам и понятиям, достаточно широко распространенным, с одной стороны, и достаточно специфичным в нашей работе — с другой. Кроме того, я откомментировал несколько слов, не имеющих прямого отношения к магии, но могущих вызвать, на мой взгляд, недоумение читателя.

А в г ú р ы К. — В древнем Риме жрецы, предсказывавшие будущее по полету птиц и по их поведению. Подавляющее большинство из них было сознательными жуликами. В значительной степени это относится и к институтским авгурам, хотя теперь у них разработаны новые методы.

А на ц е ф á л — урод, лишенный головного мозга и черепной коробки. Обыкновенно анацефалы умирают при рождении или несколько часов спустя.

Бе цалéль, Лев Бен — известный средневековый маг, придворный алхимик императора Рудольфа II.

В ампíр — см. в урдалак.



В аси лíс к. — В сказках — чудовище с телом петуха и хвостом змеи, убивающее взглядом. На самом деле — ныне почти вымерший древний ящер, покрытый перьями, предпоставленник первоптицы археоптерикса. Способен гипнотизировать. В виварии института содержатся два экземпляра.

В ер бóль ф — см. об ороте нь.

В урдалáк — см. у пýрь.



Г áр п и и. — В греческой мифологии — боги-ни вихря, а в действительности — разновидность нежити, побочный продукт экспериментов ранних магов в области селекции. Имеют вид больших рыжих птиц со старушечьими головами, очень неопрятны, прожорливы и сварливы.

Г ý д р а. — У древних греков — фантастическая многоголовая водяная змея. У нас в институте — реально существующая многоголовая рептилия, дочь З. Горыныча и плезиозаврихи из озера Лох-Несс.



Г н о м. — В западноевропейских сказаниях — безобразный карлик, охраняющий подземные сокровища. Я разговаривал с некоторыми из гномов. Они действительно безобразны и действительно карлики, но

ни о каких сокровищах они понятия не имеют. Большинство гномов — это забытые и сильно усохшие дубли.



Голем — один из первых кибернетических роботов, сделан из глины Львом Бен Бецалелем. (См., например, чехословацкую кинокомедию «Пекарь императора». Тамошний Голем очень похож на настоящего.)

Гомункулус. — В представлении неграмотных средневековых алхимиков — человекоподобное существо, созданное искусственно в колбе. На самом деле в колбе искусственное существо создать нельзя. Гомункулусов синтезируют в специальных автоклавах и используют для биомеханического моделирования.

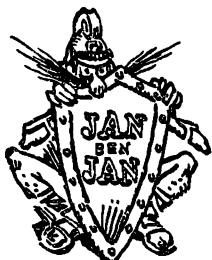
Данайды. — В греческой мифологии — преступные дочери царя Даная, убившие по его приказанию своих мужей. Сначала были осуждены наполнять водой бездонную бочку. Впоследствии, при пересмотре дела, суд принял во внимание тот факт, что замуж они были отданы насилию. Это смягчающее обстоятельство позволило перевести их на несколько менее бессмысленную работу: у нас в институте они занимаются тем, что взламывают асфальт везде, где сами его недавно положили.

Демон Максвэлла — важный элемент мысленного эксперимента крупного английского физика Максвэлла. Предназначался для нападения на второй принцип термодинамики. В мысленном эксперименте Максвэлла демон располагается рядом с отверстием в переборке, разделяющей сосуд,



наполненный движущимися молекулами. Работа демона состоит в том, чтобы выпускать из одной половины сосуда в другую быстрые молекулы и закрывать отверстие перед носом медленных. Идеальный демон способен таким образом без затраты труда создать очень высокую температуру в одной половине сосуда и очень низкую — в другой, осуществляя вечный двигатель второго рода. Однако только сравнительно недавно и только в нашем институте удалось найти и приспособить к работе таких демонов.

Джинн — злой дух арабских и персидских мифов. Почти все джинны являются дублями царя Соломона и современных ему магов. Использовались в военных и политико-хулиганских целях. Отличаются отвратительным характером, наглостью и полным отсутствием чувства благодарности. Невежественность и агрессивность их таковы, что почти все они находятся в заключении. В современной магии широко используются в качестве подопытных существ. В частности, Э. Амперян на материале тринацати джиннов определял количество зла, которое может причинить обществу злобный невежественный дурак.



Джян Бен Джян — либо древний изобретатель, либо древний воитель. Имя его всегда связано с понятием щита и отдельно не встречается. (Упоминается, например, в «Искушении святого Антония» Г. Флобера.)

Домовой. — В представлении суеверных людей — некое сверхъестественное существо, обитающее в каждом обжитом доме. Ничего сверхъестественного в домовых нет. Это либо вконец опустившиеся маги, не поддающиеся перевоспитанию, либо помеси гномов с некоторыми домашними животными. В институте находятся под началом М. М. Каменоедова и используются для подсобных работ, не требующих квалификации.

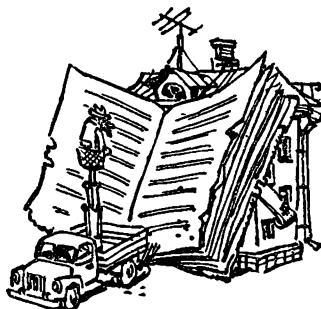
Дра́кула, граф — знаменитый венгерский вурдалак XVII — XIX вв. Графом никогда не был. Совершил массу преступлений против человечности. Был изловлен гусарами и торжественно проткнут осиновым колом при большом скоплении народа. Отличался необычайной жизнеспособностью: вскрытие обнаружило в нем полтора килограмма серебряных пуль.



Звезда Соломона. — В мировой литературе — магический знак в виде шестиконечной звезды, обладающий волшебными свойствами. В настоящее время, как и подавляющее большинство других геометрических знаков, потерял всякую силу и годен исключительно для запугивания невежественных людей.

Инку́б — разновидность оживших мертвецов, имеет обыкновение вступать в браки с живыми. Не бывает. В теоретической магии термин «инкуб» употребляется в совершенно другом смысле: мера отрицательной энергии живого организма.

Инкуна́бula. — Так называют первые печатные книги. Некоторые из инкунабул отличаются поистине гигантскими размерами.



Ифрит — разновидность джина. Как правило, ифриты — это хорошо сохранившиеся дубли крупнейших арабских военачальников. В институте используются М. М. Каменоедовым в качестве вооруженной охраны, так как отличаются от прочих джинов высокой дисциплинированностью. Механизм огнеметания ифритов изучен слабо и вряд ли будет когда-нибудь изучен досконально, потому что никому не нужен.

Када́р — вообще говоря, оживленный неодушевленный предмет: портрет, статуя, идол, чучело. (См., например, А. Н. Толстой, «Граф Калиостро».) Одним из первых в истории



кадавров была небезызвестная Галатея работы скульптора Пигмалиона. В современной магии кадавры не используются. Как правило, они феноменально глупы, капризны, истеричны и почти не поддаются дрессировке. В институте кадаврами иногда иронически называют неудавшихся дублей и дублекомандных сотрудников.

Л е в и т а ц и я — способность летать без каких бы то ни было технических приспособлений. Широко известна левитация птиц, летучих мышей и насекомых.

«М о л о т в е дьм» — старинное руководство по допросу третьей степени. Составлено и применялось церковниками специально в целях выявления ведьм. В новейшие времена отменено как устаревшее.



О б о р о т е н ь — человек, способный превращаться в некоторых животных: в волка (вервольф), в лисицу (кициунэ) и т. д. У суеверных людей вызывает ужас, непонятно почему. В. П. Корнеев, например, когда у него разболелся зуб мудрости, обернулся петухом, и ему сразу полегчало.

О р á к у л — по представлениям древних, средство общения богов с людьми: полет птицы (у авгур), шелест деревьев, бред прорицателя и т. д. Оракулом называлось также и место, где давались предсказания. «Соловецкий Оракул» — это небольшая темная комната, где уже много лет проектируется установить мощную электронно-счетную машину для мелких прорицаний.

П í ф и я — жрица-прорицательница в Древней Греции. Вещала, надышавшись ядовитых испарений. У нас в институте пифии не практикуют. Очень много курят и занимаются общей теорией предсказаний.



Рамапите́к — по современным представлениям, непосредственный предшественник питеакантропа на эволюционной лестнице.

Сэгю́р Риша́р — герой фантастической повести «Загадка Ришара Сэгюра», открывший способ объемной фотографии.

Такси́дермист — чучельник, набивщик чучел. Я порекомендовал авторам это редкое слово, потому что К. Х. Хунта приходит в ярость, когда его называют просто чучельником.

Те́рци́я — одна шестидесятая часть секунды.

Три́ба — здесь: племя. Решительно не понимаю, зачем издателям Книги Судеб понадобилось называть племя рамапите́ков трибой.

«Упанишады» — древнеиндийские комментарии к четырем священным книгам.

Упы́рь — кровососущий мертвец народных сказок. Не бывает. В действительности упыри (вурдалаки, вампиры) — это маги, вставшие по тем или иным причинам на путь абстрактного зла. Исконное средство против них — осиновый кол и пули, отлитые из самородного серебра. В тексте слово «упырь» употребляется везде в переносном смысле.

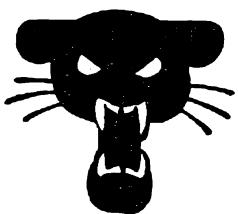


Фантом — призрак, привидение. По современным представлениям — сгусток некробиотической информации. Фантомы вызывают суеверный ужас, хотя совершенно безобидны. В институте их используют для уточнения исторической правды, хотя юридически считаться очевидцами они не могут.

A. Приевлов

ПАРЕНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ



Другой раз встретишь такого
и подумаешь: вроде парень ничего.
А он, глядишь, разинет рот да и пой-
дет съшать трескучими словесами: гос-
подствующая раса, безоговорочная пре-
данность, фанатическая воля, ну, в
общем, крутит шарманку...

Д. Иолль
«Приключения Вернера Хольта»

Я по профессии учитель, таких ре-
бят, как вы, я готовлю к выпускным
экзаменам и хочу делать это и впредь.
Что же мне, преподавать в пустых клас-
сах? Постарайтесь продержаться! Ког-
да с войной будет покончено, тогда-то
и начнется тяжелая борьба...

Там же



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ну и деревня! Сроду я таких деревень не видел и не знал даже, что такие деревни бывают. Дома круглые, бурье, без окон, торчат на сваях, как сторожевые вышки, а под ними чего только не навалено — горшки какие-то здоровенные, котрыта, ржавые котлы, деревянные грабли, лопаты... Земля между домами — глина, и до того она выжжена и выпотапана, что даже блестит. И везде, куда ни поглядишь, — сети. Сухие. Что они здесь этими сетями ловят — я не знаю: справа болото, слева болото, воняет, как на помойке... Жуткая дыра. Тысячу лет они здесь гнили и, если бы не герцог, гнили бы еще тысячу лет. Север. Дичь. И жителей, конечно, никого не видать. То ли удрали, то ли угнали их, то ли они попрятались.

На площади около фабрики дымила полевая кухня, снятая с колес. Здоровенный дикобраз — поперек себя шире — в грязном белом фартуке поверх грязной серой формы ворочал в кotle черпаком на длинной ручке. По-моему, от этого котла главным образом и воняло по деревне. Мы подошли, и Гепард, задержавшись, спросил, где командир. Это животное даже не обернулось — буркнул что-то в свое варево и ткнул черпаком в грязную форму.

ком куда-то вдоль улицы. Поддал я ему носком сапога под крестец, он живо повернулся, увидел нашу форму и сразу встал как положено. Морда у него оказалась под стать окорокам, да еще не бритая целую неделю, у дикобраза.

— Так где у вас тут командир? — снова спрашивал Гепард, упервшись тросточкой ему в жирную шею под двойным подбородком.

Дикобраз выкатил глаза, пощелпал губами и просипел:

— Виноват, господин старший наставник... Господин штаб-майор на позициях... Извольте вот по этой улице... прямо на окраине... Примите извинения, господин старший наставник...

Он еще что-то там сипел и булькал, а из-за угла фактории выволоклись два новых дикобраза — еще страшнее этого, совсем уже чучела огородные, без оружия, без головных уборов — увидели нас и обомлели по стойке «смирно». Гепард только посмотрел на них, вздохнул да и зашагал дальше, постукивая тросточкой по голенищу.

Да, вовремя мы сюда подоспели. Эти дикобразы, они бы нам тут навоевали. Всего-то я только троих пока еще видел, но уже меня от них тошнит, и уже мне ясно, что такая вот, извините за выражение, воинская часть, из тыловой вши сколоченная, да еще наспех, да еще кое-как, все эти полковые пекари, бригадные сапожники, писаря, интенданты — ходячее удобрение, смазка для штыка. Имперские бронеходы прошли бы сквозь них и даже не заметили бы, что тут кто-то есть. Гуллючи.

Тут нас окликнули. Слева, между двумя домами, был натянут маскировочный тент и висела бело-зеленая тряпка на шесте. Медпункт. Еще двое дикобразов неторопливо копались в зеленых вьюках с медикаментами, а на циновках, брошенных прямо на землю, лежали раненые. Всего раненых было трое; один, с забинтованной головой, приподнявшись на локте, смотрел на нас. Когда мы обернулись, он снова позвал:

— Господин наставник! На минуточку, прошу вас!..

Мы подошли. Гепард опустился на корточки, а я остался стоять за его спиной. На раненом не было видно никаких знаков различия, был он в драном, обгоревшем маскировочном комбинезоне, расстегнутом на голой волосатой груди, но по лицу его, по бешеным глазам с опаленными ресницами я сразу понял, что уж это-то не дикобраз, ребята, нет, этот — из настоящих. И точно.

— Бригад-егерь барон Трэгг, — представился он. Будто

гусеницы лягнули.— Командир отдельного восемнадцатого отряда лесных егерей.

— Старший наставник Дигга,— сказал Гепард.— Слушаю тебя, брат-храбрец.

— Сигарету...— попросил барон каким-то сразу севшим голосом.

Пока Гепард доставал портсигар, он торопливо продолжал:

— Попал под огнемет, опалило, как свинью... Слава богу, болото рядом, забрался по самые брови... Но сигареты — в кашу... Спасибо...

Он затянулся, прикрыв глаза, и сейчас же надсадно заскальялся, весь посинел, задергался, из-под повязки на щеку выползла капля крови и застыла. Как смола. Гепард, не оборачиваясь, протянул ко мне через плечо руку и щелкнул пальцами. Я сорвал с пояса флягу, подал. Барон сделал несколько глотков, и ему вроде бы полегчало. Двое других раненых лежали неподвижно — то ли они спали, то ли уже отошли. Санитары глядели на нас боязливо. Не глядели даже, а так, поглядывали.

— Славно...— произнес барон Трэгг, возвращая флягу.— Сколько у тебя людей?

— Четыре десятка,— ответил Гепард.— Флягу оставь... Оставь себе.

— Сорок... Сорок Бойцовых Котов...

— Котят,— сказал Гепард.— К сожалению... Но мы сделаем все, что сумеем.

Барон смотрел на него из-под сгоревших бровей. В глазах у него была мука.

— Слушай, брат-храбрец,— сказал он.— У меня никого не осталось. Я отступаю от самого перевала, трое суток. Непрерывные бои. Крысоеды прут на бронекодах. Я сжег штук двадцать. Последние два — вчера... здесь, у самой околицы... увидишь. Этот штаб-майор... дурак и трус... старая рухлядь... Я его застрелить хотел, но ведь ни одного патрона не осталось. Представляешь? Ни одного патрона! Прятался в деревне со своими дикобразами и смотрел, как нас выжигают одного за другим... О чём это я? Где бригада Гагрида? Рация вдребезги... Последнее: «Держись, бригада Гагрида на подходе...» Слушай, сигарету... И сообщи в штаб, что восемнадцатого отдельного бойни нет.

Он уже бредил. Бешеные глаза его затянулись мутью, язык едва ворочался. Он повалился на спину и все говорил, говорил,

бормотал, хрюпал, а скрюченные пальцы его беспокойно шарили вокруг, вцепляясь то в края циновки, то в комбинезон. Потом он вдруг затих на полуслове, и Гепард поднялся. Он медленно вытащил сигарету, не сводя глаз с запрокинутого лица, щелкнул зажигалкой, потом наклонился и положил портсигар вместе с зажигалкой рядом с черными пальцами, и пальцы жадно вцепились в портсигар и сжали его, а Гепард, не говоря ни слова, повернулся, и мы двинулись дальше.

Я подумал, что это, пожалуй, милосердно — бригад-егерь потерял сознание как раз вовремя. А то пришлось бы услышать ему, что бригады Гагрида тоже уже нет. Накрыли ее этой ночью на рокаде бомбовым ковром — два часа мы расчищали шоссе от обломков машин, отгоняя сумасшедших, лежащих под грузовики, чтобы спрятаться. От самого Гагрида мы нашли только генеральскую фуражку, заскорузлую от крови... Меня холодом продрало, когда я все это вспомнил, и я невольно взглянул на небо и порадовался, какое оно низкое, серое и беспрозветное.

Первое, что мы увидели, выйдя за окопицу, был имперский бронекод, съехавший с дороги и завалившийся носом в деревенский колодец. Он уже остыл, трава вокруг него была покрыта жирной копотью, под распахнутым бортовым люком валялся дохлый крысоед — все на нем сгорело, остались только рыжие ботинки на тройной подошве. Хорошие у крысоедов ботинки. У них ботинки хорошие, бронекоды, да еще, пожалуй, бомбардировщики. А солдаты они, как всем известно, никуда не годные. Шакалы.

— Как тебе нравится эта позиция, Гаг? — спросил Гепард.

Я огляделся. Ну и позиция! Я прямо глазам своим не поверили. Дикобразы отрыли себе окопы по обе стороны от дороги, посередине поляны между окопицей и джунглями. Джунгли стеной стояли перед окопами шагах ну в пятидесяти, никак не больше. Можешь там накопить полк, можешь — бригаду, что хочешь, в окопах об этом не узнают, а когда узнают, то сделать уже все равно ничего не смогут. Окопы на левом фланге имели позади себя трясину. Окопы на правом фланге имели позади себя ровное поле, на котором раньше было что-то посеяно, а теперь все сгорело. Да-а-а...

— Не нравится мне эта позиция, — сказал я.

— Мне тоже, — сказал Гепард.

Еще бы! Здесь ведь была не только эта позиция. Здесь

вдобавок еще были дикобразы. Было их тут штук сто, не меньше, и они бродили по этой своей позиции, как по базару. Одни, значит, собравшись кружками, палили костры. Другие просто стояли, засунув руки в рукава. А третьи бродили. Возле окопов валялись винтовки, торчали пулеметы, бессмысленно задрав хоботы в низкое небо. Посередине дороги, увязнув в грязи по ступицы, ни к селу ни к городу пребывал ракетомет. На лафете сидел пожилой дикобраз — то ли часовой, то ли просто так присел, устав бродить. Впрочем, вреда от него не было: сидел себе и ковырял щепочкой в ухе.

Кисло мне стало от всего этого. Эх, будь моя воля — по-лоснул бы я по всему этому базару из пулемета... Я с надеждой посмотрел на Гепарда, но Гепард молчал и только водил своим горбатым носом слева направо и справа налево.

Позади раздались рассерженные голоса, и я оглянулся. Под лестницей крайнего дома ссорились два дикобраза. Не по-делили они между собой деревянное корыто — каждый тянул к себе, каждый изрыгал черную брань, и вот по этим я бы по-лоснул с особенным удовольствием. Гепард сказал мне:

— Приведи.

Я мигом подскочил к этим охламонам, стволом автомата дал по рукам одному, дал другому и, когда они уставились на меня, выронивши свое корыто, мотнул им головой в сторону Гепарда. Не пикнули даже. Их обоих сразу потом прошибло, как в бане. Утираясь на ходу рукавами, они трусцой подбежали к Гепарду и застыли в двух шагах перед ним.

Гепард неторопливо поднял трость, примерился, словно в бильярд играл, и врезал — прямо по мордам, одному раз и другому раз, а потом посмотрел на них, на скотов, и только сказал:

— Командира ко мне. Быстро.

Нет, ребята. Все-таки Гепард явно не ожидал, что здесь будет до такой степени плохо. Конечно, хорошего ждать не приходилось. Уж если Бойцовых Котов бросают затыкать прорыв, то всякому ясно: дело дрянь. Но такое!.. У Гепарда даже кончик носа побелел.

Наконец появился ихний командир. Выбралась из-за домов, застегивая на ходу китель, длинная заспанная жердь в серых бакенбардах. Лет ей пятьдесят, не меньше. Нос красный, весь в прожилках, захвачанное пальцами пенсне, как носили штабные в ту войну, на длинном подбородке — мокрые крошки жевательного табака. Представился он нам штаб-майором и попытался перейти с Гепардом на «ты». Куда там! Гепард

такого морозу на него напустил, что он как-то даже ростом приуменьшился: сначала был на полголовы длиннее, а через минуту смотрю — змеиное молоко! — он уже снизу вверх на Гепарда смотрит, седенький такой старишака.

В общем, выяснилось такое дело. Где противник и сколько его, штаб-майору не известно; задачей своей имеет штаб-майор удержать деревню до подхода подкреплений; боевая сила его состоит из ста шестнадцати солдат при восьми пулеметах и двух ракетометах; почти все солдаты — ограниченно годные, а после вчерашнего марш-броска двадцать семь из них лежат вон в тех домах кто с потерстями, кто с грыжей, кто с чем...

— Послушайте, — сказал вдруг Гепард. — Что это у вас там делается?

Штаб-майор оборвал себя на середине фразы и посмотрел, куда указывала полированная тросточка. Ну и глазища все-таки у нашего Гепарда! Только сейчас я заметил: в самом большом кружке около одного из костров среди серых курток наших дикобразов гнусно маячат полосатые комбинезоны имперской бронепехоты. Змеиное молоко! Раз, два, три... Четыре крысоеда у нашего костра, и эти свиньи с ними чуть ли не в обнимку. Курят. И еще гогочут чего-то...

— Это? — произнес штаб-майор и кроличьими своими глазами посмотрел на Гепарда. — Вы о пленных, господин старший наставник?

Гепард не ответил. Штаб-дикобраз снова нацепил пенсне и пустился в объяснения. Это, видите ли, пленные, но к нам они, видите ли, никакого отношения не имеют. Захвачены во вчерашнем бою егерями. Не имея средств транспорта, а также за недостатком личного состава для надлежащей охраны...

— Гаг, — произнес Гепард. — Отведи их и сдай Клещу. Только сначала пусть допросит...

Я щелкнул затвором и пошел к костру.

Дикобразы заметили меня еще издали, разом замолчали и принялись потихоньку расползаться кто куда. А у некоторых, видно, ноги отнялись со страха: как сидели, так и сидят, выпучив глаза. А полосатые — так те аж серые сделались, знают нашу эмблему, крысоеды, наслышаны!

Я приказал им встать. Они встали. Нехотя. Я приказал им построиться. Построились, деваться некуда. Белобрысый принял было что-то лопотать по-нашему — я ткнул ему стволом между ребер, и он замолчал. Так они у меня и пошли —



гуськом, понутившись, заложив руки за спину. Крысы. И запах-то от них какой-то крысиный... Двое — крепкие мушки, плечистые, а двое, видно, из последнего набора, хлипкие сопляки, чуть, может, постарше меня.

— Бегом марш! — гаркнул я по-ихнему.

Побежали. Медленно бегут, плохо. Белобрысый этот хромает. Тяжело раненный, значит, ногу в бане подвернул. Ничего, дохромаешь.

Добежали мы до того края деревни, а там и грузовики — ребята увидели нас, заорали, засвистели. Я выбрал лужу побольше, положил пленных в грязь и пошел к переднему грузовику, где Клещ. А Клещ уже мне навстречу выскакивает — морда веселая, усики под носом торчком, в зубах костяной мундштук по моде старшего курса.

— Ну, что скажешь, брат-смертник? — говорит он мне.

Я ему докладываю: так, мол, и так, такое, мол, положение, а пленных обязательно сначала допросить. И уже от себя:

— Про меня не забудь, Клещ, — говорю. — Все-таки я их сюда привел...

А он на меня посмотрел, и у меня сердце сразу упало.

— Котенок... — говорит. — Ты здесь развлекаться будешь, а Гепард там один? А ну, бери три двойки и дуй к Гепарду! Быстро!

Делать было нечего. Не судьба, значит, не повезло. Посмотрел я на моих полосатиков в последний раз, закинул автомат за плечо да и гаркнул что было силы:

— Пер-рвая, вторая, третья двойки — ко мне!

Котята горохом посыпались с грузовика: Заяц с Петухом, Носатый с Крокодилом, Снайпер с этим... как его... не привык я еще к нему, его только-только из Пигганской школы к нам перевели — убил он там кого-то не того, вот его и к нам.

Я уж давно заметил, да никому не говорю: шлепнет Кот под горячую руку какого-нибудь штатского, сейчас — приказ по части. Такого-то и такого-то по кличке такой-то за совершение уголовного преступления расстрелять. И ведь выведут на плац, поставят перед строем лучших друзей, дадут по нему залп, тело в грузовик забросят на предмет бесчестного захоронения, а потом слышишь — видели его ребята либо на операции, либо в другой части... И правильно, по-моему.

Ну, скомандовал я «бегом», и поскакали мы обратно к Гепарду. А Гепард там времени зря не теряет. Смотрю — навстречу нам жердина эта, штаб-майор, рысью пылит, а

за ним колонна, штук пятьдесят дикобразов с лопатами и киркомотыгами, бухают сапожищами, потные, только пар от них идет. Это, значит, погнал их Гепард новую позицию копать, настоящую, для нас. Под домом напротив медчасти, смотрю, лопаты уже мелькают, и стоит ракетомет, и вообще движение в деревне, как на главном проспекте в день тезоименитства,— дикобразы так и мельтешат, и ни одного не видно, чтобы были с пустыми руками: либо с оружием, но таких мало, а большинство волочат на себе ящики с боеприпасами и станки для пулеметов.

Гепард увидел нас — выразил удовольствие. Двойки Зайца и Снайпера с ходу послал в джунгли в передовой дозор. Носатого с Крокодилом оставил при себе для связи, а мне сказал:

— Гаг. Ты — лучший в отряде ракетометчик, и я на тебя надеюсь. Видишь этих тараканов? Бери их себе. Установишь ракетомет на той окраине, выбери позицию примерно там, где сейчас грузовики. Хорошенько замаскируйся, откроень огонь, когда я зажгу деревню. Действуй, Кот.

Когда я все это услышал, я не то что поскакал, я прямо-таки полетел к своим тараканам. Эти тараканы мои вместе с ракетометом увязли в грязном ухабе посередине дороги и намеревались, видно, всю войну там провозиться. Ну, я одному по уху, другому пинком, третьего прикладом между лопаток, заорал так, что у самого в ушах зазвенело,— заработали мои тараканы по-настоящему, почти как люди. Ракетомет из ухаба на руках вынесли и — марш-марш — покатили по дороге, только колеса завизжали, только грязь полетела, и — в другой ухаб. Тут уж пришлось и мне вирячиться. Нет, ребята, дикобразов тоже можно заставить работать, нужно только знать — как.

Значит, положение у меня было такое. Позицию я уже выбрал — вспомнились мне неподалеку от грузовиков густые такие рыхлые кустики и плоская низинка за ними, где можно было легко врьтесь в землю так, что ни один дьявол со стороны джунглей не увидит. А я оттуда все буду видеть: и дорогу до самых джунглей, и всю деревенскую окраину, если попрут прямо через дома, и болото слева, если бронепехота оттуда сунется... И подумал я еще, что надо бы не забыть попросить у Клеща несколько двоек для прикрытия с этой стороны. Ракет у меня в лотках двадцать штук, если только эти писаря по дороге сюда их не повыбрасывали для облегчения ноши... ну, это мы сейчас посмотрим, а в любом случае, как только

окопаемся, надо будет послать тараканов за пополнением. Страсть не люблю, когда в бою приходится экономить. Это уже тогда не бой, а я не знаю что... Времени хватит до сумерек, а когда они в сумерках попрут, вспыхнет эта дикая деревня, и будут они все у меня как на ладони — бей на выбор. Не пожалеешь, Гепард, что на меня понадеялся!..

Вот эту последнюю мысль я машинально додумал, уже лежа на спине, а в сером небе надо мной, как странные птицы, летели какие-то горящие клочья. Ни выстрела, ни взрыва я не услышал, а сейчас и вообще ничего не слышал. Оглох. Не знаю, сколько времени прошло, а потом я сел.

Из джунглей по четыре в ряд выползают бронеходы, плюют огнем и расходятся в боевой веер, а за ними выползает следующая четверка. Деревня горит. Над окопами дым, ни души не видно. Походная кухня рядом с факторией перевернута, варево из нее разлилось бурым месивом, идет пар. Ракетомет мой тоже перевернут, а тараканы лежат в кювете кучей друг на друге. Одним словом, занял я удобную позицию, змеиное молоко!

Тут накрыло нас второй очередью. Снесло меня в кювет, перевернуло через голову, полон рот глины, глаза забило землей. Только на ноги поднялся — третья очередь. И пошло, и пошло...

Ракетомет мы все-таки на колеса поставили, скатили в кювет, и один бронеход я сжег. Тараканов стало уже двое, куда третий деляся — неизвестно.

Потом — сразу, без перехода — я оказался на дороге. Впереди целая куча полосатиков — близко, совсем близко, рядом. На клинках у них кроваво отсвечивал огонь. Над ухом у меня оглушительно грохотал пулемет, в руке был нож, а у ног моих кто-то дергался, поддавая мне под коленки...

Потом я старательно, как на полигоне, наводил ракетомет в стальной щит, который надвигался на меня из дыма. Мне даже слышалась команда инструктора: «По бронепехоте... бронебойным...» И я никак не мог нажать на спуск, потому что в руке у меня опять был нож...

Потом вдруг наступила передышка. Были уже сумерки. Оказалось, что ракетомет мой цел, и сам я тоже цел, вокруг меня собралась целая куча дикобразов, человек десять. Все они курили, и кто-то сунул мне в руку флягу. Кто? Заяц? Не знаю... Помню, что на фоне пылающего дома шагах в тридцати чернела странная фигура: все сидели или лежали, а этот стоял,

и было такое впечатление, будто он черный, но голый... Не было на нем одежды — ни шинели, ни куртки. Или не голый все-таки?.. «Заяц, кто это там торчит?» — «Не знаю, я не Заяц». — «А где Заяц?» — «Не знаю, ты пей, пей...»

Потом мы копали, торопились изо всех сил. Это было уже какое-то другое место. Деревня была уже теперь не сбоку, а впереди. То есть деревни больше не было вообще — груды головешек, зато на дороге горели бронеходы. Много. Несколько. Под ногами хлюпала болотная жижка... «Объявляю тебе благодарность, молодец, Кот...» — «Извините, Гепард, я что-то плохо соображаю. Где все наши? Почему только дикобразы?..» — «Все в порядке, Гаг, работай, работай, братхрабрец, все целы, все восхищены тобой...»

...И вдруг из черно-алой муты прямо в лицо ливень жидкого огня. Все сразу вспыхивает — и трупы, и земля, и ракетомет. И кусты какие-то. И я. Больно. Адская боль. Как барон Трэгг. Лужу мне, лужу! Тут ведь лужа была! Они в ней лежали! Я их туда положил, змеиное молоко, а их в огонь надо было положить, в огонь! Нет лужи... Земля горела, земля дымилась, и кто-то вдруг с нечеловеческой силой вышиб ее у меня из-под ног...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Возле койки Гага сидели двое. Один — сухопарый, с широкими костлявыми плечами, с большими костлявыми лапами. Он сидел, закинув ногу на ногу, обхватив колено мосластыми пальцами. Был на нем серый свитер со свободным воротом, узкие синие брюки непонятного покроя, не форменные, и красные с серым плетеные сандалии. Лицо было острое, загорелое, с ласкающей сердце твердостью в чертах, светлые глаза с прищуром, седые волосы — беспорядочной, но в то же время какой-то аккуратной копной. Из угла в угол большого тонкогубого рта, передвигалась соломинка.

Другой был добряк в белом халате. Лицо у него было румяное, молодое, без единой морщинки. Странное какое-то лицо. То есть не само лицо, а выражение. Как у святых на древних иконах. Он глядел на Гага из-под светлого чуба и улыбался как именинник. Очень был чем-то доволен. Он и заговорил первым.

— Как мы себя чувствуем? — осведомился он.

Гаг уперся ладонями в постель, согнул ноги в коленях и легко перенес зад в изголовье.

— Нормально... — сказал он с удивлением.

Ничего на нем не было, даже простыни. Он посмотрел на свои ноги, на знакомый шрам выше колена, потрогал грудь и сразу же нащупал пальцами то, чего раньше не было: два углубления под правым соском.

— Ого! — сказал он, не удержавшись.

— И еще одна в боку, — заметил добряк. — Выше, выше...

Гаг нащупал шрам в правом боку. Потом он быстро оглядел голые руки.

— Погодите... — пробормотал он. — Я же горел...

— Еще как! — вскричал румяный и руками показал — как. Получалось, что Гаг горел, как бочка с бензином.

Сухопарый в свитере молчал, разглядывая Гага, и было в его взгляде что-то такое, отчего Гаг подтянулся и произнес:

— Благодарю вас, господин врач. Долго я был без памяти?

Румяный добряк почему-то перестал улыбаться.

— А что ты помнишь последнее? — спросил он почти вкрадчиво.

Гаг наморщился.

— Я подбил... Нет! Я горел. Огнемет, наверное. И я побежал искать воду... — Он замолчал и снова ощупал шрамы на груди. — В этот момент меня, наверное, подстрелили... — сказал он неуверенно. — Потом... — Он замолчал и посмотрел на сухопарого. — Мы их задержали? Да?.. Где я? В каком госпитале?

Однако сухопарый не ответил, и снова заговорил добряк. Как бы в затруднении он с силой погладил себя по круглым коленям.

— А ты сам как думаешь?

— Виноват... — сказал Гаг и спустил ноги с койки. — Неужели так много времени прошло? Полгода? Или год?.. Скажите мне прямо, — потребовал он.

— Да что время... — сказал румяный. — Времени-то прошло всего пять суток.

— Сколько?

— Пять суток, — повторил румяный. — Верно? — спросил он, обращаясь к сухопарому.

Тот молча кивнул. Гаг улыбнулся снисходительно.

— Ну хорошо, — сказал он. — Ну ладно. Вам, врачам, виднее. В конце концов, какая разница... Я бы хотел только знать, господин... — Он специально сделал паузу, глядя на сухопарого,



но сухопарый никак не отреагировал.— Я бы хотел только знать положение на фронте и когда я смогу вернуться в строй...

Сухопарый молча передвигал соломинку из одного угла рта в другой.

— Я ведь могу надеяться снова попасть в свою группу... в столичную школу.

— Вряд ли,— сказал румяный.

Гаг только глянул на него и снова стал смотреть на сухопарого.

— Ведь я — Бойцовский Кот,— сказал он.— Третий курс... Имею благодарности. Имею одну личную благодарность его высочества...

Румяный замотал головой.

— Это несущественно,— сказал он.— Не в этом дело.

— Как это — не в этом деле? — сказал Гаг.— Я — Бойцовский Кот! Вы что, не знаете? Вот! — Он поднял правую руку и показал — опять-таки сухопарому — татуировку под мыш-

кой.— Мне пожимал руку его высочество, лично! Его высочество пожаловал мне...

— Да нет, мы верим, верим, знаем! — замахал на него руками румяный, но Гаг оборвал его:

— Господин врач, я разговариваю не с вами! Я обращаюсь к господину офицеру!

Тут румяный почему-то вдруг фыркнул, закрыл лицо ладонями и захохотал тонким противным смехом. Гаг ошеломленно смотрел на него, потом перевел взгляд на сухопарого. Тот наконец заговорил:

— Не обращай внимания, Гаг.— Голос у него был глубокий, значительный, под стать лицу.— Однако ты действительно не представляешь своего положения. Мы не можем отправить тебя сейчас в столичную школу. Скорее всего, ты вообще никогда больше не попадешь в школу Бойцовых Котов...

Гаг открыл и снова закрыл рот. Румяный перестал хихикать.

— Но я же чувствую себя...— прошептал Гаг.— Я совершенно здоров. Или я калека? Скажите мне сразу, господин врач: я не калека?

— Нет-нет,— быстро сказал румяный.— Руки-ноги у тебя в полном порядке, а что касается психики... Кто такой был Ганг Гнук, ты помнишь?

— Так точно... Это был ученый. Утверждал множественность обитаемых миров... Имперские фанатики повесили его за ноги и расстреляли из арбалетов...— Гаг замялся.— Вот точной даты я не помню, виноват. Но это было до первого алайского восстания...

— Очень хорошо! — похвалил румяный.— А как относится к учению Ганга современная наука?

Гаг опять замялся.

— Не могу сказать точно... Причин отрицать нет. У нас в школе на занятиях практической астрономией прямо об этом не говорилось. Говорилось только, что Айгон... Да, правильно! На Айгоне есть атмосфера, открытая великим основоположником алайской науки Гриддом, так что там вполне может существовать жизнь...

Он перевел дух и с тревогой взглянул на сухопарого.

— Очень хорошо,— снова сказал румяный.— Ну, а как на других звездах?

— Что — на других звездах, прошу прощения?

— Вблизи других звезд может существовать жизнь?

Гага прошибла испарина.

— Н-нет... — произнес он. — Нет, поскольку там безвоздушное пространство. Не может.

— А если около какой-нибудь звезды есть планеты? — неумолимо налегал доктор.

— А! Тогда может, конечно. Если около звезды имеется планета с атмосферой, на ней вполне может быть жизнь.

Румяный с удовлетворением откинулся на спинку кресла и посмотрел на сухопарого. Тогда сухопарый вынул соломинку изо рта и поглядел Гагу прямо в душу.

— Ты ведь Бойцовский Кот, Гаг? — сказал он.

— Так точно! — Гаг приосанился.

— А Бойцовский Кот есть боевая единица сама в себе, — в голосе сухопарого зазвенел уставной металл, — способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью, так?

— И обратил ее, — подхватил Гаг, — к чести и славе его высочества герцога и его дома!

Сухопарый кивнул.

— Созвездие Жука знаешь?

— Так точно! Эклиптическое созвездие из двенадцати ярких звезд, видимое в летнее время года. Первая Жука является...

— Стоп. Седьмую Жука знаешь?

— Так точно. Оранжевая звезда...

— ...около которой, — прервал его сухопарый, подняв мосластый палец, — имеется планетная система, неизвестная пока алайской астрономии. На одной из этих планет существует цивилизация разумных существ, значительно опередившая цивилизацию Гиганды. Ты на этой планете, Гаг.

Воцарилось молчание. Гаг, весь подбравшись, ждал продолжения. Сухопарый и врач пристально глядели на него. Молчание затягивалось. Наконец Гаг не выдержал.

— Я понял, господин офицер, — доложил он. — Продолжайте, пожалуйста.

Врач крякнул, а сухопарый мигнул несколько раз подряд.

— А, — сказал он спокойно. — Он решил, что мы продолжаем испытание психики и теперь даем ему вводную, — пояснил он врачу. — Это не вводная, Гаг. Это на самом деле так и есть. Я работал на вашей планете, на Гиганде, в северных джунглях герцогства. Случайно я оказался около тебя во время боя. Ты лежал на земле и горел, к тому же ты был смертельно ранен. Я перенес тебя на свой звездолет... это такой специальный аппарат для путешествия между звездами... и доставил

сюда. Здесь мы тебя вылечили. Это все не вводная, Гаг. Я не офицер и, конечно, не алаец. Я — землянин.

Гаг в задумчивости пригладил волосы.

— Предполагается, господин офицер, что я знаю ваш язык и условия жизни на этой планете. Или нет?

Снова наступило молчание. Потом сухопарый сказал, усмехнувшись:

— Ты, кажется, вообразил себя на занятиях по диверсионно-разведывательной подготовке...

Гаг тоже позволил себе улыбнуться.

— Не совсем так, господин офицер.

— А как же?

— Я полагаю... я надеюсь, что командование удостаивает меня пройти спецроверку для того, чтобы принять новое, весьма ответственное назначение. Я горжусь, господин офицер. Приложу все усилия, чтобы оправдаться...

— Послушай, — сказал вдруг румяный врач, поворачиваясь к сухопарому. — А может быть, так и оставить? Создать условия ничего не стоит. Ты ведь говоришь, что понадобится всего три-четыре месяца!

Сухопарый помотал головой и принялся что-то говорить румяному на непонятном языке. Гаг с нарочито рассеянным видом осматривался. Помещение было необычайное. Прямоугольная комната, гладкие кремовые стены, потолок расчерчен в шахматную клетку, причем каждая клетка светится изнутри красным, оранжевым, голубым, зеленым. Окон нет. Дверей тоже что-то не заметно. У изголовья постели в стене какие-то кнопки, над кнопками — длинные прозрачные окошечки, которые светятся ровным, очень чистым зеленым светом. Пол черный, матовый... и кресла, в которых сидят эти двое, словно бы растут из пола, а может быть, составляют с ним одно целое. Гаг незаметно погладил пол босой ступней. Прикосновение было приятное, словно к мягкому теплому животному...

— Ладно, — сказал наконец сухопарый. — Одевайся, Гаг. Я тебе кое-что покажу... Где его одежда?

Румяный, поколебавшись еще секунду, наклонился куда-то вбок и вытащил словно бы из стены плоский прозрачный пакет. Держа его в опущенной руке, он снова заговорил с сухопарым и говорил довольно долго, а сухопарый только все энергичнее крутил головой и в конце концов отобрал пакет у румяного и бросил его Гагу на колени.

— Одевайся, — приказал он снова.

Гаг осторожно осмотрел пакет со всех сторон. Пакет был из какого-то прозрачного материала, бархатистого на ощупь, а внутри было что-то очень чистое, мягкое, легкое, белое с голубым. И вдруг пакет сам собой распался, рассыпался тающими в воздухе серебристыми искрами, и на постель упали, разворачиваясь, короткие голубые штаны, белая с голубым куртка и еще что-то.

Гаг с каменным лицом принялся одеваться. Румяный вдруг сказал громко:

— Но может быть, мне все-таки пойти с вами?

— Не надо, — сказал сухопарый.

Румяный всплеснул белыми мягкими руками.

— Ну что у тебя за манера, Корней! Что это за порывы интуиции! Ведь, казалось бы, все расписали, обо всем дого-ворились...

— Как видишь, не обо всем.

Гаг натянул совершенно невесомые сандалии, удивительно ладно пришедшиеся по ногам. Он встал, сдвинул пятки и наклонил голову.

— Я готов, господин офицер.

Сухопарый оглядел его.

— Как, нравится тебе это? — спросил он.

Гаг дернул плечом.

— Конечно, я предпочел бы форму...

— Обойдешься без формы, — проворчал сухопарый, подни-маясь.

— Слушаюсь, — сказал Гаг.

— Поблагодари врача, — сказал сухопарый.

Гаг отчетливым движением повернулся к румяному с лицом святого, снова сдвинул пятки и снова наклонил голову,

— Позвольте поблагодарить вас, господин врач, — сказал он. Тот вяло махнул рукой.

— Иди уж... Кот...

Сухопарый уже уходил, прямо в глухую стену.

— До свидания, господин врач, — сказал Гаг весело. — Надеюсь, здесь мы больше не увидимся, а услышите вы обо мне только хорошее.

— Ох, надеюсь... — откликнулся румяный с явным сомнением.

Но Гаг больше не стал с ним разговаривать. Он дождал сухопарого как раз в тот момент, когда в стене перед ними

не распахнулась, а как-то просто вдруг появилась прямоугольная дверь, и они ступили в коридор, тоже кремовый, тоже пустой, тоже без окон и дверей и тоже непонятно как освещенный.

— Что ты сейчас рассчитываешь увидеть? — спросил сухопарый.

Он шагал широко, вымахивая голенастыми ногами, но ступни ставил с какой-то особой мягкостью, живо напомнившей Гагу неподражаемую походку Гепарда.

— Не могу знать, господин офицер, — ответил Гаг.

— Зови меня Корней, — сказал сухопарый.

— Понял, господин Корней.

— Просто — Корней...

— Так точно... Корней.

Коридор незаметно превратился в лестницу, которая вела вниз по плавной широкой спирали.

— Значит, ты не против того, чтобы оказаться на другой планете?

— Постараюсь справиться, Корней.

Они почти бежали вниз по ступенькам.

— Сейчас мы находимся в госпитале, — говорил Корней. — За его стенами ты увидишь много неожиданного, даже пугающего. Но учти, здесь ты в полной безопасности. Какие бы странные вещи ты ни увидел, они не могут угрожать и не могут причинить вреда. Ты меня понимаешь?

— Да, Корней, — сказал Гаг и снова позволил себе улыбнуться.

— Постарайся сам разобраться, что к чему, — продолжал Корней. — Если чего-нибудь не понимаешь — обязательно спрашивай. Ответам можешь верить. Здесь не врут.

— Слушаюсь... — ответствовал Гаг с самым серьезным видом.

Тут бесконечная лестница кончилась, и они вылетели в обширный светлый зал с прозрачной передней стеной, за которой было полно зелени, желтел песок дорожек, поблескивали на солнце непонятные металлические конструкции. Несколько человек в ярких и, прямо скажем, легкомысленных нарядах беседовали о чем-то посреди зала. И голоса у них были под стать нарядам — развязные, громкие до неприличия. И вдруг они разом замолчали, как будто их кто-то выключил. Гаг обнаружил, что все они смотрят на него... Нет, не на него. На Корнея. Улыбки сползали с лиц, лица застывали, взгляды

опускались — и вот уже никто больше не смотрит на Корнея, вообще никто больше не смотрит в их сторону, а Корней знай себе вышагивает мимо них в полной тишине, словно ничего этого не заметив.

Он остановился перед прозрачной стеной и положил Гагу руку на плечо.

— Как тебе это нравится? — спросил он.

Огромные, во много обхватов, морщинистые стволы, клубы, облака, целые тучи ослепительной, пронзительной зелени над ними, желтые ровные дорожки, а вдоль них — темно-зеленый кустарник, непроницаемо густой, пестрящий яркими, неправдоподобно лиловыми цветами, и вдруг из пятнистой от солнца тени на песчаную площадку выступил поразительный, совершенно невозможный зверь, состоящий как бы только из ног и шеи, остановился, повернул маленькую голову и взглянул на Гага огромными бархатистыми глазами.

— Колоссально... — прошептал Гаг. Голос у него сорвался. — Великолепно сделано!

— Зеброжираф, — непонятно и в то же время вроде бы и понятно пояснил Корней.

— Для человека опасен? — деловито осведомился Гаг.

— Я же тебе сказал: здесь нет ничего ни опасного, ни угрожающего...

— Я понимаю: здесь — нет. А там?

Корней покусал губу.

— Здесь — это и есть там, — сказал он.

Но Гаг уже не слышал его. Он потрясенно смотрел, как по песчаной дорожке мимо зеброжирафа, совсем рядом с ним, идет человек. Он увидел, как зеброжираф склонил бесконечную шею, будто пестрый шлагбаум опустился, а человек, не останавливаясь, потрепал животное по холке и пошел дальше, мимо сооружения из скрученного шипастого металла, мимо радужных перьев, повисших прямо в воздухе, поднялся по нескольким плоским ступеням и сквозь прозрачную стену вошел в зал.

— Между прочим, это тоже инопланетянин, — сказал Корней вполголоса. — Его здесь вылечили, и скоро он вернется на свою планету.

Гаг слглотнул всухую, провожая выздоровевшего инопланетянина глазами. У того были странные уши. То есть, строго говоря, ушей почти не было, а голый череп неприятно поражал обилием каких-то бугров и узловатых гребенчатых выступов. Гаг снова глотнул и посмотрел на зеброжирафа.

— Разве... — начал он и замолчал.

— Да?

— Прошу прощения, Корней... Я думал... это все... Ну, вот это все, за стеной...

— Нет, это не кино, — с оттенком нетерпения в голосе сказал Корней. — И не вольера. Это все на самом деле, и так здесь везде. Хочешь погладить его? — спросил он вдруг.

Гаг весь напрягся.

— Слушаюсь, — сказал он осипшим голосом.

— Да нет, если не хочешь — не надо. Просто ты должен понять...

Корней вдруг оборвал себя. Гаг поднял на него глаза. Корней смотрел поверх его головы в глубь зала, где снова уже раздавались голоса и смех, и лицо его неожиданно и странно изменилось. Новое выражение появилось на нем — смесь тоски, боли и ожидания. Гагу уже приходилось видеть такие лица, но он не успел вспомнить, где и когда. Он обернулся.

На той стороне зала у самой стены стояла женщина. Гаг даже не успел ее толком рассмотреть — через мгновение она исчезла. Но она была в красном, у нее были угольно-черные волосы и яркие, кажется синие, глаза на белом лице. Неподвижный язык красного пламени на кремовом фоне стены. И сразу — ничего. А Корней сказал спокойно:

— Ну что ж, пошли...

Лицо у него было прежнее, как будто ничего не произошло. Они шли вдоль прозрачной стены, и Корней говорил:

— Сейчас мы очутимся совсем в другом месте. Очутимся, понимаешь? Не перелетим, не перееедем в другое место, а просто очутимся там, имей в виду...

Позади громко заходили в несколько голосов. Гаг, вспыхнув, оглянулся. Нет, смеялись не над ним. На них вообще никто не смотрел.

— Заходи, — сказал Корней.

Это была круглая будка вроде телефонной, только стенки у нее были не прозрачные, а матовые. В будку вела дверь, и оттуда тянуло запахом, какой бывает после сильной грозы. Гаг несмело шагнул внутрь, Корней втиснулся следом, и дверной проем исчез.

— Я потом объясню тебе, как это делается, — говорил Корней. Он неторопливо нажимал клавиши на небольшом пульте, встроенным в стену. Такие пульты Гаг видел на арифметических машинах в бухгалтерии школы. — Вот я набираю шифр, —

продолжал Корней.— Набрал... Видишь зеленый огонек? Это означает, что шифр имеет смысл, а финиш свободен. Теперь отправляемся... Вот эта красная кнопка...

Корней нажал на красную кнопку. Чтобы не упасть, Гаг вцепился в его свитер. Пол словно исчез на мгновение, а потом появился снова, и за матовыми стенками вдруг стало светлее.

— Все,— сказал Корней.— Выходи.

Зала не было. Был широкий, ярко освещенный коридор. Пожилая женщина в блестящей, как ртуть, накидке посторонилась, давая им дорогу, суроно смерила взглядом Гага,глянула на Корнея — лицо ее вдруг дрогнуло, она торопливо нырнула в будку, и дверь за нею исчезла.

— Прямо,— сказал Корней.

Гаг пошел прямо. Только сделав несколько шагов, он тихонько перевел дух.

— Один миг — и мы в двадцати километрах,— сказал Корней у него за спиной.

— Потрясающе...— отозвался Гаг.— Я не знал, что мы умеем такие вещи...

— Ну, положим, вы еще не умеете...— возразил Корней.— Сюда, направо.

— Нет, я имел в виду — в принципе... Я понимаю, все засекречено, но для армии...

— Проходи, проходи.— Корней подтолкнул его в спину.

— Для армии такая штука незаменима... Для армии, для разведки...

— Так,— произнес Корней.— Сейчас мы находимся в гостинице. Это мой номер. Я тут жил, пока тебя лечили.

Гаг осмотрелся. Комната была велика и совершенно пуста. Никаких следов мебели. Вместо передней стены — голубое небо, остальные стены разноцветные, пол белый, потолок, как и в госпитале, в разноцветную клетку.

— Давай побеседуем,— сказал Корней и сел.

Он должен был упасть своим сухопарым задом на этот белый пол. Но пол вспучился навстречу его падающему телу, как бы обтек его и превратился в кресло. Этого кресла только что не было. Оно просто мгновенно выросло. Прямо из пола. Прямо на глазах. Корней закинул ногу на ногу, привычно обхватил мосластыми пальцами колено.

— Мы тут много спорили, Гаг,— проговорил он,— как с тобой быть. Что тебе рассказать, что от тебя скрыть. Как сделать, чтобы ты, упаси бог, не свихнулся...

Гаг облизал пересохшие губы.

— Я...

— Предлагалось, например, оставить тебя на эти три-четыре месяца в бессознательном состоянии. Предлагалось за-гипнотизировать тебя. Много разной чепухи предлагалось. Я был против. И вот почему. Во-первых, я верю в тебя. Ты — сильный, тренированный мальчик, я видел тебя в бою и знаю, что ты можешь выдержать многое. Во-вторых, для всех будет лучше, если ты увидишь наш мир... пусть даже только кусочек нашего мира. Ну, а в-третьих, я тебе честно скажу: ты мне можешь понадобиться.

Гаг молчал. Ноги у него одеревенели, заложенные за спину руки он стиснул изо всей силы, до боли. Корней вдруг подался вперед и сказал, словно заклиная:

— Ничего страшного с тобой не произошло. Ничего страшного с тобой не случится. Ты в полной безопасности. Ты просто совершаешь путешествие, Гаг. Ты в гостях, понимаешь?

— Нет,— сказал Гаг хрипло.

Он повернулся и пошел прямо в голубое небо. Остановился. Глянул. Стиснутые кулаки его побелели. Он сделал шаг назад, другой, третий и пятился до тех пор, пока не уперся лопатками.

— Значит... я уже там? — сказал он хрипло.

— Значит, ты уже здесь,— сказал Корней.

— Какое же у меня задание?...— сказал Гаг.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Одним словом, ребята, влип я, как ни один еще Бойцовский Кот, наверное, до меня не влипал. Вот сижу я сейчас на роскошной лужайке по шею в мягкой травке-муравке. Вокруг меня — благодать, чистый курорт на озере Заггута, только самого озера нет. Деревья — никогда таких не видел: листья зеленые-зеленые, мягкие, шелковистые, а на ветвях висят здоровенные плоды — груши называются — объеденье, и ешь сколько влезет. Слева от меня роща, а прямо передо мной дом. Корней говорит, что сам его своими руками построил. Может быть, не знаю. Знаю только, что когда меня назначали в караул у охотничьего домика его высочества, так там тоже был дом — роскошный дом, и строили его большие головы, но куда ему до этого. Перед домом бассейн, вода чистая, как увидишь —

пить хочется, купаться страшно. А вокруг — степь. Там я еще не был. И пока неохота. Не до степи мне сейчас. Мне бы сейчас понять, на каком языке я думаю, змеиное молоко! Ведь сроду я никаких языков, кроме родного алайского, не знал. Военный разговорник — это, натурально, не в счет: всякие там «руки вверх», «ложись», «кто командир» и прочее. А теперь вот никак не могу понять, какой же язык мне родной — этот самый ихний русский или алайский. Корней говорит, что этот русский в количестве двадцати пяти тысяч слов и разных там идиом в меня запихнули за одну ночь, пока я спал после операции. Не знаю. Идиома... Как это по-алайски-то будет? Не знаю.

Нет, я ведь сначала что подумал? Спецлаборатория. Такие у нас есть, я знаю. Корней — офицер нашей разведки. И готовят они меня для какого-то особой важности задания. Может быть, интересы его высочества распространились на другой материк. А может быть, черт подери, и на другую планету. Почему бы и нет? Что я знаю?

Я даже, дурак, сначала думал, что вокруг все — декорация. А потом день здесь живу, другой — нет, ребята, не получается. Город этот — декорация? Синие эти громады, что на горизонте время от времени появляются, — декорация? А жратва? Показать ребятам эту жратву — не поверят, не бывает такой жратвы. Берешь тюбик, вроде бы с зубной пастой, выдавливаешь на тарелку, и на тебе — запузырилось, зашипело, и тут надо схватить другой тюбик, его давить, и ахнуть ты не успел, как на тарелке перед тобой — здоровенный ломоть поджаренного мяса, весь золотистый, дух от него... э, что там говорить. Это, ребята, не декорация. Это мясо. Или, скажем, ночное небо: все созвездия перекошены. И Луна. Тоже декорация? Честно говоря, она-то на декорацию как раз очень похожа. Особенно когда высоко. Но на восходе — смотреть же страшно! Огромная, разбухшая, красная, лезет из-за деревьев... Который я уже здесь день, пятый, что ли, а до сих пор меня от этого зрелища просто в дрожь бросает.

Вот и получается, что дело дрянь. Могучие они здесь, могучие, простым глазом видно. И против них, против всей их мощи я здесь один. И ведь никто же у нас про них ничего не знает, вот что самое страшное. Ходят они по нашей Гиганде, как у себя дома, знают про нас все, а мы про них — ничего. С чем они к нам пришли, что им у нас надо? Страшно... Как представишь себе всю ихнюю чертовщину — все эти мгновенные скачки на сотни километров без самолетов, без машин,

без железных дорог... эти их здания выше облаков, невозможные, невероятные, как дурной сон... комнаты-самобранки, еда прямо из воздуха, врачи-чудодеи... А сегодня утром — приснилось мне, что ли? — Корней прямо из бассейна без ничего в одних плавках взмыл в небо, как птица, развернулся над садом и пропал за деревьями...

Я как это вспомнил, продрало меня до самых печенок. Вскочил, пробежался по лужайке, грушу сожрал, чтобы успокоиться. А ведь я здесь всего-то-навсего пятый день! Что я за пять дней мог здесь увидеть? Вот хоть эта лужайка. У меня окно прямо на нее выходит. И вот давеча просыпаюсь ночью от какого-то хриплого мяуканья. Кошки дерутся, что ли? Но уже знаю, что не кошки. Подкрался к окну, выглянул. Стоит. Прямо посреди лужайки. Что — не понимаю. Вроде треугольное, огромное, белое. Пока я глаза протирал, смотрю — тает в воздухе. Как привидение, честное слово. Они у них так и называются: «призраки». Я наутро у Корнея спросил, а он говорит: это, говорит, наши звездолеты класса «призрак» для перелетов средней дальности, двадцать световых лет и ближе. Представляете? Двадцать световых лет — это у них средняя дальность! А до Гиганды, между прочим, всего восемнадцать...

Не-ет, от нас им только одно может понадобиться: рабы. Кто-то же у них здесь должен работать, кто-то же эту ихнюю благодать обеспечивает... Вот Корней мне все твердит: учись, присматривайся, читай, через три-четыре месяца, мол, домой вернешься, начнешь строить новую жизнь, то, сё, войне, говорит, через три-четыре месяца конец, мы, говорит, этой войной занялись и в самое ближайшее время с ней покончим. Тут-то я его и поймал. Кто же, говорю, в этой войне победит? А никто не победит, отвечает. Будет мир, и всё. Та-ак... Все понятно. Это, значит, чтобы мы материал зря не переводили. Чтобы все было тихо-мирно, без всяких там возмущений, восстаний, кровопролития. Вроде как пастухи не дают быкам драться и калечиться. Кто у нас им опасен — тех уберут, кто нужен — тех купят, и пойдут они набивать трюмы своих «призраков» алайцами и крысоедами вперемешку...

Корней вот, правда... Ничего не могу с собой поделать: нравится он мне. Башкой понимаю, что иначе быть не может, что только такого человека они и могли ко мне приставить. Башкой понимаю, а ненавидеть его не могу. Наваждение какое-то. Верю ему, как дурак. Слушаю его, уши развесив. А сам ведь знаю, что вот-вот начнет он мне внушать и доказывать, как

ихний мир прекрасен, а наш — плох, и что наш мир надо бы переделать по образцу ихнего, и что я им в этом деле должен помочь, как парень умный, волевой, сильный, вполне пригодный для настоящей жизни...

Да чего там, он уже и начал понемногу. Ведь всех великих людей, на кого мы молимся, он уже обгадить успел. И фельдмаршала Брагга, и Одноглазого Лиса, великого шефа разведки, и про его высочество намекнул было, но тут я его, конечно, враз оборвал... Всем от него досталось. Даже имперцам — это, значит, чтобы показать, какие они здесь беспристрастные. И только про одного он говорил хорошо — про Гепарда. Пожале, он его знал лично. И ценил. В этом человеке, говорит, погиб великий педагог...

Хотел я остановиться, но не сумел — стал думать о Гепарде. Эх, Гепард... Ну ладно, ребята погибли, Заяц, Носатый... Клец с ракетой под мышкой под бронеход бросился... пусть. На то нас родили на свет. А вот Гепард... Отца ведь я почти не помню, мать — ну что мать? А вот тебя я никогда не забуду. Я ведь слабый в школу пришел — голод, кошатину жрал, самого чуть не съели, отец с фронта пришел без рук, без ног, пользы от него никакой, все на водку променивал... А в казарме что? В казарме тоже не сахар, пайки сами знаете какие. И кто мне свои консервы отдавал? Стоишь ночью дневальнойным, жрать хочется — аж зубы скрипят; вдруг появится, как из под земли, рапорт выслушает, буркнет что-то, сунет в руку ломоть хлеба с кониной — свой ведь ломоть, по тыловой норме — и нет его... А как в марш-броске он меня двадцать километров на загривке тащил, когда я от слабости свалился? Ребята ведь должны были тащить, и они бы и рады, да сами падали через каждые десять шагов. А по инструкции как? Не может идти — не может служить. Валяй домой, под вонючую лестницу, за кошками охотиться... Да, не забуду я тебя. Погиб ты, как нас учил погибать, так и сам погиб. Ну, а раз уж я уцелел, значит, и жить я теперь должен, твоей памяти не посрамив. А как жить? Влип я, Гепард. Ох и влип же я! Где ты там сейчас? Вразуими, подскажи...

Ведь они меня здесь купить хотят. Перво-наперво спасли мне жизнь. Вылечили, как новенького сделали, даже ни одного зуба дырявого не осталось — новые выросли, что ли? Дальше. Кормят на убой, знают, бродяги, как у нас со жратвой туго. Ласковые слова говорят, симпатичного человека приставили...

Тут он меня позвал: обедать пора.



Уселись мы за столом в гостиной, взяли эти самые тюбики, навертели себе еды. Корней что-то странное соорудил — целый клубок прозрачных желтоватых нитей — что-то вроде дохлого болотного ежа, — все это залил коричневым соусом, сверху лежат кусочки и ломтики то ли мяса, то ли рыбы, и пахнет... не знаю даже — чем, но крепко пахнет. Ел он почему-то палочками. Зажал две палочки между пальцами, тарелку к самому подбородку поднес и пошел кидать все это в рот. Кидает, а сам мне подмигивает. Хорошее у него, значит, настроение. Ну, а у меня от всех моих мыслей, да и от груш, наверное, аппетита почти не осталось. Сделал себе мяса. Вареного. Хотел тушеного, а получилось вареное. Ладно, есть можно, и на том спасибо.

— Хорошо я сегодня поработал, — сообщил Корней, уплетая своего ежа. — А ты что подельвал?

— Да так. Ничего особенного. Купался. В траве сидел.

— В степь ходил?

— Нет.

— Зря. Я же тебе говорю: там для тебя много интересного.

— Я схожу. Потом.

Корней доехал ежа и снова взялся за тюбики.

— Придумал, где бы тебе хотелось побывать?

— Нет. То есть да.

— Ну?

Что бы мне ему такое-этакое соврать? Никуда мне сейчас не хотелось, мне бы здесь, с этим домом разобраться, и я ляпнул:

— На Луне...

Он посмотрел на меня с удивлением.

— А за чем же дело стало? Нуль-кабина — в саду, справочник по шифрам я тебе дал... Набирай номер и отправляйся.

Нужна мне эта Луна...

— И отправлюсь, — сказал я. — Галоши вот только надену...

Сам не знаю, откуда эта присловка у меня взялась. Идиома, наверное, какая-нибудь. Засадили они мне ее в мозг, и теперь она время от времени у меня выскаивает.

— Что-что? — спросил Корней, подняв брови.

Я промолчал. Теперь вот на Луну надо. Раз сказал, значит, придется. А чего я там не видел? Вообще-то, конечно, не мешает посмотреть... Подумал я, сколько мне еще здесь надо посмотреть, и в глазах у меня потемнело. И ведь это только посмотреть! А надо еще запомнить, уложить в башке все это кирпичик к кирпичику, а в башке и так все перемешалось, будто я сто лет уже здесь болтаюсь, и все эти сто лет днем и ночью мне показывают какое-то сумасшедшее кино без начала и конца. Он ведь ничего от меня не скрывает. Нуль-транспортировка? Пожалуйста! Объясняет про нуль-транспортировку. И вроде бы понятно объясняет, модели показывает. Модели понимаю, а как работает нуль-кабина — нет, хоть кол на голове теши. Изгибание пространства, понял? Или, скажем, про эту пищу из тюбиков. Три часа он мне объяснял, а что осталось в голове? Субмолекулярное сжатие. Ну, еще расширение. Субмолекулярное сжатие — это, конечно, хорошо и даже прекрасно. Химия. А вот откуда кусок жареного мяса берется?

— Ну, что загрустил? — спросил Корней, утираясь салфеткой. — Трудно?

— Башка болит, — сказал я со злостью.

Он хмыкнул и принялся прибирать со стола. Я, конечно, как положено, сунулся ему помогать, только тут у них и

одному делать нечего. Всего и приборки-то: в середине стола лючок открыть и все туда спихнуть, а уж закрывать и не надо, само закроется.

— Пойдем кино посмотрим, — сказал он. — Один мой знакомый отличную ленту сделал. В стилистике, плоскую, черно-белую. Тебе понравится.

Короче, пришлось мне тут же сесть и смотреть это кино. Куролесица какая-то. Про любовь. Любят там друг друга двое аристократов, а родители против. Есть там, конечно, пара мест, где дерутся, но все на мечах. Снято, правда, здорово, у нас так не умеют. Один там другого ткнул мечом, так уж без обману: лезвие из спины на три пальца вылезло и даже вроде дымится... Вот им еще, например, зачем рабы нужны. Замутило меня от этой мысли, еле я дотерпел до конца. Вдбавок курить хотелось дико. Корней, как и Гепард, курение не одобряет. Предложил даже излечить от этой привычки, да я не согласился: всего-то от меня изначального одно это, может быть, и осталось... В общем, попросил я разрешения пойти к себе. Почитать, говорю. Про Луну. Поверили. Отпустили.

И вошел я в свою комнату, будто домой вернулся. Я ее сразу, как приехал, для себя переоборудовал. Тоже, между прочим, намучился. Корней мне, конечно, все объяснил, но я, конечно, ничего толком не понял. Стою посреди комнаты и ору, как псих: «Стул! Хочу стул!» Только потом понемногу приспособился. Здесь, оказывается, орать не надо, а надо только тихонечко представить себе этот стул во всех подробностях. Вот я и представил. Даже кожаная обшивка на сиденье продрана, а потом аккуратно заштопана. Это когда Заяц, помню, после похода сразу сел, а потом встал и зацепился за обшивку крючком от кошки. Ну и все остальное я устроил как у Гепарда в его комнатушке: койка железная с зеленым шерстяным покрывалом, тумбочка, железный ящик для оружия, столик с лампой, два стула и шкаф для одежды. Дверь сделал, как у людей, стены — в два цвета, оранжевый и белый, цвета его высочества. Вместо прозрачной стены сделал одно окно. Лампу подвесил с жестяным абажуром...

Конечно, все это декорация: ни жести, ни железа, ни дерева — ничего этого на самом деле здесь нет. И оружия у меня, конечно, никакого в железном ящике нет — лежит там один мой единственный автоматный патрон, который у меня в кармане куртки завалялся. И на тумбочке ничего нет. У Гепарда стояла фотография женщины с ребенком —

рассказывали, что жены с дочерью, сам он об этом никогда не говорил. Я тоже хотел поставить фотографию. Гепарда. Каким я его в последний раз видел. Но ничего у меня из этого не вышло. Наверное, Корней правильно объяснил, что для этого надо быть художником или там скульптором.

Но в общем мне моя конурка нравится. Я здесь отдаю душой, а то в других комнатах как в чистом поле, все насквозь простирается. Правда, нравится она здесь только мне. Корней посмотрел, ничего не сказал, но, по-моему, он остался недоволен. Да это еще полбеды. Хотите верьте, хотите нет, но эта моя комната сама себе не нравится. Или самому дому. Или, змеиное молоко, той невидимой силе, которая всем здесь управляет. Чуть отвлечешься, глядь — стула нет. Или лампы под потолком. Или железный ящик в такую нишу превратится, в которой они свои микрокниги держат.

Вот и сейчас. Смотрю — нет тумбочки. То есть тумбочка есть, но не моя тумбочка, не Гепарда, да и не тумбочка вовсе. Шут знает что — какое-то полуупрочарочное сооружение. Слава богу, хоть сигареты в нем остались как были. Родимые мои, самодельные. Ну, сел я на свой любимый стул, закурил сигаретку и это самое сооружение изничтожил. Честно скажу — с удовольствием. А тумбочку вернул на место. И даже номер вспомнил: 0064. Не знаю уж, что этот номер значит.

Ну, сижу я, курю, смотрю на свою тумбочку. На душе стало поспокойнее, в комнате моей приятный полумрак, окно узкое, отстреливается из него хорошо в случае чего. Было бы чем. И стал я думать: что бы это мне на тумбочку положить? Думал-думал и надумал. Снял я с шеи медальон, открыл крышечку и вынул портрет ее высочества. Обрастил я его рамкой, как сумел, пристроил посередине, закурил новую сигаретку, сижу и смотрю на прекрасное лицо Девы Тысячи Сердец. Все мы, Бойцовые Коты, до самой нашей смерти ее рыцари и защитники. Все, что есть в нас хорошего, принадлежит ей. Нежность наша, доброта наша, жалость наша — все это у нас от нее, для нее и во имя ее.

Сидел я так, сидел и вдруг спохватился: да в каком же это виде я перед нею нахожусь? Рубашка, штанишки, голоручка-голоножка... Тыфу! Я подскочил так, что даже стул упал, распахнул шкаф, сдернул с себя всю эту бело-синюю дрянь и натянул свое родимое — боевую маскировочную куртку и маскировочные штаны. Сандалии долой, на ноги — тяжелые ряжие сапоги с короткими голенищами. Подпоясался ремнем,

аж дыхание сперло. Жалко, берета нет — видимо, совсем берет сгорел, в пыль, даже не сумели восстановить. А может, я его сам потерял в той суматохе... Погляделся я в зеркало. Вот это другое дело: не мальчишка сопливый, а Бойцовый Кот — пуговицы горят, Черный Зверь на эмблеме зубы скалит в вечной ярости, пряжка ремня точно на пупе, как влитая. Эх, берета нет!..

И тут я вдруг заметил, что ору я Марш Боевых Котят, ору во весь голос, до хрипа, и на глазах у меня слезы. Допел до конца, глаза вытер и начал сначала, уже вполголоса, просто для удовольствия, от самой первой строчки, от которой всегда сердце щемит: «Багровым заревом затянут горизонт», и до самой последней, развеселой: «Бойцовый Кот нигде не пропадет». Мы там еще один куплет сочинили сами, но такой куплет в трезвом виде, да еще имея перед глазами портрет Девы, исполнять никак невозможно. Гепард, помню Крокодила за уши при всех оттаскал за этот куплет...

Змеиное молоко! Опять! Опять эта лампа в какой-то дурацкий светильник превратилась. Ну что ты будешь с ней делать... Попробовал я этот светильник обратно в лампу превратить, а потом плюнул и изничтожил совсем. Отчаяние меня взяло. Ну где мне с ними справиться, когда я с собственной комнатой справиться не могу! С домом этим проклятым... Поднял я стул и снова уселся. Дом. Как хотите, ребята, а с домом этим все неладно. Казалось бы, проще простого: стоит двухэтажный дом, рядом роща, вокруг на двадцать пять километров голая степь, как доска, в доме двое — я и Корней. Всё. Так вот, ребята, оказывается, не всё.

Во-первых — голоса. Говорит кто-то, и не один, и не радио какое-нибудь. По всему дому голоса. И не то чтобы ночью — среди бела дня. Кто говорит, с кем говорит, о чем говорит — ничего не понятно. Причем, заметьте, Корней в доме в это время нет. Тоже, между прочим, вопрос: куда он девается... Хотя, кажется, на этот вопрос я ответ нашел. Страху набрался, но нашел. А было так. Позавчера сижу я у окна и наблюдаю за нуль-кабиной. Она наискосок, в конце песчаной дорожки, шагах в пятидесяти. Потом слышу — в глубине дома вроде бы хлопнула дверь, и сразу же — тишина, и чувствую я, что опять остался в доме один. Так, думаю, значит, он не через нуль-кабину уходит. И тут меня как обухом по голове ударило: дверь! Где же это, кроме моей комнаты, в нашем доме двери, которые хлопать могут?

Выскочил я из комнаты, спустился на первый этаж. Сунулся туда, сюда — коридор какой-то, светлый, окно вдоль стены... ну, это как всегда у них. И вдруг слышу — шаги. Не знаю, что меня остановило. Притаился, стою не дышу. Коридор пустой, в дальнем конце дверь, обыкновенная, крашеная... Как я ее раньше не замечал — не понимаю. Как я коридора этого раньше не замечал — тоже не понимаю. Ну, это ладно. Главное — шаги. Несколько человек. Ближе, ближе, и вот — у меня даже сердце сжалось — прямо из стены на середине коридора выходят один за другим трое. Змеиное молоко! Имперские парашютисты, в полном боевом, в этих своих разрисованных комбинезонах, автомат под мышкой, топорик на заду... Я сразу лег. Один ведь, и ничего нет — голые руки. Оглянулся — пронал. Не оглянулись. Протопали в дальний конец коридора к той самой двери, и нет их. Дверь хлопнула, как от сквозняка, и всё. Ну, ребята... Как дунул я обратно к себе в комнату — и только там опомнился...

До сих пор не понимаю, что бы это могло значить. То есть ясно теперь, как Корней из дома исчезает. Через эту самую дверь. Но вот откуда здесь крысоеды взялись, да еще в полном боевом... И что это за дверь?

Бросил я окурок на пол, посмотрел, как пол его в себя втягивает, и поднялся. Страшновато, конечно, но надо же когда-нибудь начинать. А если начинать, то с этой двери. В саду на лужайке с грушей за щекой оно, конечно, приятнее... или, скажем, марши распевать, запервшись в комнате... Высунул я за дверь голову и прислушался. Тихо. Но Корней — у себя. Может, это даже и лучше. В случае чего заору благим матом — выручит. Спустился я в тот коридор, иду на цыпочках, даже руки расставил. До этой двери я целую вечность добирался. Пройду десять шагов, остановлюсь, послушаю — и дальше. Добрался. Дверь как дверь. Никелированная ручка. Приложил ухо — ничего не слыхать. Нажал плечом. Не открывается. Взялся за ручку, потянул. Опять не открывается. Интересно. Вытер я со лба пот, оглянулся. Никого. Снова взялся за ручку, снова потянул, и тут стала дверь открываться. Со страху или от неожиданности я ее, проклятую, опять захлопнул. В башке у меня пустота, и только одна мыслишка там прыгает, как горошина в бензобаке: не лезь, дурак, не суйся, тебя не трогают, и ты не трогай... И тут из меня и эту последнюю мыслишку вышибло.

Смотрю: прямо на стене сбоку от двери маленькими акку-

ратными буквами написано по-алайски «значит». То есть там вообще-то много чего было написано, всего в количестве шести строчек, но все остальное была математика, причем такая математика, что я в ней одни только плюсы и минусы разбирал. Так это выглядело: четыре строчки этой самой математики, потом слово «значит», подчеркнутое двумя чертами, а потом еще две строчки формул, обведенные жирной рамкой, на ней у него грифель раскрошился, у того, кто писал. Вот так так... В бедной голове моей, в пустом моем бензобаке, такая тут толкотня поднялась, что я и про дверь забыл. Выходит, я не один тут, есть еще алайцы? Кто? Где? Почему я вас не видел до сих пор? Зачем вы это написали? Знак подаете? Кому? Мне? Так я же математики не знаю... Или эту математику вы развели только для отвода глаз? Ничего я не успел в этот раз додумать, потому что услыхал, как меня зовет Корней. Я как полоумный сорвался с места и на цыпочках взлетел к себе. Кое-как бухнулся на стул, закурил и схватил какую-то книжку. Корней внизу гаркнул еще пару раз, а потом смышу — стучит в дверь.

Это у него, между прочим, правило: хоть он и в своем доме, но никогда не войдет без стука. Это мне нравится. Мы к Гепарду тоже всегда стучали. Но сейчас-то мне было не до этого. «Войдите», — говорю и делаю на лице наиввозможнейшую задумчивость, будто я так зачитался, что ничего не вижу и не слышу.

Он вошел, остановился на пороге, прислонился к косяку и смотрит. По лицу ничего не понять. Тут я сделал вид, что спохватился, и притушил окурок. Тогда он заговорил.

— Ну, как Луна? — спрашивает.

Я молчу. Сказать мне нечего. В таких вот случаях мне всегда кажется, что он костерить меня начнет, но этого никогда не бывает. Так вот и сейчас.

— Пойдем-ка, — говорит. — Я тебе кое-что покажу.

— Слушаюсь, — говорю. И на всякий случай спрашиваю: — Прикажете переодеться?

— А тебе в этом не жарко? — спрашивает он.

Я только усмехнулся. Не смог удержаться. Вот так вопросик!

— Ну, извини, — говорит он, словно мои мысли подслушал. — Пошли.

И повел он меня, куда раньше никогда не водил. Не-ет, ребята, я с этим домом никогда не разберусь. Я даже и

и с знал, что в этом доме такое есть. В гостиони он ткнулся в стёну рядом с книжной нишой — и открылась дверца, а за дверцей оказалась лестница вниз, в подпол. Оказывается, у этого дома еще целый этаж есть, под землей, такой же роскошный и освещен как бы дневным светом, но это не для жилья. У него там что-то вроде музея. Огромная комната, и чего там только нет!

— Понимаешь, Гаг,— говорит он мне с каким-то странным выражением — с грустью, что ли? — Я ведь раньше работал космозоологом, исследовал жизнь на других планетах. Ах, какое это было чудесное время! Вот посмотри-ка! — Он схватил меня за рукав и поволок в угол, где на черной лакированной подставке был растопырен какой-то странный скелет величиною с собаку. — Видишь, у него два позвоночника. Зверь с Нистагмой. Когда мы взяли первый экземпляр, то подумали сначала, что это какое-то уродство. Потом другой такой же, третий... Выяснилось, что на Нистагме обитает целый новый бранч животного мира — двуххордовые. Их нет больше нигде... да и на Нистагме только один вид. Откуда он взялся? Почемум?

И пошел, и пошел. Таскал он меня от скелета к скелету, руками размахивал, голос возвышал — я таким его еще не видывал. Здоровово, наверное, он любил эту свою космозоологию. Или связаны были у него с ней какие-то особенные воспоминания.

Не знаю. Из того, что он мне говорил, я, конечно, мало что понял и мало что запомнил, да, в общем, и не особенно старался. Какое мне до всего этого дело? Забавно было только на него смотреть, а уж эти зверюги!.. У него их, наверное, штук сто. Либо скелеты, либо целиком, словно бы вплавленные в такие здоровенные прозрачные глыбы (как я понимаю — для особой сохранности), либо просто чучела, как в охотничьем домике у его высочества, а то — одни только головы или шкуры.

Вот во втором зале у него — мы как туда вошли, я даже попятился — вся стена справа завешена одной шкурой. Змеиное молоко! Длиной метров двадцать, в поперечнике метра три, а то и все четыре, аж на потолок краем залезает. И вся эта шкура покрыта не то пластинами, не то чешуей, и каждая чешуища — с хорошее блюдо, и каждая сияет чистейшим изумрудным светом с красными огоньками, так что вся зала от этой шкуры кажется будто зеленоватой. Я обалдел, глаз не могу оторвать от этого сияния. Это же надо, что на

свете бывает! А головка маленькая, в мой кулак, и глаз не видно, а в рот палец не просунешь — как это оно питало свою тушу, непонятно...

Потом смотрю — в конце залы вроде бы еще одна дверь. В темное помещение. Подошли поближе — да, ребята, это, оказывается, не дверь. Это, оказывается, пасть раскрытая. Ей-богу, дверь. И даже не в комнату дверь, а, скажем, в гараж. Или, может быть, в ангар. Называется эта зверюга тахорг, и добывают ее на планете Пандора. А Корней мимо нее рассеянно этак прошел, как будто это черепаха какая-нибудь или, например, лягушка. А голова ведь — с два вагона хороших, в пасти всю нашу школу разместить можно. Это какое же должно быть тулово при такой голове! И каково его добывать было! Из ракетомета, наверное...

Ну, чего там еще было? Ну, там всякие птицы, насекомые громадные... Нога мне запомнилась. Стоит посередине зала нога. Тоже залита в этот прозрачный материал. Ну, страшная нога, конечно. Выше меня ростом, узловатая, как старое дерево, когти — восемь штук, такие у дракона Гугу изображают, каждый коготь как сабля... Ладно. Замечательно что? Оказывается, кроме такой вот ноги или, скажем, хвоста, ни в одном музее ничего от этого зверя нет. Обитает он на планете Яйла, и сколько лет за ним ни охотятся, а целиком добыть так и не сумели. Пули его не берут, газы его не берут, из любой ловушки он уходит, мертвыми их вообще никогда не видали, а добывают вот так — по частям. У них, оказывается, поврежденные части запросто отваливаются, некоторое время еще как бы живут — скребутся там или дергаются, — ну, потом, конечно, замирают... Да, нога. Я перед этой ногой стоял с развязленной пастью, что твой тахорг. Велик все-таки создатель...

Ну, ходим мы вот так, ходим, Корней рассказывает, горячится, а мне уже все это малость надоело, и стал я снова думать о своем. Сначала об этой надписи в коридоре, как мне с ней быть и какие я из нее выводы должен сделать, а потом меня снова чего-то свернуло на Корнея. Почему это, думаю, он один живет? Богатый ведь человек, самостоятельный. Где у него жена, где дети? Вообще-то какая-то женщина у него есть. Первый раз я ее еще в госпитале видел, они там через весь зал перемигивались. А потом она и сюда к нему приходила. То есть, как она приходила, я не видел, но вот как он ее провожал, до самой нуль-кабинь довел — это у меня все на глазах было. Только у него с нею настоящего счастья нет. Он ей: «Я жду



тебя каждый день, каждый час, всегда». А она ему: «Ненавижу; мол, каждый день, каждый час...» — или что-то в этом роде. Видали? А чего тогда приходила, спрашивается? Только расстроила человека до последней степени. Она в эту кабину — фр-р-р! — и как не было, а он стоит, бедняга, и на лице у него опять эта тоска с болью пополам, как тогда в госпитале, и я наконец вспомнил, у кого такие лица видел: у смертельно раненных, когда они кровью истекают... Нет, у него в личной жизни неудача, я уж на что посторонний человек — простым глазом вижу... Может, он потому и работает днем и ночью, чтобы отвлечься. И бзик этот зоологический у него из-за этого... Отпустит он меня когда-нибудь из этого подпола, или так и будем здесь всю жизнь ходить? Нет, не отпускает. Опять чего-то объяснять начал. Половину-то хоть мы осмотрели? Пожалуй, осмотрели...

Да-а, жило все это зверье, поживало за тысячи световых лет от этого места. Горя не знало, хотя имело, конечно, свои заботы и хлопоты. Пришли, сунули в мешок и — в этот музей. С научной целью. И мы вот тоже — живем, сражаемся, историю делаем, врагов ненавидим, себя не жалеем, а они смотрят на нас и уже готовят мешок. С научной целью. Или еще с какой-нибудь. Какая нам, в конце концов, разница? И может быть, стоять нам всем в таких вот подвалах, а они будут около нас руками размахивать и спорить: почему мы такие, и откуда взялись, и зачем. И до того мне вдруг родными сделались все эти зверюги... Ну, не родными, конечно, а как бы это сказать... Вот говорят, во время наводнений или там, скажем, когда пожар в джунглях, хищники с травоядными спасаются плечо к плечу и становятся как бы даже друзьями, даже помогают друг другу, я слыхал. Вот и у меня такое же появилось чувство. И, как на грех, именно в этот момент я увидел скелет.

Стоит в углу скромно, без особенной какой-нибудь подсветки, невелик росточком — пониже меня. Человек. Череп, руки, ноги. Что я, скелетов человеческих не видел? Ну, может, грудная клетка пошире, ручки такие маленькие, между пальчиками вроде бы перепонки, и ножки кривоватые. Все равно — человек.

Наверное, что-то с моим лицом тут сделалось, потому что Корней вдруг остановился, посмотрел пристально на меня, потом на этот скелет, потом опять на меня.

— Ты что? — спрашивает. — Не понимаешь что-нибудь?

Я молчу, уставился на этот скелет, а на Корнея стараюсь

не глядеть. Я ведь как ждал чего-нибудь такого. А Корней говорит спокойно:

— Да-а, это тот самый знаменитый псевдохомо, тоже знаменитая загадка природы. Ты уже где-нибудь прочитал про него?

— Нет, — сказал я, а сам думаю: сейчас он мне все объяснит. Он очень хорошо мне все объяснит. Да вот стоит ли верить?

— Это удивительная история, — сказал Корней, — и в некотором роде трагическая. Понимаешь, эти существа должны были оказаться разумными. По всем законам, какие нам известны, должны. — Тут он развел руки. — Но — не оказались. Скелет — чепуха, я тебе потом фотографий покажу. Страшно! В прошлом веке научная группа на Тагоре открыла этих псевдохомо. Долго пытались вступить с ними в контакт, наблюдали их в естественных условиях, исследовали и пришли к выводу, что это животные. Звучало это парадоксом, но факт есть факт: животные. Соответственно с ними и обращались, как с животными: держали в зверинце, при необходимости забивали, анатомировали, препарировали, брали скелеты и черепа для коллекций. Как-никак ситуация в научном смысле уникальная. Животное обязано быть человеком, но человеком не является. И вот еще несколько лет спустя на Тагоре обнаруживают мощнейшую цивилизацию. Совершенно не похожую ни на нашу земную, ни на вашу — невиданную, совершенно фантастической фактуры, но несомненную. Представляешь, какой это был ужас? Из первооткрывателей один сошел с ума, другой застрелился... И только еще через двадцать лет нашли! Оказалось: да, есть на планете разум. Но совершенно нечеловеческий. До такой степени не похож ни на нас, ни на вас, ни, скажем, на леонидян, что наука просто не могла даже предположить возможность такого феномена... Да... Это была трагедия. — Он вдруг как-то поскучнел и пошел из зала, словно забыл обо мне, но на пороге остановился и сказал, глядя на скелет в углу: — А сейчас есть гипотеза, что это вот — искусственные существа. Понимаешь, тагоряне их создали сами, смоделировали, что ли. Но для чего? Мы ведь так и не сумели найти с тагорянами общего языка... — Тут он посмотрел на меня, хлопнул по плечу и сказал: — Вот так-то, брат-храбрец. А ты говоришь — космозоология...

Не знаю уж, правду он мне рассказал или выдумал всё, чтобы мозги мне окончательно замутить, но только охота размахивать руками и излагать мне про всякие загадки природы

у него после этого пропала. Пошли мы из музея вон. Он молчит, я тоже, в душе у меня какой-то курятник нечищенный, и таким манером пришли мы к нему в кабинет. Он уселся в свое кресло перед экранами, вынул из воздуха бокал со своей любимой шипучкой, стал тянуть через соломинку, а сам смотрит как бы сквозь меня. В кабинете у него, кроме этих экранов и ненормального количества книг, ничего, в общем-то, и нет. Даже стола у него нет, до сих пор не могу понять, что он делает, когда ему какую-нибудь бумагу надо, скажем, подписать. И нет у него в кабинете ни картин, ни фотографий, ни украшений каких-нибудь. А ведь он богатый человек, мог бы себе позволить. Я бы на его месте, если, скажем, наличности не хватает, шкуру бы эту изумрудную загнал, слуг бы нанял, статуй бы везде расставил, ковры бы навесил — знай наших... Правда, что с него взять — холостяк. А может быть, ему и по должности не положено роскошествовать. Что я о его должности знаю? Ничего. То-то он музей в подвале держит...

— Слушай, Гаг,— говорит он вдруг.— А ведь тебе, наверное, скучно здесь, а?

Застал он меня этим вопросом врасплох. Кто его знает, как тут надо отвечать. Да и вообще — откуда я знаю, скучно мне здесь или нет? Тоскливо — это да. Неуютно — да. Места себе не нахожу — да. А скучно?.. Вот человеку в окопе под обстрелом — скучно? Ему, ребята, скучать некогда. И мне здесь скучать пока некогда.

— Никак нет,— говорю.— Я свое положение понимаю.

— Ну и как же ты его понимаешь?

— Всесдело нахожусь в вашем распоряжении.

Он усмехнулся.

— В моем распоряжении... Ладно, не будем об этом. Я, как видишь, не могу уделять тебе все свое время. Да ты, по-моему, к этому и не стремишься особенно. Стараешься держаться от меня подальше...

— Никак нет,— возражаю я вежливо.— Никогда не забуду, что вы мой спаситель.

— Спаситель? Гм... До спасения еще далеко. А вот не хочешь ли ты познакомиться с одним интересным субъектом?

У меня сердце ёкнуло.

— Как прикажете,— говорю.

Он подумал.

— Пожалуй, прикажу,— сказал он, поднимаясь.— Пожалуй, это будет полезно.

И с этими непонятными словами подошел он к дальней стене, что-то там сделал, и стена раскрылась. Я глянул и попятился. Что стены у них здесь поминутно раскрываются и закрываются — к этому я уже привык, и это мне уже надоело. Но ведь я что думал? Думал, он меня с этим математиком хочет познакомить, а там — змеиное молоко! — стоит там, ребята, этакий долдон в два с половиной метра ростом, плечищи, ручищи, шеи нет совсем, а морда закрыта как бы забралом, частой такой матовой решеткой, а по сторонам головищи торчат то ли фары, то ли уши. Я честно скажу: не будь я в мундире, я бы удрал без памяти. Честно. Я бы и в мундире удрал, да ноги отнялись. А тут этот долдон вдобавок еще произносит густым басом:

— Привет, Корней.

— Привет, Драмба,— говорит ему Корней.— Выходи.

Тот выходит. И опять — чего я ожидал? Что от его шагов весь дом затрясется. Чудище ведь, статуя! А он вышел, как по воздуху выплыл. Ни звука, ни шороха — только что стоял в нише, а теперь стоит посередине комнаты и эти свои уши-фары на меня навел. Я чувствую: за лопатками у меня стена, и отступать дальше некуда. А Корней смеется, бродяга, и говорит:

— Да ты не трусь, не трусь, Бойцовый Кот! Это же робот! Машина!

Спасибо, думаю. Легче мне стало оттого, что это машина, как же.

— Таких мы теперь больше не делаем,— говорит Корней, поглаживая долдона по локтю и сдувая с него какие-то там пылинки.— А вот мой отец с такими хаживал и на Яйлу, и на Пандору. Помнишь Пандору, Драмба?

— Я все помню, Корней,— басит долдон.

— Ну вот, познакомьтесь,— говорит Корней.— Это — Гаг, парень из преисподней. На Земле новичок, ничего здесь не знает. Переходиши в его распоряжение.

— Жду ваших приказаний, Гаг,— басит долдон и как бы в знак приветствия поднимает широченную свою ладонь под самый потолок.

В общем, все кончилось благополучно. А глубокой ночью, когда дом спал, я прокрался в тот самый коридор и под математическими формулами написал: «Кто ты, друг?»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Когда они вышли к заброшенной дороге, солнце уже поднялось высоко над степью. Роса высохла, жесткая короткая трава шуршала и похрустывала под ногами. Мириады кузнецов звенели вокруг, острый горький запах поднимался от нагретой земли.

Дорога была странная. Совершенно прямая, она выходила из-за мутно-синего горизонта, рассекала круг земли напополам и уходила снова за мутно-синий горизонт, туда, где круглые сутки, днем и ночью, что-то очень далекое и большое невнятно вспыхивало, мерцало, двигалось, вспучивалось и опадало. Дорога была широкая, она матово отсвечивала на солнце, и полотно ее как бы лежало поверх степи массивной, в несколько сантиметров толщиной, закругленной на краях полосой какого-то плотного, но не твердого материала. Гаг ступил на нее и, удивляясь неожиданной упругости, несколько раз легонько подпрыгнул на месте. Это, конечно, не был бетон, но это не был и прогретый солнцем асфальт. Что-то вроде очень плотной резины. От этой резины шла прохлада, а не душный зной раскаленного покрытия. И на поверхности дороги не было видно никаких следов, даже пыли не было на ней. Гаг наклонился и провел рукой по гладкой, почти скользкой поверхности. Посмотрел на ладонь. Ладонь осталась чистой.

— Она сильно усохла за последние восемьдесят лет, — прогудел Драмба. — Когда я видел ее в последний раз, ее ширина была больше двадцати метров. И тогда она еще двигалась.

Гаг соскочил на землю.

— Двигалась? Как двигалась?

— Это была самодвижущаяся дорога. Тогда было много таких дорог. Они опоясывали весь земной шар, и они текли — по краям медленнее, в центре очень быстро.

— У вас не было автомобилей? — спросил Гаг.

— Были. Я не могу вам сказать, почему люди увлеклись созданием таких дорог. Я имею только косвенную информацию. Это было связано с очищением среды. Самодвижущиеся дороги очищали. Они убирали из атмосферы, из воды, из земли все лишнее, все вредное.

— А почему она сейчас не движется? — спросил Гаг.

— Не знаю. Все очень изменилось. Раньше на этой дороге были толпы людей. Теперь никого нет. Раньше в этом небе

в несколько горизонтов шли, шли потоками летательные аппараты. Теперь в небе пусто. Раньше по обе стороны от дороги стояла пшеница в мой рост. Теперь это степь.

Гаг слушал, приоткрыв рот.

— Раньше через мои рецепторы, — продолжал Драмба монотонным голосом, — ежесекундно проходили сотни радиоимпульсов. Теперь я не ощущаю ничего, кроме атмосферных разрядов. Сначала мне показалось даже, что я заболел. Но теперь я знаю: я прежний. Изменился мир.

— Может быть, мир заболел? — спросил Гаг живо.

— Не понимаю, — сказал Драмба.

Гаг отвернулся и стал смотреть туда, где горизонт вспыхивал и шевелился. «Черта с два, — угрюмо подумал он. — Как же, заболеют они!»

— А там что? — спросил он.

— Там Антонов, — ответил Драмба. — Это город. Восемьдесят лет назад его не было видно отсюда. Это был сельскохозяйственный город.

— А сейчас?

— Не знаю. Я все время вызываю информаторий, но мне никто не отвечает.

Гаг смотрел на загадочное мерцание, и вдруг из-за горизонта возникло что-то невероятно огромное, похожее на косой парус невообразимых размеров, почти такое же серо-голубое, как небо, может быть — чуть темнее, медленно и величественно описало дугу, словно стрелка часов прошла по циферблату, и снова растворилось в туманной дымке. Гаг перевел дух.

— Видел? — спросил он шепотом.

— Видел, — сказал Драмба удрученно. — Не знаю, что это такое. Раньше такого не было.

Гаг зябко передернул плечами.

— Толку от тебя... — проворчал он. — Ладно, пошли домой.

— Вы хотели посетить ракетодром, — напомнил Драмба.

— Господин! — резко сказал Гаг.

— Не понимаю...

— Когда обращаешься ко мне, изволь добавлять «господин»!

— Понял, господин.

Некоторое время они шли молча. Кузнечики сухими брызгами разлетались из-под ног. Гаг искоса поглядывал на бесшумного колосса, который плавно покачивался рядом с ним. Он вдруг заметил, что около Драмбы, совсем как давеча около

дороги, держится своя атмосфера — свежести и прохлады. Да и сделан был Драмба из чего-то похожего: такой же плотно-упругий, и так же матово отсвечивали кисти его рук, торчащие из рукавов синего комбинезона. И еще Гаг заметил, что Драмба все время держится так, чтобы быть между ним и солнцем.

— Ну-ка расскажи еще раз про себя, — приказал Гаг.

Драмба повторил, что он — робот-androид номер такой-то из экспериментальной серии экспедиционных роботов, сконструирован тогда-то (около ста лет назад — ничего себе стариака-шечка!), задействован тогда-то. Работал в таких-то экспедициях, на Яйле претерпел серьезную аварию, был частично разрушен; реконструирован и модернизирован тогда-то, но больше в экспедициях не участвовал...

— В прошлый раз ты говорил, что пять лет простоял в музее, — прервал его Гаг.

— Шесть лет, господин. В Музее истории открытий в Любеке.

— Ладно, — проворчал Гаг. — А потом восемьдесят лет ты торчал в этой нише у Корнея...

— Семьдесят девять лет, господин.

— Ладно-ладно, нечего меня поправлять... — Гаг помолчал. — Скучно, наверное, было стоять?

— Не понимаю вопроса, господин.

— Экая дубина... Впрочем, это никого не интересует. Ты мне лучше вот что скажи. Чем ты отличаешься от людей?

— Я всем отличаюсь от людей, господин. Химией, принципом системы управления и контроля, назначением.

— Ну и какое у тебя, у дубины, назначение?

— Выполнять все приказания, которые я способен выполнить.

— Хе!.. А у людей какое назначение?

— У людей нет назначения, господин.

— Долдон ты, парень! Деревня. Что бы ты понимал в настоящих людях?

— Не понимаю вопроса, господин.

— А я тебя ни о чем и не спрашиваю пока.

Драмба промолчал.

Они шагали через степь, все больше уклоняясь от прямой дороги к дому, потому что Гагу стало вдруг интересно посмотреть, что за сооружение торчит на небольшом холме справа. Солнце было уже высоко, над степью дрожал раскаленный воздух, душный острый запах травы и земли все усиливался.

— Значит, ты готов выполнить любое мое приказание? спросил Гаг.

— Да, господин. Если это в моих силах.

— Ну, хорошо... А если я прикажу тебе одно, а... м-м-м... кто-нибудь еще.— совсем противоположное? Тогда что?

— Не понял, кто отдает второе приказание.

— Ну... м-м-м... Да все равно кто.

— Это не все равно, господин.

— Ну, например, Корней...

— Я выполню приказ Корнея, господин.

Некоторое время Гаг молчал. «Ах ты скотина, — думал он.— Дрянь этакая».

— А почему? — спросил он наконец.

— Корней старше, господин. Индекс социальной значимости у него гораздо выше.

— Что еще за индекс?

— На нем больше ответственности перед обществом.

— А ты откуда знаешь?

— Уровень информированности у него значительно выше.

— Ну и что же?

— Чем выше уровень информированности, тем больше ответственности.

«Ловко,— подумал Гаг.— Не придерешься. Все верно. Я здесь как дитя малое. Ну, мы еще посмотрим...»

— Да, Корней — великий человек,— сказал он.— Мне до него, конечно, далеко. Он все видит, все знает. Вот мы сейчас идем с тобой, болтаем, а он небось каждое наше слово слышит. Чуть что не так, он нам задаст...

Драмба молчал. Шут его знает, что происходило в его ушастой башке. Морды, можно сказать, нет, глаз нет — ничего не понять. И голос все время одинаковый...

— Правильно я говорю?

— Нет, господин.

— Как так — нет? По-твоему, Корней может чего-нибудь не знать?

— Да, господин. Он задает вопросы.

— Сейчас, что ли?

— Нет, господин. Сейчас у меня с ним нет связи.

— Что же он, по-твоему, не слышит, что ты сейчас говоришь? Или что я тебе говорю? Да он, если хочешь знать, даже наши мысли слышит! Не то что разговоры...

— Понял вас, господин.

Гаг посмотрел на Драмбу с ненавистью.

— Что ты понял, раздолбай?

— Понял, что Корней располагает аппаратурой для восприятия мыслей.

— Кто тебе сказал?

— Вы, господин.

Гаг остановился и плюнул в сердцах. Драмба тоже сейчас же остановился. Эх, садануть бы ему промеж ушей, да ведь не достанешь. Это надо же, какая дубина! Или притворяется? Спокойнее, Кот, спокойнее! Хладнокровие и выдержка.

— А до меня ты этого не знал, что ли?

— Нет, господин. Я ничего не знал о существовании такой аппаратуры.

— Так ты что же, дикобраз, хочешь сказать — что такой великий человек, как Корней, не видит нас сейчас и не слышит?

— Прошу уточнить: аппаратура для восприятия мыслей существует?

— Откуда я знаю? Да и не нужно аппаратуры! Ты ведь умеешь передавать изображение, звук...

— Да, господин.

— Передаешь?

— Нет, господин.

— Почему?

— Не имею приказа, господин.

— Хе... Приказа не имеешь, — проворчал Гаг. — Ну, чего встал? Пошли!

Некоторое время они шли молча. Потом Гаг сказал:

— Слушай, ты! Кто такой Корней?

— Не понимаю вопроса, господин.

— Ну... какая у него должность? Чем он занимается?

— Не знаю, господин.

Гаг снова остановился.

— То есть как это не знаешь?

— Не имею информации.

— Он же твой хозяин! Ты не знаешь, кто твой хозяин?

— Знаю.

— Кто?

— Корней.

Гаг стиснул зубы.

— Странно как-то у тебя получается, Драмба, дружок, —

сказал он вкрадчиво.— Корней — твой хозяин, ты у него восемьдесят лет в доме и ничего о нем не знаешь?

— Не так, господин. Мой первый хозяин — Ян, отец Корнея. Ян передал меня Корнею. Это было тридцать лет назад, когда Ян удалился, а Корней выстроил дом на месте лагеря Яна. С тех пор Корней мой хозяин, но я с ним никогда не работал и потому не знаю, чем он занимается.

— Угу... — произнес Гаг и двинулся дальше.— Значит, ты про него вообще ничего не знаешь?

— Это не так. Я знаю про него очень много.

— Рассказывай, — потребовал Гаг.

— Корней Янович. Рост — сто девяносто два сантиметра, вес по косвенным данным — около девяноста килограммов, возраст по косвенным данным — около шестидесяти лет, индекс социальной значимости по косвенным данным — около ноль девять...

— Подожди, — ошеломленно сказал Гаг.— Заткнись на минутку. Ты о деле говори, что ты мне бубнишь?

— Не понял приказа, господин, — немедленно откликнулся Драмба.

— Ну-ну... например, женат или нет, какое образование... дети... Понял?

— Сведений о жене Корнея не имею. Об образовании — тоже.— Робот сделал паузу.— Имею информацию о сыне: Андрей, около двадцати пяти лет.

— О жене ничего не знаешь, а о сыне знаешь?

— Да, господин. Одиннадцать лет назад получил приказ перейти в распоряжение подростка, по косвенным сведениям четырнадцати лет, которого Корней называл «сын» и «Андрей». Находился в его распоряжении четыре часа.

— А потом?

— Не понял вопроса, господин.

— Потом ты его видел когда-нибудь?

— Нет, господин.

— Поня-атно, — задумчиво произнес Гаг. — Ну и чем вы с ним занимались эти четыре часа?

— Мы разговаривали. Андрей расспрашивал меня о Корнеев. Гаг споткнулся.

— Что ты ему сказал?

— Все, что знал: рост, вес. Потом он меня прервал. Потребовал, чтобы я рассказал ему о работе Яна на других планетах.



Да-а. Такие, значит, дела. Ну, это нас не касается. Но какова дубина! Уж о доме его и спрашивать нечего, ясно, что ничего не знает. Все планы мои разрушил, бродяга... Зачем же все-таки Корней мне его подсунул? Вот дьявол, как же мне его проверить? Мне ведь шагу нельзя будет ступить, если я его не проверю!

— Напоминаю, — подал голос Драмба, — что вы намеревались отправиться домой

— Ну, намеревался. А в чем дело?

— Мы все больше уклоняемся от курса, господин.

— Тебя не спросили, — сказал Гаг. — Я хочу посмотреть что это там за штука на холме...

— Это обелиск, господин. Памятник над братской могилой

— Кому? — с живостью спросил Гаг.

— Героям последней войны. Сто лет назад археологи обнаружили в этом холме братскую могилу.

Посмотрим, подумал Гаг и ускорил шаги. Дерзкая и даже страшная мысль пришла ему в голову. Рискованно, подумал он. Ох, сорвут мне башку! А за что? Откуда мне знать, что к чему? Я здесь человек новый, ничего этого не понимаю и не знаю... Да и не выйдет, наверное, ничего. Но уж если выйдет... Если выйдет — тогда верняк. Ладно, попробуем.

Холм был невысокий, метров двадцать — двадцать пять, и еще на столько же возвышалась над ним гранитная плита, отполированная до глади с одной стороны и грубо стесанная со всех остальных. На полированной поверхности вырезана была надпись — старинными буквами, которых Гаг не знал. Гаг обошел обелиск и вернулся в тень. Сел.

— Рядовой Драмба! — сказал он негромко.

Робот повернулся к нему ушастую голову.

— Когда я говорю «рядовой Драмба», — по-прежнему негромко произнес Гаг, — надо отвечать: «Слушаю, господин капрал».

— Понял, господин.

— Не господин, а господин капрал! — заорал Гаг и вскочил

на ноги. — Господин капрал, понял? Корыто деревенское!

- Понял, господин капрал.
- Не понял, а так точно!
- Так точно, господин капрал.

Гаг подошел к нему вплотную, подбоченился и снизу вверх уставился в непроницаемую матовую решетку.

— Я из тебя сделаю солдата, дружок, произнес он ласково-зловещим голосом. — Как стоишь, бродяга? Смирно!

— Не понял, господин капрал, — монотонно прогудел Драмба.

— По команде «смирно» надлежит сомкнуть пятки и развернуть носки, выпятив грудь как можно дальше вперед, прижав ладони к бедрам и оттопырив локти... Вот так. Неплохо.. Рядовой Драмба, вольно! По команде «вольно» надлежит отставить ногу и заложить руки за спину. Так. Уши твои мне не нравятся. Уши можешь опустить?

- Не понял, господин капрал.

— Вот эти штуки свои, которые торчат, можешь опустить по команде «вольно»?

- Так точно, господин капрал. Могу. Но буду хуже видеть

— Ничего, потерпишь... А ну-ка, попробуем.. Рядовой Драмба, смирно! Вольно! Смирно! Вольно!..

Гаг вернулся в тень обелиска и сел. Да, таких бы солдат хотя бы взвод. На лету схватывает. Он представил себе взвод таких вот драмб на позиции у той деревушки. Облизнул сухие губы. Да, такого дьявола, наверное, ракетой не прошибешь. Я только вот чего все-таки не понимаю: думает этот додон или нет?

- Рядовой Драмба! — гаркнул он.
- Слушаю, господин капрал.
- О чём думаешь, рядовой Драмба?
- Ожидаю приказаний, господин капрал.
- Молодец! Вольно!

Гаг вытер пальцем капельки пота, выступившие на верхней губе, и сказал:

— Отныне ты есть солдат его высочества герцога Алайского. Я — твой командир. Все мои приказания для тебя закон. Никаких рассуждений, никаких вопросов, никакой болтовни!



Ты обязан с восторгом думать о той минуте, когда наступит счастливый миг сложить голову во славу его высочества...

Болван, наверное, половины не понимает, ну да ладно. Важно вбить ему в башку основы. Дурь из него вышибить. А понимает он там или не понимает — дело десятое.

— Все, чему тебя учили раньше, забудь. Я твой учитель! Я твой отец и твоя мать. Только мои приказы должны выполняться, только мои слова могут быть для тебя приказом. Все, о чем я говорю с тобой, все, что я тебе приказываю, есть военная тайна. Что такое тайна — знаешь?

— Нет, господин капрал.

— Гм... Тайна — это то, о чем должны знать только я и ты. И его высочество, разумеется.

Круговато я взял, подумал он. Рано. Деревня ведь. Ну ладно, там видно будет. Надо его сейчас погонять. Пусть с него семь потов сойдет, с бродяги.

— Смир-рна! — скомандовал он. — Рядовой Драмба, тридцать кругов вокруг холма — бегом марш!

И рядовой Драмба побежал. Бежал он легко и как-то странно, не по уставу и вообще не по-людски — не бежал даже, а летел огромными скачками, надолго зависая в воздухе, и при этом по-прежнему держал ладони прижатыми к бедрам. Гаг, приоткрыв рот, следил за ним. Ну и ну! Это было похоже на сон. Совершенно бесшумный полубег-полуполет, ни топота, ни хриплого дыхания, и не оступится ведь ни разу, а там же кочки, камни, норы... и ведь поставь ему на голову котелок с водой — не расплескает ни капли! Какой солдат! Нет, ребята, какой солдат!

— Быстрее! — гаркнул он.— Шевелись, тараканья немочь!

Драмба сменил аллюр. Гаг замигал: у Драмбы исчезли ноги. Вместо ног под совершенно вертикальным туловищем видно было теперь только туманное мерцание, как у пропеллера на больших оборотах. Земля не выдерживала, за гигантом потянулась, темнея и углубляясь на глазах, взрытая борозда, и появился звук — шелестящий свист рассекаемого воздуха и дробный шорох оседающей земли. Гаг еле успевал поворачивать голову. И вдруг все кончилось. Драмба снова стоял перед ним по стойке «смирно» — неподвижный, огромный, дышащий прохладой. Будто и не бежал вовсе.

Да-а, подумал Гаг. С такого, пожалуй, сгнишь пот... Но в разум-то я его привел или нет? Ладно, рискнем. Он посмотрел на обелиск. Гадко это, вот что. Солдаты ведь лежат...



Герои. За что они там дрались, с кем дрались — этого я толком не понял, но как они дрались — я видел. Дай бог нам всем так драться в наш последний час. Ох, не зря Корней показал мне эти фильмы. Ох, не зря... В душе у Гага�евельнулся суеверный ужас. Неужели этот лукавый Корней еще тогда предвидел такую вот мою минуту? Да нет, ерунда, ничего он не мог предвидеть, не господь же он бог все-таки... Просто хотел тоненько мне намекнуть, с чьими потомками я имею дело... А они здесь лежат. Сколько веков уже они здесь лежат, и никто их не тревожил. Будь они живы — не допустили бы, шуганули бы меня отсюда... Ну ладно, а если бы это были крысоеды? Нет, пожалуй, все равно гадко... И потом, что за ерунда — крысоеды — трусы, воиночки. А это же солдаты были, я же своими глазами видел! Тьфу, пропасть, даже тошнит... А если бы здесь Гепард стоял рядом? Доложил бы я ему свое решение — что бы он мне сказал? Не знаю. Знаю только, что его бы тоже замутило. Тут бы всякого замутило, если он, конечно, человек.

Он посмотрел на Драмбу. Драмба стоял по стойке «смирно», равнодушно поводя глазами-ушами. А что мне остается-то? Мыслишка-то правильная! Гаденькая — не спорю. Скользкая. Другому и в другое время я бы за такую мыслишку сам по рылу бы дал. А мне деваться некуда. Мне такой случай, может, никогда больше не представится. Сразу все проверю. И этого дурака проверю, и насчет наблюдения... Тут в том-то все и дело, что гадко. Тут бы никто не удержался, сразу бы за руку меня схватил, если бы мог. Ладно, хватит слюни распускать. Я это не для собственного удовольствия затеваю. Я не паразит какой-нибудь. Я — солдат и делаю свое солдатское дело, как умею. Простите меня, братья-храбрецы. Если можете.

— Рядовой Драмба! — произнес он дребезжащим голосом.
— Слушаю, господин капрал.
— Приказ! Повалить этот камень! Выполняй!

Он отскочил в сторону, не чуя под собой ног. Если бы здесь был окоп, он прыгнул бы в окоп.

— Живо! — завизжал он, срываю голос.

Когда он разжмурился, Драмба уже стоял, наклонившись, перед обелиском. Огромные руки-лопаты скользнули по граниту и погрузились в пересохшую землю. Гигантские плечи зашевелились. Это длилось секунду. Робот замер, и Гаг вдруг с ужасом увидел, что его могучие ноги как бы оплывают,

укоячиваются на глазах, превращаясь в короткие, толстые, расплющенные внизу тумбы. А потом холм дрогнул. Послышился пронзительный скрип, и обелиск едва заметно накренился. И тогда Гаг не выдержал.

— Стой! — заорал он. — Отставить!

Он кричал еще что-то, уже не слыша самого себя, ругаясь по-русски и по-алайски, никакой нужды не было в этом крике, и он уже понимал это и все-таки кричал, а Драмба стоял перед ним по стойке «смирно», монотонно повторяя: «Слушаю, господин капрал, слушаю, господин капрал...»

Потом он опомнился. Саднило в глотке, все тело болело. Спотыкаясь, он обошел обелиск кругом, трогая гранит дрожащими пальцами. Все было, как прежде, только у основания, под непонятной надписью, зияли две глубокие дыры, и он принял судорожно забивать в них землю каблуками.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Всю ночь я не мог заснуть. Крутился, вертелся, курил, в сад высовывался для прохладления. Нервы, видимо, разгулялись после всего. Драмба торчал в углу и светился в темноте. В конце концов я его выгнал — просто так, чтобы злость сорвать. В голову лезла всякая чушь, картинки всякие, не относящиеся к делу. А тут еще эта койка подлая — я ее засек, что она норовит все время превратиться в этакое мягкое ложе, на каких здесь все, наверное, спят, да еще, подлога, посягает меня укачивать. Как младенца.

Вообще-то не в том беда, что я заснуть не мог, — я по трое суток могу не спать, и ничего со мной не делается. А главное, что я думать не мог по-человечески. Ничего не соображал. Добился я вчера своего или не добился? Могу я Драмбе теперь доверять или нет? Не знаю. Следит за мной Корней или нет? Опять же не знаю. Вчера после ужина заглянул я к нему в кабинет. Сидит он перед своими экранами, на каждом экране — по рылу, а то и по два, и он со всеми этими рылами разговаривает. Меня как ножом ткнули. Представил я себе, как бешусь там на холме, истерику закатываю, а он сидит себе здесь в прохладе, смотрит на все это через экран и хихикает. Да еще, может быть, Драмбе радиует: валяй, мол, разрешаю... Нет, про себя я точно знаю, что я бы так не мог. Чтобы на моих глазах оскверняли святыню

моего народа, а я бы при этом хихикал и на экранчик смотрел — нет, у меня бы так не получилось. Я вам не крысоед.

А если у него такое задание, сказано ему: любой, мол, ценой... Не знаю, не знаю. Давеча, когда я вернулся, он меня сначала встретил, как всегда, потом присмотрелся, насторожился и принялся расспрашивать, что да как. Отец родной, да и только. Я ему опять соврал, что башка болит. От степных запахов. Но он, по-моему, мне не поверил. Виду не подал, конечно, но не поверил. А я весь вечер за ним следил: будет он Драмбу допрашивать или нет. Нет, не допрашивал. Даже не поглядел на него... Ох, ребята, бедная моя голова! Хоть ложись на спинку, и пусть несет, куда несет.

Так промаялся я до самого рассвета. Ложился, вскакивал, кружил по комнате, опять ложился, в окно высовывался, башку в сад свешивал, и в конце концов меня, видно, сморило — задремал я, положив ухо на подоконник. Проснулся весь в поту и сразу услышал это самое хриплое мяуканье — мррряу-мррряу-мррряу, — словно самого дьявола ангелы небесные душат голыми руками в преисподней, и мне в лицо из сада фукинуло горячим, как бы шипучим, ветром. Я еще глаз как следует не разлепил, а уже сижу на полу, рукой шарю автомат и высматриваю поверх подоконника, как из-за бруствера. И в этот раз я все увидел, как это у них делается, с самого начала и до самого конца.

Над моей круглой поляной, правой бассейна, загорелась в сумерках яркая точка, и потёк от нее вниз и в стороны словно бы жидкий лиловый свет, еще прозрачный, еще кусты сквозь него видно, а он все течет, течет, и вот уже заполнил здоровенный такой конус вроде химической банки в четыре метра высотой, заполнил и тут же стал отвердевать, остывать, меркнуть, и вот уже стоят на поляне ихний звездолет класса «призрак», каким я его увидел в первый раз. И тишина. Первобытная. Даже птицы замолчали. Над поляной — рассветное серо-голубое небо, вокруг поляны — черные кусты и деревья, а посередине поляны — это серебристое чудище, и никак я не могу понять, то ли оно живое, то ли оно вещь.

Потом что-то слабо треснуло, раскрылась в нем черная пасть, звякнуло, зашипело, и выбрался оттуда человек. То есть это я сначала подумал, что человек: руки у него были, ноги. Голова. Весь он был какой-то черноватый, что ли... либо закоптило его, либо обгорел... и весь он был обвшан оружием. Я такого оружия, ребята, никогда не видывал, но с первого

взгляда мне ясно стало, что это именно оружие. Оно свисало у него с обоих плеч и с пояса и лязгало и брякало на каждом шагу. По сторонам он не глядел, а двинулся прямо к крыльцу, как в собственный дом, и шагал как-то странно, но я не сразу понял, в чем тут дело, потому что глаз не мог оторвать от его лица. Оно у него тоже было черноватое, обгорелое, блестело и отсвечивало, и вдруг он поднял обе руки и принялся его с себя сдирать, как маску — да это, видно, и была маска, потому что он в две секунды с нею управился и с размаху шмякнул ее оземь. И тут меня прошибло потом в другой раз, потому что под этим черноватым, обгорелым, липким и лакированным у него оказалось второе лицо, уже не человеческое — белое, как камень, безносое, безгубое, а глаза — как плошки и светятся. Я на это лицо только взглянул и сразу понял: не могу. Стал глядеть ему на ноги — еще хуже. У него ведь почему такая странная походка была? Он по этой густой траве, по твердой земле шел, как мы с вами шли бы по зыбучему песку или, скажем, по трясине — на каждом шагу проваливался по щиколотку, а то и глубже. Не держала его земля, подавалась...

У крыльца он приостановился на секунду и разом стряхнул с себя всю свою амуницию. Залязгала она, загрохотала, а он шагнул в дверь — и снова тишина. И пусто. Как в бреду. И звездолета уже нет, словно и не было никогда. Только черные дыры от поляны до дома да груда невиданного оружия у крыльца. Всё.

Очень мне захотелось протереть глаза, ущипнуть себя за ляжку и все такое, но я этого делать не стал. Я ведь Бойцовый Кот, ребята. Я весь этот бред отмел. Не впервой. Я только главное оставил: оружие! Впервые я здесь увидел оружие. Я даже одеваться не стал — как был, в одних трусах, махнул через подоконник со второго этажа.

Роса была обильная, ноги мои моментально стали мокрые выше колен, и прорвал меня озноб — то ли от этой сырости, то ли, опять же, от нервов. Около крыльца я присел на корточки и прислушался. Тихо, по- нормальному тихо, по-утреннему. Птички завозились, сверчок какой-то заскрипел. Мне до этого дела не было, я ждал голоса услышать. Нет, не слышно голосов. В этом доме ведь всегда так: не должно быть голосов — галдят, бормочут, переругиваются, причем кто — неизвестно, потому что Корнея в доме нет, шляется где-то, беса тешит. А вот когда, как сейчас, должны люди — или

даже пусть не совсем люди, — но должны же они здороваться, друг друга по спинам хлопать, восклицать что-нибудь приветственное! Нет, тут у них будет тишина. Могила. Ладно.

И вот сижу я на корточках и смотрю на эти штуки, которые передо мной лежат, даже на вид тяжеленные, гладкие, масленые, надежные. Никогда я таких не видел ни на картинках, ни в кино. Большой, видно, убойной силы аппараты, да вот беда, непонятно, с какой стороны к ним подступиться, за какое место их брать и на что в них нажимать. И даже прикасаться к ним как-то боязно: того и гляди — ахнет, костей не соберешь.

В общем, я растерялся, и это было плохо, потому что на самом-то деле мне следовало бы сразу хватать что-нибудь и рвать когти. Ну, Гаг, давай! Давай быстро! Вот эту коротышку: ствол есть, вместо дула, правда, стекляшка какая-то, зато и рукоятка вроде бы есть, два плоских магазина по сторонам ствола торчат... Все. Нет у меня больше времени. Потом разберусь. Протянул я руку и осторожно взялся за рукоятку. И тут произошла со мной странная вещь.

Взялся я, значит, за рукоятку. Рубчатая такая, теплая. Пальцы сомкнулся. Тяну на себя. Осторожно, чтобы не брякнуло. Тяжесть даже почувствовал. А в кулаке — ничего. Сижу, как пьяный, гляжу на пустой кулак, а машинка эта как лежала на ступеньке, так и лежит. Я сгоряча ее хватать поперек — и опять под пальцами металл, твердое, тяжелое. Рванул на себя — опять ничего.

И захотелось мне тут заорать во весь голос. Еле сдержался. Посмотрел на ладонь — ладонь в масле. Вытер ее о траву, поднялся. Разочарование, конечно, страшное. Все у них учтено, все рассчитано и предусмотрено, у гадов. Перешагнул я через эту груду бесполезного для меня железа и пошел в дом. Вижу: в холле, в углу, торчит Драмба. Зашевелил своими ушами, уставился, а мне на него и смотреть было противно. И уже хотел я подняться к себе, как вдруг подумал: а что, если... В конце концов, не все ли равно, у кого в руках будет машинка, у меня или у этого доддона?

— Рядовой Драмба, — сказал я негромко.

— Слушаю, господин капрал, — отозвался он как положено.

— А ну-ка, иди за мной.

Вышли мы обратно на крыльце. Оружие лежит, никуда не делось.

— Подай мне вот эту, крайнюю, — говорю. — Только осторожно.

— Не понял, господин капрал, — гудит эта дубина.

— Чего ты не понял?

— Не понял, что именно приказано подать.

Провались ты! Мне-то откуда знать, как это называется?

— Как называются эти предметы? — спрашиваю.

Драмба заработал ушами и рапортует:

— Трава, господин капрал. Ступени...

— А на ступеньках? — спрашиваю я и чувствую, что меня мороз по коже начинает продирать.

— На ступенях пыль, господин капрал.

— А еще?

Впервые Драмба промедлил с ответом. Долго молчал. У него, видно, тоже шестеренка за шестеренку зашла, как и у меня.

— Еще на ступеньках имеются: господин капрал, рядовой Драмба, четыре муравья... — Он снова помедлил. — А также всевозможные микроорганизмы.

Он их не видел! Понимаете? Не видел! Микроорганизмы он видел, а железяки эти метровой длины видеть ему было не положено. Ему их видеть не положено, а мне — брать. Все, все предусмотрели! И тут я с досады, не сообразив, махнул босой ногой по самой здоровенной железяке, что на крыльце валялась. Взвыл я, палец отшиб начисто, ноготь сломал. А железяка как лежала, так и осталась лежать. Всё. Это уже было последней каплей. Захромал я к себе, зубами скриплю, чуть не плачу, кулаки стиснул. Пришел, повалился на койку, и взяло меня отчаяние, какого не испытывал я аж с того дня, когда пришел на побывку домой и увидел, что не то что дома моего — всего квартала нет, одни горелые кирпичи громоздятся и душит гарью. Почудилось мне в эти черные минуты, что никуда я не годен, ничего я не могу здесь сделать, в этом сытом и лукавом мире, где каждый мой шаг рассчитан и предусмотрен на сто лет вперед. И вполне может быть, что каждое мое действие, какое я еще только собираюсь совершить, они уже знают, как пресечь и обратить себе на пользу.

И чтобы разогнать мрак, я стал вспоминать самое светлое, самое счастливое, что было в моей жизни, и вспомнил тот морозный ясный день, столбы дыма, которые поднимались в зеленое небо, и треск пламени, пожирающего развалины, серый от сажи снег на площади, окоченевшие трупы, изуродованный ракетомет в огромной воронке... а герцог идет вдоль нашей шеренги, мы еще не успели остыть, глаза еще заливает пот, ствол автомата обжигает пальцы, а он идет, тяжело опи-

раясь на руку адъютанта, и снег скрипит под его мягкими красными сапожками, и каждому из нас он внимательно заглядывает в глаза и говорит негромко слова благодарности и ободрения. А потом он остановился. Прямо передо мной. И Гепард, которого я не видел, — я никого не видел, кроме герцога, — назвал мое имя, и герцог положил мне руку на плечо и некоторое время смотрел мне в глаза, и лицо у него было желтое от усталости, иссеченное глубокими морщинами, а вовсе не гладкое, как на портретах, веки красные и воспаленные, и мерно двигалась тяжелая, плохо выбритая челюсть. И все еще держа свою правую руку у меня на плече, он поднял левую и щелкнул пальцами, и адъютант поспешил положил в эти пальцы черный кубик, а я все еще не верил своему счастью, не мог поверить, но герцог произнес низким хриплым голосом: «Открой пасть, Котенок...» — и я зажмурился и открыл рот изо всех сил, почувствовал на языке шершавое и сухое и стал жевать. Волосы встали дыбом у меня под каской, из глаз покатились слезы. Это был личный его высочество жевательный табак пополам с известью и сушеной горчицей, а герцог хлопал меня по плечу и говорил растроганно: «О эти сопляки! Мои верные, непобедимые сопляки!..»

И тут я поймал вдруг себя на том, что улыбаюсь во всю морду. Не-ет, господа, еще не все кончено. Верные, непобедимые сопляки не подведут. Не подведут там, не подведут и здесь. Повернулся я на бок и заснул, чем и кончилось это мое приключение.

Это кончилось, зато другие начались, потому что тихий наш домик вдруг зашевелился. Раньше было как? Позавтракаем мы с Корнеем, потреплемся минут двадцать о том о сем, и всё, до самого обеда я один. Хочешь — спи, хочешь — книжки читай, хочешь — голоса слушай. А тут — не знаю, то ли кто-то этот ихний гадючник разворошил, то ли у них передышка какая кончилась, но только стало в нашем домике тесно.

А началось все с того, что отправился я в тот коридор посмотреть, как там моя переписка. Честно говоря, ничего нового я увидеть не ожидал, однако смотрю — хо! — отозвался мой математик. Прямо под моим вопросом теми же аккуратными маленькими буквами было выведено: «Твои друзья в аду». Вот тебе и на! Что же это получается? «Кто ты, друг?» — «Твои друзья в аду». Значит, их тут несколько... Почему же не пишут, кто они? Боятся? И почему в аду? Нормальному человеку тут, конечно, несладко приходится, но

в ад... Я посмотрел на эту крашеную дверь. Может быть, там тюрьма? Или что-нибудь похуже? Что же вы, ребята, толком ничего не сумели написать? Не-ет, этот коридорчик надо взять под наблюдение. Но это потом, а что мне сейчас написать? Чтобы они сразу всё про меня поняли... Ч-черт, математики этой я не знаю. Может быть, у них в этой формуле все зашифровано. Напишу-ка я им, кто я есть, чтобы они знали, с кем имеют дело и на что я годен. Напишу я им... Я достал припасенный огрызок карандаша и нацарапал печатными буквами: «Бойцовый Кот нигде не пропадет». Очень мне понравилось, как я это придумал. Любому ясно, что я — Кот, что я бодр и готов к действию. Паращитистов этих я в гробу видел, ничего они мне здесь не сделают. А если это ловушка и затеял эту переписку Корней — что ж, пожалуйста, ничего такого я не написал.

Ладно. За коридорчиком этим мы понаблюдали. А сейчас пришла пора посмотреть, что же у них за этой дверью. Недолго думая, взялся я за ручку и потянул ее на себя. Открылась. Я думал — там комната какая-нибудь будет, или коридор, или лестница... ну что у людей за дверями бывает? Так вот там ничего этого не было. Камера там была. Три на три. Стены черные, матовые. В стене напротив торчит круглая красная кнопка. И всё. Ничего больше в этой камере не было. Я когда эту камеру увидел, мне сразу расхотелось в нее заходить. Да ну их, думаю, к шутам, чего я в этом склепе не видел? Кнопок красных я не видел, что ли?

Стою я в нерешительности и вдруг слышу сзади — голоса. Близко. Можно сказать, рядом. Ну, думаю, кажется, влип. Захлопнул дверь, зубы стиснул, оборачиваюсь. Переднему по горлу и — в сад, думаю, а там ищи меня, свищи...

Но оказалось, что это не парашютисты. Выворачивает в коридор из-за угла какой-то человек с тележкой, с этакой платформой на колесиках. Я засунул руки в карманы и этакой ленивой походочкой двинулся навстречу. Коридор широкий, разминемся спокойно. А он уже близко со своей тележкой. Глянул я на него — змеиное молоко! — черный! Мне сперва даже показалось, что у него вообще головы нет, потом, конечно, присмотрелся и вижу: есть голова. Но черная. То есть вся черная! Не только волосы, но и щеки, уши, лоб, а губы красные, толстые, белки глаз так и сверкают и зубы тоже. Это с какой же планеты его занесло сюда такого? Я прижался к стене, уступая дорогу изо всех сил — проходи, мол, не

задерживайся, только не трогай... Не тут-то было. Конечно же, он вместе со своей тележкой останавливается около меня, ослепляет меня своими белками и зубами и хриплым нутряным голосом произносит:

— По-моему, это типичный алаец...

Я сглотнул, киваю.

— Так точно,— говорю.— Алаец я.

И он начинает говорить со мной по-алайски, но уже не хриплым басом, а приятным таким, нормальным голосом — тенором или, я не знаю там, баритоном.

— Ты,— говорит,— наверное, Гаг. Бойцовый Кот.

— Так точно,— говорю.

— Ты,— спрашивает,— из Центра сейчас?

Ну что я ему отвечу?

— Н-никак нет,— говорю.— Я сам по себе...

Я уже разглядел его и вижу, что человек как человек. Ну, черный... Ну и что? У нас на островах голубые живут, и никто им в нос не тычет. Одет нормально, как все здесь одеваются — рубашка навыпуск, короткие штаны. Только черный. Весь.

— Ты, может быть, Корней ищешь? — спрашивает он.

Участливо так спрашивает. Совсем как Корней.

— Вид у тебя какой-то взъерошенный,— говорит.

— Да нет,— отвечаю я с досадой.— Это я вспотел просто.

Жарко тут у вас...

— А-а... Так ты бы мундир свой снял, что ты в нем преешь... А Корней ты пока лучше не ищи, Корней сейчас занят до предела...

Чисто так говорит по-алайски, грамотно, и выговор у него такой столичный, с приыханием. Стильно говорит. Ну, объясняет он мне что-то про Корнея, где сейчас Корней и чем он занимается, а я все поглядываю на его тележку и, честно вам скажу, ребята, ничего уже не слышу, что он там мне говорит.

Значит, так. Ну, тележка — она тележка и есть, не в тележке дело. А вот на этой тележке лежит у него громадный, вроде бы кожаный мешок. Кожаный и снаружи как бы маслом облитый, коричневый такой, вроде как куртка бронеходчика. Сверху он, значит, гладкий, без единой морщинки, а внизу весь какой-то смятый, весь в бороздах и складках. И вот там, в этих самых бороздах и складках, я еще в самом начале заприметил какое-то движение. Сначала думал — показалось. Потом... В общем, там был глаз. Оторвите мне руки-ноги глаз! Какая-то складка там раздвинулась тихонько, и глянули

на меня большой круглый темный глаз. Печальный такой и внимательный. Нет, ребята, зря я в этот коридор сегодня пошел. Оно конечно, Бойцовский Кот есть боевая единица сама в себе и так далее, но все-таки о таких встречах в уставе ничего не говорится...

Стою я, держусь за стенку и знай себе долблю: «Так точно... Так точно...» А сам думаю: увези ты это от меня, в самом деле, ну чего ты здесь встал? И понял мой черный, понял, что мне надобно передохнуть. Говорит хриплым басом:

— Привыкай, алаец, привыкай... Пойдемте, Джонатан.

А потом по-алайски нормальным голосом:

— Ну, будь здоров, брат-храбрец... Эк тебя скрутило. Да не трусь ты, не трусь, Бойцовский Кот! Это ведь не джунгли...

— Так точно,— сказал я в сто сорок восьмой раз.

Блеснул он своими белками и зубами на прощанье и двинулся с тележкой дальше по коридору. Поглядел я ему вслед — змеиное молоко! — тележка-то катится сама по себе, а он рядом с ней вышагивает сам по себе, совсем отдельно, и уже раздаются опять голоса: один, значит, хриплый бас, а другой — нормальный, но говорят они уже оба на каком-то неизвестном языке. И на лопатках у этого черного надпись полукругом: ГИГАНДА. Хороша встреча, а? Еще одна такая встреча, и я в собственные сапоги прятаться начну. «Привыкай, алаец, привыкай». Не знаю, может быть, я когда-нибудь и привыкну, но в ближайшие полста лет вы меня в этот коридор пряником не заманите... Досмотрел я, как они в этот склеп втиснулись, захлопнули за собой дверь, да и пошел от этого поганого места. Держась за стену.

С этого самого дня стало у нас в домике тесновато. Валят валом. Через нуль-кабину прибывают по двое, по трое. По ночам и особенно под утро от «призраков» в саду сплошной мяя стоит. Некоторые вываливаются прямо из чистого неба — один в бассейн угодил, когда я утром купался, тоже устроил мне переживание. И все они к Корнею, и все они галдят на разных языках, и у всех у них дела, и у всех срочные. В холл выйдешь — галдят. В столовую придешь пищу принять — сидят по двое, по трое, кушают и опять же галдят, причем одни поели — другие откуда-то приходят... Я на это просто смотреть не мог: сколько они хозяйствского добра даром переводят, хоть бы с собой приносили, что ли... Неужели не понимают, что на всех не напасешься? Совести у людей нет, вот что я вам скажу. Правда, надо им все-таки отдать спра-

ведливость. Все-таки мешков среди них с глазами я больше не заметил. Были среди них, конечно, довольно жуткие экземпляры, но чтобы совсем уж мешок — нет, таких больше не было. И на том спасибо. Я день терпел, два терпел, а потом от этого нашествия, честно скажу, ребята, просто сбежал. Возьмешь с утра Драмбу — и на пруды километров за пятнадцать от этого постоянного двора. Я там пруды нашел, роскошное место, камыши, прохлада, уток видимо-невидимо...

Конечно, может быть, я поступил неправильно, смалодушничал. Наверное, я должен был там среди них торчаться, подслушивать там, подсматривать, мотать на ус. Но ведь, ребята, я же старался. Сядешь где-нибудь в уголке в гостиной, рот раскроешь, уши развесишь — ни черта не понять. Галдят на непонятных языках, чертят какие-то кривые, мотают друг у друга перед носом какие-то рулоны голубой бумаги со значками, один раз даже карту империи вывесили, битый час по ней пальцами ползали... уж казалось бы, чего проще — карта, а так я и не понял, чего они друг от друга добивались, чего не поделили... Одно я, ребята, понял: что-то у нас там происходит или вот-вот должно произойти. Потому весь этот гадючник и зашевелился.

Короче говоря, решил я предоставить инициативу противнику. Разобраться в обстановке я не умею, помешать им никак не могу, и остается мне рассуждать примерно так: раз они меня здесь держат — значит, я им зачем-то нужен, а раз я им нужен, то что бы они там ни затевали, а рано или поздно ко мне обратятся. Вот тогда мы и посмотрим, как действовать. А пока будем на пруды ходить, Драмбу муштровать и ждать — может, что-нибудь подвернется.

И между прочим, подвернулось.

Как-то раз иду я на завтрак. Смотрю — за столом Корней. И притом один. Я последние дни Корнея редко видел, да и то вокруг него всегда народ толокся. А тут сидит один, молоко пьет. Ну, поприветствовал я его, сажусь напротив. И странно мне как-то стало — соскучился я по нему, что ли? Тут все дело, наверное, было в его лице. Хорошее у него все-таки лицо. Есть в нем что-то очень мужественное и в то же время, наоборот, детское, что ли? В общем, лицо человека безо всяких тайных умыслов. Такому и не хочется верить, а веришь. Разговариваем мы с ним, а я все время себе напоминаю: осторожно, Кот, другом он тебе быть никак не может, не с чего ему быть другом, а раз он не друг —

значит, враг... И тут он вдруг говорит ни с того ни с сего:

— А почему ты, Гаг, мне вопросов не задаешь никогда?

Вот тебе и на — вопросов я ему не задаю. А где мне ему вопросы задавать, когда я целыми днями его не вижу? И что-то мне так горько стало, и ужасно захотелось сказать ему прямо: «А чтобы вранья поменьше слушать, друг лукавый». Но я, конечно, этого не сказал. Пробормотал только:

— Почему же не задаю? Задаю...

— Понимаешь, — говорит он, и тон у него такой, будто он передо мной извиняется, — я ведь не могу тебе длинные лекции читать. Во-первых, у меня времени на это нет, сам видишь. И хотел бы с тобой побольше времени проводить, да не могу. А во-вторых, лекции — это, по-моему, скучища. Какой интерес выслушивать ответы на вопросы, которых ты не задавал? Или ты, может, иначе считаешь?

Я растерялся, замычал что-то самому мне непонятное, и тут вваливаются в столовую двое, а за ними еще и третий. Сияют все трое, как начищенные медные чайники. И будто все втроем несут крошечную круглую коробочку и с этой коробочкой — прямиком к Корнею.

— Она? — говорит Корней, поднимаясь им навстречу.

— Она, — отвечают они чуть ли не хором и тут же замолкают.

Я давно заметил, что при Корнеев они не галдят. При Корнеев они держатся как положено. Корней и видно шутить не любит.

Да. Уплетаю я какую-то вроде бы рыбку, запиваю горячим пойлом, а Корней эту коробочку берет двумя пальцами, открывает ее осторожно и вытягивает из нее узкую красную ленту. Эти трое дышать перестали. В столовой тишина, и слышно только, как галдят в гостиной. Корней эту красную ленточку рассмотрел внимательно — просто так и на свет, — а потом сказал негромко:

— Молодцы. Размножьте и раздайте.

И пошел из столовой. Только у самой двери спохватился, повернулся ко мне и сказал:

— Извини, Гаг. Ничего не могу поделать.

Я только плечом дернулся — мне-то что... пожалуйста! Ну, из этих троих двое поскакали за Корнеем, а третий остался и стал аккуратно укладывать эту красную ленточку обратно в коробочку. Я сижу злой, не люблю пищу принимать при посторонних. Но он на меня вроде бы и внимания не обращает. Он идет через всю столовую в угол, где у Корнея стоит какой-

то шкаф не шкаф, сундук не сундук... ящик, в общем, постав ленный на попа. Я этот ящик сто раз видел и никогда на него внимания не обращал. А он подходит к этому ящику и сдвигает кверху какую-то шторку, и в стенке ящика образуется ярко освещенная ниша. В эту нишу он кладет свою коробочку и шторку опускает. Раздается короткое гудение, на ящике вспыхивает желтый глаз. Этот тип снова поднимает шторку.. и тут, ребята, я есть перестал. Потому что смотрю — а в нише уже две коробочки. Этот тип опять опускает шторку — опять загудело, опять загорелся желтый глаз, поднимает он шторку — четыре коробочки. И пошел, и пошел... Я сижу и только глазами хлопаю, а он — шторку вверх, шторку вниз, гудок, желтый глаз, шторку вверх, шторку вниз... И через минуту у него этих коробочек набралась полная ниша. Выгреб он их оттуда, распихал по карманам, подмигнул мне и выскочил вон.

Ничего я опять не понял. Да здесь никакой нормальный человек бы не понял. Но одно я понял: это надо же, какая машина! Я встал — и к ящику. Осмотрел его со всех сторон, даже попробовал сзади заглянуть, но голова не пролезла, только ухо прищемил. Ладно. А шторка поднята, и ниша эта так светом и сияет мне в глаза. Змеиное молоко! Я огляделся и хват со стола мятую салфетку... Скатал ее в шарик между ладонями и бросил в нишу — издали бросил на всякий случай, мало ли что. Нет, все нормально. Лежит себе бумажка, ничего ей не делается. Тогда я осторожненько взялся за эту шторку и потянул ее вниз. Шторка легко двинулась, прямо-таки сама пошла. Щелк! И, как следует быть, загудело, зажглась желтая лампа. Ну, Кот! Потянул я шторку вверх. Точно. Два бумажных шарика. Я их оттуда вилкой осторожно выгреб, смотрю — одинаковые. То есть точь-в-точку! Отличить совершенно невозможно. Я их и так смотрел, и этак, и на про свет — даже, дурак, понюхал... Одинаковые.

Что же это получается? Золотой бы мне сейчас, я бы в миллионах ходил. Стал я рыться по карманам. Ну, не золотой, думаю, так хотя бы грош медный... Нет гроша. И тут нашариваю я свой единственный патрон. Унитарный патрон калибра восемь и одна десятая. Нет, даже в этот момент я еще не соображал, что здесь к чему. Просто подумал: раз уж денег нет, так хоть патронов наделаю, они тоже денег стоят. И только когда в нише передо мной шестнадцать штучек медью засверкало, только тогда до меня наконец дошло: шестна

дцать патронов — да ведь это же обойма! Полный магазин, ребята!

Стою я перед этим ящиком, смотрю на свои патрончики, и такие интересные мыслишки в голове у меня бродят, что я тут же спохватился и поглядел вокруг, не подслушивает ли кто и не подсматривает ли. Хорошую они машину здесь себе придумали, ничего не скажешь. Полезная машина. Много я у них всякого повидал, но вот такую полезную вещь всего второй раз вижу. (Первая — это Драмба, конечно.) Ну что ж, спасибо. Собрал я патрончики свои, ссыпал их в карман куртки, оттянули они мне карман, и почувствовал я, ребята, будто забрезжило наконец что-то передо мной вдали.

Машинкой этой я потом не раз еще пользовался. Запас патронов потихоньку пополнял; пуговица у меня оторвалась — я и пуговиц форменных на всякий случай два комплекта наделал; ну еще кое-чего по мелочам. Сначала я берегся, а потом совсем обнаглел: они тут же за столом кушают и галдят, а я стою себе у ящика и знай себе шторкой щелкаю. И хоть бы кто внимание обратил! Беспечный народ, ума не приложу, как это они собираются нашей планетой управлять при такой своей беспечности. Их же у нас перочинными ножиками резать будут. Ведь я здесь прямо у них на глазах мог бы всю их секретную документацию скопировать. Была бы документация... Они ведь на меня ну совсем никакого внимания не обращали. Хочешь подслушивать — подслушивай, хочешь подсматривать — подсматривай... Так, который-нибудь взглянет рассеянно, улыбнется тебе и — снова галдеть. Обидно даже, змеиное молоко! Все-таки я — Бойцовый Кот его высочества, не шпана какая-нибудь мелкая, передо мной такие вот шпаки с тротуара сходили и шляпу еще снимали... Правда, не каждый день снимали, а только в дни тезоименитства, но все равно. Так и хотелось мне встать как-нибудь в дверях и гаркнуть по-гепардовски: «Смир-рна! Глаза на меня, тара-канья немочь!» То-то забегали бы! Потом я, конечно, запретил себе на эти темы думать. Я свое достоинство унижать права не имею. Даже в мыслях. Пусть все идет как идет. Мне одному их всех по стойке «смирно» все равно не переставить. Да и нет передо мной такой задачи...

Корней мой в эти дни совсем извелся. Мало того, что ему этот галдеж нужно было регулировать, так свалились на него еще и личные неприятности. Всего я, конечно, не знаю, но вот однажды вернулся я под вечер с прудов — усталый, потный,

ноги гудят,— искупался и завалился в траву под кустами, где меня никто не видит, а я всех вижу. То есть видеть-то особенно было некого — которые оставались, те все сидели в кабинете у Корнея, было у них там очередное совещание,— а в саду было пусто. И тут дверь нуль-кабинь раскрывается, и выходит из нее человек, какого я до сих пор здесь никогда не видел. Во-первых, одежда на нем. Которые наши — они все больше в комбинезонах или в пестрых таких рубашках с надписями на спине. А этот — не знаю даже, как определить. Что-то такое строгое на нем, внушительное. Материальчик серый, понял? — стильный, и сразу видно, что не каждому такой по карману. Аристократ. Во-вторых, лицо. Здесь я объяснить уж совсем не умею. Ну, волосы черные, глаза синие — не в этом дело. Напомнил он мне чем-то того румяного доктора, который меня выходил, хотя этот был совсем не румяный и уж никак не добряк. Выражение одинаковое, что ли?.. У наших такого выражения я не видел, наши либо веселые, либо озабоченные, а этот... нет, не знаю, как сказать.

В общем, вышел он из кабинь, прошагал этак решительно мимо меня и — в дом. Слыши: галдеж в кабинете разом стих. Кто же это такой к нам пожаловал, думаю. Высшее начальство? В штатском? И стало мне ужасно интересно. Вот, думаю, взять бы такого. Заложником. Большое дело можно было бы пропасть... И стал я себе представлять во всех подробностях, как я это дело проворачиваю, — фантазия, значит, у меня разыгралась. Потом спохватился. В кабинете уже опять галдят, и тут на крыльце выходят двое — Корней и этот самый аристократ. Спускаются и медленно идут по дорожке обратно к нуль-кабине. Молчат. У аристократа лицо замкнутое, рот скжат в линейку, голову несет высоко. Генерал, хоть и молод. А Корней мой голову повесил, глядит под ноги и губы кусает. Расстроен. Я только успел подумать, что и на Корнея здесь, видно, нашлась управа, как они останавливаются совсем недалеко от меня, и Корней говорит:

— Ну что ж... Спасибо, что пришел.

Аристократ молчит. Только плечами слегка повел, а сам смотрит в сторону.

— Ты знаешь, я всегда рад видеть тебя, — говорит Корней. — Пусть даже вот так, на скорую руку. Я ведь понимаю, ты очень занят...

— Не надо, — говорит аристократ с досадой. — Не надо. Давай лучше прощаться.

— Давай,— говорит Корней.

И с такой покорностью он это сказал, что мне даже страшно стало.

— И вот что,— говорит аристократ. Жестко так говорит, неприятно.— Меня теперь долго не будет. Мать остается одна. Я требую: перестань ее мучить. Раньше я об этом не говорил, потому что раньше я был рядом и... Одним словом, сделай что хочешь, но перестань ее мучить!

Корней что-то сказал, почти прошептал — так тихо, что я не уловил его слов.

— Можешь! — говорит аристократ с напором.— Можешь уехать, можешь исчезнуть... Все эти... все эти твои занятия... С какой стати они ценнее, чем ее счастье?

— Это совсем разные вещи,— говорит Корней с каким-то тихим отчаянием.— Ты просто не понимаешь, Андрей...

Я чуть не подскочил в кустах. Ну ясно же — никакой это не начальник и не генерал. Это же его сын!

— Я не могу уехать, — продолжает Корней. — Я не могу исчезнуть. Это ничего не изменит. Ты воображаешь, что с глаз долой — из сердца вон. Это не так. Постарайся понять: сделать ничего не возможно. Это судьба. Понимаешь? Судьба.

Этот самый Андрей задрал голову, посмотрел на отца надменно, словно плюнуть в него хотел, но вдруг аристократическое лицо его жалко задрожало — вот-вот заревет, — он как-то нелепо махнул рукой и, ничего не сказав, со всех ног пустился к нуль-кабине.

— Береги себя! — крикнул ему вслед Корней, но того уже не было.

Тогда Корней повернулся и пошел к дому. На крыльце он постоял некоторое время — не меньше минуты, наверное, стоял, словно собирался с силами и с мыслями, — потом расправил плечи и только после этого шагнул через порог.

Такие вот дела. Насели на человека. Ладно, не мое это дело. Жалко только его. Я бы, конечно, на его месте накидал бы этому сыночку пачек, чтобы знал свое место и не встревал, но только на Корнея это не похоже. То есть не похоже, чтобы он кому-нибудь мог пачек накидать... вернее, пачек-то он накидать мог бы, по-моему, кому угодно, силици и ловкости он неимоверной. Видел я, как они однажды возились возле бассейна — Корней, а против него трое его этих... ну, офицеров, что ли... Как он их кидал! Это же смотреть было приятно. Так что насчет пачек вы будьте спокойны. Но тут дело в том, что без

крайней надобности он никому пачек кидать не станет... не то что пачек, резкого слова от него не услышишь... Хотя с другой стороны, конечно, был один случай... Как-то раз сунулся я к нему в кабинет — не помню уже зачем. То ли книжку какую-то взять, то ли ленту для проектора. Одним словом, дождь был в тот день. Сунулся и попал вдруг в полную темноту. Я даже засомневался. Не было еще такого, чтобы я в этом доме среди бела дня попадал в темное помещение. Может, меня по ошибке в какую-нибудь кладовку занесло? И вдруг оттуда, из темноты, голос Корнея:

— Прогоните еще раз с самого начала...

Тогда я шагнул вперед. Стена за мной затянулась, и стало совсем уж темно, как в ночном тире. Я вытянул перед собой руки, чтоб не треснуться обо что-нибудь, двух шагков не сделал — запутался пальцами в какой-то материи. Я даже вздрогнул от неожиданности. Что еще за материя? Откуда она здесь, в кабинете? Никогда ее здесь раньше не было. И вдруг слышу голоса, и как я эти голоса услышал, так о материи и думать позабыл, и замер, и дышать перестал.

Я сразу понял, что говорят по-имперски. Я это ихнее хурли-мурли где хочешь узнаю, сипение это писклявое. Говорили двое: один — нормальный крысоед, так бы и полоснул его из автомата, а второй... вы, ребята, не поверите, я сначала сам не поверил. Второй был Корней. Ну точно — его голос. Только говорил он, во-первых, по-имперски, а во-вторых, на таких басах, каких я до сих пор не то что от Корнея — вообще на этой планете ни от кого не слыхивал. Это, ребята, был настоящий допрос, вот что это было. Я этих допросов навидался, знаю, как там разговаривают. Тут ошибки быть не может. Корней ему этак свирепо: гррум-тррум-бррум! А тот, поганец трусливый, ему в ответ жалобно: хурли-мурли, хурли-мурли... Сердце мое возврадовалось, честное слово.

Понимал вот, к сожалению, я только с пятого на десятое, да и то, что понимал, до меня как-то не доходило по-настоящему. Получалось вроде, что этот крысоед — не простой солдат или, скажем, горожанин, а какая-то большая шишка. Может, маршал, а может, и министр. И речь шла у них все время о корпусах и об армиях, а также о положении в столице. То есть это я вывел потому, что слова «корпус», «армия», «столица» мне знакомы, а они то и дело повторялись. И еще мне было понятно, что Корней все время нажимает, а крысоед, хоть и юлит, хоть и подхалимничает, но чего-то недоговаривает,

полосатик, крутит, гадина. Корней гремел все яростнее, крысоед пищал все жалобнее, и лично мне было совершенно ясно, что вот именно сейчас и следовало бы влепить как следует,— я даже весь вперед подался, касаясь носом ткани, отделяющей меня от допросной, чтобы ничего не пропустить, когда эта сволочь завизжит и начнет выкладывать, чего от него добиваются. Но крысоед вдруг замолчал — в обморок закатился, что ли? — а Корней сказал обыкновенным голосом, по-русски:

— Очень неплохо. Вольдемар, вы свободны. Теперь попробуем подвести итоги. Во-первых...

Так я, ребята, и не узнал, что там было во-первых. Засветили мне вдруг в лоб с такой силой, что стало мне светло в этом мраке, и очнулся я, ребята, уже в гостиной. Сижу на полу, глазами хлопаю, а надо мной стоит, потирая плечо, этот самый Вольдемар, здоровенный дядька, башка под самый потолок, лицо у него растерянное и расстроенное, смотрит он на меня из-под потолка и говорит — то ли укоризненно, то ли виновато:

— Ну что же ты, голубчик? Что же ты там торчал в темноте? Откуда же мне было знать? Ты уж извини меня, пожалуйста... Не ушибся?

Я потрогал осторожно свою переносицу — есть у меня там переносица или ее уже нету, — кое-как поднялся и говорю:

— Нет, — говорю. — Не ушибся. Меня ушибли — это было.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Когда Драмба закончил ход сообщения к корректировочному пункту, Гаг остановил его, спрыгнул в траншею и прошелся по позиции. Открыто было на славу. Траншея полного профиля с чуть скошенными наружу идеально ровными стенками, с плотно утрамбованным дном, без всякой там рыхлой земли и другого мусора, все в точности по наставлению, вела к огневой — идеально круглой яме диаметром в два метра, от которой отходили в тылы крытые бревнами блиндажи для боеприпасов и для расчета. Гаг посмотрел на часы. Позиция была полностью открыта за два часа десять минут. И какая позиция! Такой могла гордиться его высочества Инженерная академия. Гаг оглянулся на Драмбу. Рядовой Драмба возвышался над ним и над краем траншеи. Огромные ладони его были прижаты к бедрам, локти оттопырены, уши опущены,

грудь колесом, и от него, смешиваясь с запахом разрытой земли, исходила атмосфера свежести и прохлады.

— Молодец,— сказал Гаг негромко.

— Слуга его высочества, господин капрал! — гаркнул робот.

— Чего нам теперь еще не хватает?

— Банки бодрящего и соленой рыбки, господин капрал! Гаг ухмыльнулся.

— Да,— сказал он.— Я из тебя сделал солдата, из разгильдяя.

Он взялся за край траншеи и одним движением перебросил тело на траву, потом поднялся, отряхнул колени и еще раз осмотрел позицию. Да, позиция была на славу.

Солнце поднялось высоко, от росы не осталось и следа, луна бледным куском тающего сахара висела над западным горизонтом, над туманными очертаниями города-чудовища. Вокруг мириадами кузнечиков стрекотала степь, ровная, рыжеватая, на всем своем протяжении одинаковая и пустая, как океан. Однообразие ее нарушало лишь облачко зелени вдали, в котором краснела черепичная крыша Корнеева дома. Стремительная, напоенная пряными запахами степь вокруг, чистое серо-голубое небо над нею, а в центре — он, Гаг. И ему хорошо.

Хорошо, потому что все далеко. Далеко отсюда непостижимый Корней, бесконечно добрый, бесконечно терпеливый, снисходительный, внимательный, неуклонно, миллиметр за миллиметром вдавливающий в душу любовь к себе, и в то же время бесконечно опасный, словно бомба огромной силы, грозящая взорваться в самый неожиданный момент и разнести в клочья Вселенную Гага. Далеко отсюда лукавый дом, набитый невиданными и невозможными механизмами, невиданными и невозможными существами вперемешку с такими же, как Корней, людьми-ловушками, шумно кипящий беспорядочной деятельностью без всякой видимой разумной цели, а потому такой же непостижимый и отчаянно опасный для Вселенной Гага. Далеко отсюда весь этот лукавый обманный мир, где у людей есть все, чего они только могут пожелать, а потому желания их извращены, цели потусторонни, и средства уже ничем не напоминают человеческие. И еще хорошо, потому что здесь удается хоть ненадолго забыть о гложущей непосильной ответственности, обо всех этих задачах, которые ноют, как язва, в воспаленной душе — неотложные, необходимые и совершенно неразрешимые. А здесь — все так просто и легко...

— Ого! — произнес Корней. — Вот это да!

Гаг подскочил на месте и обернулся. Корней стоял по ту сторону траншеи, с веселым изумлением оглядывая позицию.

— Да ты фортификатор, — сказал он. — Что это у тебя такое?

Гаг помолчал, но деваться было некуда.

— Позиция, — неохотно буркнул он. — Для мортиры.

Корней был поражен.

— Для чего, для чего?

— Для мортиры.

— Гм... А где ты возьмешь мортиру?

Гаг молчал, глядя на него исподлобья.

— Ну ладно, это меня, в конце концов, не касается, — сказал Корней, подождав. — Извини, если помешал... Я тут получил кое-какие известия и поспешил, чтобы поделиться с тобой. Дело в том, что ваша война кончилась.

— Какая война? — тупо спросил Гаг.

— Ваша. Война герцогства Алайского с империей.

— Уже? — тихо проговорил Гаг. — Вы же говорили — четыре месяца.

Корней развел руки.

— Ну, извини, — сказал он. — Ошибся. Все мы ошиблись. Но это, знаешь ли, добрая ошибка. Согласись, что мы ошиблись в нужную сторону... Управились за месяц.

Гаг облизнул губы, поднял голову, снова опустил.

— Кто... — Он замолчал.

Корней ждал, спокойно глядя на него. Тогда Гаг снова поднял голову и, глядя прямо ему в глаза, сказал:

— Я хочу знать, кто победил.

Корней очень долго молчал, по лицу его ничего нельзя было разобрать. Гаг сел — не держали ноги. Рядом из траншеи торчала голова Драмбы. Гаг бессмысленно уставился на нее.

— Я ведь уже объяснял тебе, — сказал наконец Корней. — Никто не победил. Вернее, все победили.

Гаг прощедил сквозь зубы:

— Объясняли... Мало ли что вы мне объясняли. Я этого не понимаю. У кого осталось устье Тары? Это, может быть, вам все равно, у кого оно осталось, а нам не все равно!

Корней медленно покачал головой.

— Вам тоже все равно, — устало сказал он. — Армий там больше нет — только гражданское население...

— Ага! — сказал Гаг. — Значит, крысоедов оттуда выбили?

— Да нет же... — Корней страдальчески сморщился. — Армий вообще больше не существует, понимаешь? Из устья Тары никто никого не выбивал. Просто и алайцы, и имперцы побросали оружие и разошлись по домам.

— Это невозможно, — сказал Гаг спокойно. — Я не понимаю, зачем вы мне все это рассказываете, Корней. Я вам не верю. Я вообще не понимаю, чего вам от меня надо. Зачем вы меня здесь держите? Если я вам не нужен — отпустите. А если нужен — говорите прямо...

Корней закряхтел и с силой ударил себя по бедру.

— Значит, так, — сказал он. — Ничего нового по этой части я тебе сообщить не могу. Вижу, что тебе здесь не нравится. Знаю, что ты стремишься домой. Но тебе придется еще потерпеть. Сейчас у тебя на родине слишком тяжело. Разруха. Голод. Эпидемии. А сейчас еще и политическая неразбериха... Герцог, как и следовало ожидать, плонул на все и бежал, как последний трус. Бросил на произвол судьбы не только страну...

— Не говорите плохо о герцоге, — хрипло прорычал Гаг.

— Герцога больше нет, — холодно сказал Корней. — Герцог Алайский низложен. Впрочем, можешь утешиться: императору тоже не повезло.

Гаг криво ухмыльнулся и снова окаменел лицом.

— Пустите меня домой, — сказал он. — Вы не имеете права меня здесь держать. Я не военнопленный и не раб.

— Давай-ка так, — сказал Корней. — Давай не будем ссориться. Ты плохо себе представляешь, что там у вас делается. А там такие, как ты, сколотили банды, им все хочется поставить скелет на ноги, а этого, кроме них, никто уже не хочет. За ними охотятся, как за бешеными псами, и они обречены. Если тебя сейчас отправить домой, ты, конечно же, примкнешь к такой банде, и тогда тебе конец. И дело, между прочим, не только в тебе, дело еще и в тех людях, которых ты успеешь убить и замучить. Ты опасен. И для себя, и для других. Вот так, если откровенно.

Оказывается, Корней мог быть и таким. Перед Гагом стоял боец, и хватка у этого бойца была железная, и был он в самую точку. Ну что ж, за откровенность спасибо. Значит, теперь так и будем: ты мне сказал, но я тебе тоже сейчас скажу. Хватит строить из себя мальчика в штанишках. Надоело.

— Значит, боитесь, что я там буду опасен, — сказал Гаг. Он уже больше не мог и не хотел сдерживаться. — Что ж, воля ваша. Только смотрите, как бы я ЗДЕСЬ не стал опасен!

Они стояли по сторонам траншеи, лицом к лицу, и сначала Гаг торжествовал, что ему удалось вызвать это холодное свече-ение в обычно добрых до отвращения глазах великого лукавца, а потом вдруг с изумлением и негодованием обнаружил, что свече-ение это исчезло, и снова у него, сатаны, улыбочка, и глаза снова прищурились по-отечески, змеиное молоко! И вдруг Корней фыркнул, захохотал, поперхнулся, закашлялся, снова захохотал и закричал, разведя руки:

— Кот! Ну кот и кот! Дикий... Ду-умай! — сказал он Гагу и постучал себя по темени.— Думай! Мозгами шевелить надо! Неужели ты зря здесь пятую неделю торчишь?

Тогда Гаг резко повернулся и пошел в степь.

— Думай! — в последний раз донеслось до него.

Он шел, не глядя под ноги, проваливаясь в сурчные норы, спотыкаясь, царапая лодыжки колючками. Он ничего не видел и не слышал вокруг, перед глазами его стояло иссеченное морщинами землистое лицо с безмерно усталыми покрасневшими глазами, и в ушах звучал хрипловатый голос: «Сопляки! Мои верные, непобедимые сопляки!» И этот человек, последний родной человек, оставшийся в живых, сейчас где-то спасался, прятался, томился, а его гнали, охотились за ним, как за бешеным волком, вонючие орды обманутых, купленных, осатаневших от страха дикобразов. Чернь, сброд, отбросы — без чести, без славы, без совести... Вранье, вранье, не может этого быть! Лесные егеря, гвардия, десантники. Голубые Драконы... что, они тоже продались? Тоже бросили? Да ведь у них же ничего не было, кроме Него! Они ведь жили только для Него! Они умирали за Него! Нет, нет, ложь, чушь... Они взяли его в стальное кольцо, ощетинились штыками, стволами, огнеметами... это же лучшие бойцы в мире, они разгонят и раздавят взбесившуюся солдатню... О, как они будут их гнать, жечь, втаптывать в грязь... А я — я сижу здесь. Кот. Поганый щенок, а не Кот! Подобрали бедненького, залечили лапку, ленточкой украсили, а он знай себе машет хвостиком, молочко тепленькое лакает и все приговаривает «так точно» да «слушаюсь»...

Он споткнулся и упал всем телом в колючую сухую траву и остался лежать, закрыв голову от нестерпимого стыда. Но ведь один же! Один против всей этой машины! И ребята, друзья мои в этом лукавом аду, замолчали, который день не откликаются, ни строчки, ни буквы — может, их и в живых уже нет... а может, сдались? Неужели же я ничего не могу?

Он трясясь, как в лихорадке, под палиющим солнцем, в мозгу возникали, кружились, проносились совершенно невозможные, немыслимые способы борьбы, побега, освобождения... Весь ужас был в том, что Корней, конечно же, сказал правду. Недаром работала его машина, недаром съехались, сползлись, слетелись сюда все эти чудища с неведомых миров — сделали свое дело, разорили страну, загубили все лучшее, что в ней было, разоружили, обезглавили...

Он не услышал, как подошел Драмба, но потной спине под раскаленной рубашкой стало прохладно, когда тень робота упала на него, и ему стало легче. Все-таки он был не совсем один. Он еще долго лежал ничком, а солнце двигалось по небу, и Драмба бесшумно двигался возле, оберегая его от зноя. Потом он сел. Голые ноги были исполосованы колючками. На колено вспрыгнул кузнец, бессмысленно уставился зелеными капельками глаз. Гаг брезгливо смахнул его и замер, разглядывая руку. Костяшки пальцев были ободраны.

— Когда это я? — произнес он вслух.

— Не могу знать, — сейчас же откликнулся Драмба.

Гаг осмотрел другую руку. Тоже в крови. Землю-матушку, значит, молотил. Родительницу всех этих... ловкачей. Хорош Кот. Только истерики мне и не хватало. Он оглянулся в сторону дома. Зеленое облачко едва виднелось на горизонте.

— Много лишнего я сегодня наболтал, вот что... — сказал он медленно. — Дикобраз ты, а не Кот. Выдрать тебя некому. Угрожать вздумал, сопляк... То-то Корней закатился...

Он посмотрел на робота.

— Рядовой Драмба! Что делал Корней, когда я ушел?

— Приказал мне следовать за вами, господин капрал.

Гаг усмехнулся с горечью.

— А ты, конечно, подчинился... — Он поднялся, подошел к роботу вплотную. — Сколько тебя учить, дубина, — прошипел он яростно. — Кому ты подчиняешься? Кто твой непосредственный начальник?

— Капрал Гаг, Бойцовский Кот его высочества, — отчеканил Драмба.

— Так как же ты, дикобраз безмозглый, можешь подчиняться кому-то еще?

Драмба помедлил, потом сказал:

— Виноват, господин капрал.

— Э-эх... — произнес Гаг безнадежно. — Ладно, бери меня на плечи. Домой.



Дом встретил его непривычной тишиной. Дом был пуст. Улетели стервятники. На падаль. Гаг прежде всего искупался в бассейне, смыл кровь и пыль, тщательно причесался перед зеркалом и, переодевшись в свежее, решительно зашагал в столовую. К обеду он опоздал, Корней уже допивал свой сок. Он с нарочитым безразличием глянул на Гага и снова опустил взгляд в папку, лежащую перед ним. Гаг подошел к столу, кашлянул и проговорил стиснутым голосом:

— Я вел себя неправильно, Корней. (Корней кивнул, не поднимая глаз.) Я прошу у вас прощения.

Говорить было невыносимо трудно, язык едва ворочался. Пришлось остановиться на секунду и крепко стиснуть челюсти, чтобы привести себя в порядок.

— Конечно же, я... я буду все делать так, как вы приказываете. Я был неправ.

Корней вздохнул и отодвинул от себя папку.

Я принимаю твои извинения... — Он побарабанил пальцами по столу. — Да. Принимаю. Правда, к сожалению, я виноват больше тебя. Да ты садись, ешь...

Гаг сел, не сводя с него настороженного взгляда.

— Видишь ли, ты еще молод, тебе многое можно простить. Но я! — Корней потряс в воздухе растопыренными пальцами. — Старый дурень! Все-таки в моем возрасте и с моим опытом пора бы уже знать, что есть люди, которые могут выдержать удар судьбы, а есть люди, которые ломаются. Первым рассказывают правду, вторым рассказывают сказки. Так что ты тоже прости меня, Гаг. Давай-ка постараемся забыть эту историю. — И он снова взялся за свои бумаги.

Гаг ел какое-то месиво из мяса и овощей, не чувствуя ни вкуса, ни запаха, словно вату жевал. Уши его пылали. Чушь какая-то опять получалась. Больше всего хотелось заорать и ударить кулаком по столу. Хватит строить из меня щенка! Хватит! Меня ударами судьбы не сломишь, понятно? Мы не из ржавого железа!.. Надо же, как повернул, опять я кругом дурак... Гаг плеснул себе в стакан из оплетенной бутыли с кокосовым молоком. Вообще-то говоря, я и на самом деле дурак. Он со мной как с мужчиной, а я как баба. Вот и получается — щенок и дурак. Не хочу об этом думать. Не надо мне твоей правды, не надо мне твоих сказок. То есть за правду тебе, конечно, спасибо — я теперь хоть понял, что ждать больше нечего, что пора дело делать.

Корней поднялся, взял папку под мышку и ушел. Лицо

у него было удрученное. Гаг, жуя и прихлебывая, поглядел в сад. На песчаную дорожку из густой травы выбрался большой кот рыжей масти, в зубах у него трепыхалось что-то пернатое. Кот угрюмо повел дикими глазами вправо, влево и заструился к дому — должно быть, под крыльцо. Давай, давай, работай, брат-храбрец, подумал Гаг. Мне бы как-нибудь до вечера дотянуть, а там можно будет и делом заняться. Он вскочил, сбросил посуду в ляжок и, пройдя по дому на цыпочках, направился в тот самый коридор. Надписей не прибавилось. Друзья в аду молчали. Ладно. Значит, придется все-таки в одиночку. Драмба... Нет. На рядового Драмбу надежды плохи. Жалко, конечно. Солдат бесценный. Но веры ему настоящей нет. Лучше уж без него. Пусть только сделает то, что надо, а потом я его... откомандирую.

Он вернулся в свою комнату, лег на койку, заложил руки за голову.

— Рядовой Драмба! — позвал он.

Драмба вошел и остановился у двери.

— Продолжай, — приказал Гаг.

Драмба привычно загудел прямо с середины фразы:

— ...никакого другого выхода. Врач, однако, был против. Он аргументировал свой протест, во-первых, тем, что существо, не принадлежащее к бранчу гуманоидных сапиенсов, не может быть объектом контакта без посредника...

— Пропусти, — сонно сказал Гаг.

— Слушаюсь, господин капрал, — отозвался Драмба и, помолчав, продолжал, на этот раз — с начала фразы: — На контакт вышли: Эварист Козак, командир корабля, Фаина Каминска, старший ксенолог группы, ксенологи...

— Пропусти! — раздраженно сказал Гаг. — Что там было дальше?

Внутри Драмбы заурчало, и он принялся рассказывать, как в зоне контакта вспыхнул неожиданно пожар, контакт был прерван, из-за стены огня раздались вдруг выстрелы, штурман группы семи-гуманоид Кварр погиб, и тело его не было обнаружено, Эварист Козак, командир корабля, получил тяжелое проникающее ранение в область живота...

Гаг заснул.

Он проснулся словно от удара мокрым полотенцем по лицу: где-то рядом разговаривали по-алайски. Сердце колотилось как бешеное, трещала голова. Но это был не сон и не бред.

— ...Я обратил внимание на то, что большинство его работ

написано в Гигне,— говорил незнакомый ломающийся голос.— Может быть, это вам поможет?

— Гигна... — отозвался голос Корней.— Позволь. Где это?

— Это курортное местечко... западный берег Заггуты. Знаете, озеро такое...

— Знаю. Ты думаешь...

— По-видимому, он часто там работал... Жил, наверное, у какого-нибудь мецената...

Гаг бесшумно скатился с койки и подкрался к окну. На крыльце Корней разговаривал с каким-то парнем лет шестнадцати, худым, белобрысым, с большими бледными глазами, как у куклы,— явным и очевидным алайцем с юга. Гаг вцепился пальцами в подоконник.

— Это любопытно,— задумчиво сказал Корней. Он похлопал парня по плечу.— Это идея, ты молодчина, Данг. А наши разини прозевали...

— Его надо обязательно найти, Корней! — Парень прижал кулаки к узкой груди.— Вы же сами говорили, что даже ваши учёные заинтересовались, и теперь я понимаю — почему... Он на вашем уровне! Он даже выше кое в чем... Вы просто обязаны его найти!

Корней тяжело вздохнул.

— Мы сделаем все, что сможем, голубчик... но знал бы ты, как это трудно! Ты ведь представления не имеешь, что там у вас сейчас делается...

— Имею,— коротко сказал парень.

Они помолчали.

— Лучше бы вы меня там оставили, а его вытащили,— тихо проговорил парень, глядя в сторону.

— На тебя нам повезло наткнуться, а на него — нет,— так же тихо отозвался Корней. Он снова взял парня за плечо.— Мы сделаем все, что в наших силах.

Парень кивнул.

— Хорошо.

Корней снова вздохнул.

— Ну, ладно... Значит, ты прямо в Обнинск?

— Да.

— Тебе там больше понравится. По крайней мере, там у тебя будут квалифицированные собеседники. Не такие дремучие прагматики, как я.

Парень слабо улыбнулся, и они пожали друг другу руки — по-алайски, крест-накрест.

— Что ж, — сказал Корней. — Нуль-кабиной ты теперь пользоваться умеешь...

Они вдруг разом засмеялись, вспомнив, по-видимому, какую-то историю, связанную с нуль-кабиной.

— Да, — сказал парень. — Этому я научился... Умею... Но вы знаете, Корней, мы решили пробежаться до Антонова. Ребята обещали показать мне что-то в степи...

— А где они? — Корней огляделся.

— Сейчас подойдут, наверное. Мы условились, что я пойду вперед, а они меня нагонят... Вы идите, Корней, я и так вас задержал. Спасибо вам большое...

Они вдруг обнялись — Гаг даже вздрогнул от неожиданности, — а затем Корней слегка оттолкнул парня и быстро ушел в дом. Парень спустился с крыльца и пошел по дорожке, и тут Гаг увидел, что он сильно хромает, припадая на правую ногу. Эта нога у него была явно короче и тоньше левой.

Несколько секунд Гаг смотрел ему вслед, а потом рывком перебросил тело через подоконник, пал на четвереньки и сразу же нырнул в кусты. Он неслышно следил за этим Дангом, уже испытывая к нему безотчетную неприязнь, то брезгливое отвращение, которое он всегда чувствовал к людям увечным, ущербным и вообще бесполезным. Но этот Данг был алаец, причем, судя по имени и по выговору, — южный алаец, а значит, алаец первого сорта, и как бы там ни было, поговорить с ним было необходимо. Потому что это был все-таки шанс.

Гаг настиг его уже в степи, выждав момент, когда дом до самой крыши скрылся за деревьями.

— Эй, друг! — негромко позвал он по-алаиски.

Данг стремительно обернулся. Он даже пошатнулся на покалеченной ноге. Кукольные глаза его раскрылись еще шире, и он попятился. Все краски сбежали с его тощего лица.

— Ты кто такой? — пробормотал он. — Ты... этот... Бойцовский Кот?

— Да, — сказал Гаг. — Я — Бойцовский Кот. Меня зовут Гаг. С кем имею честь?

— Данг, — отозвался тот, помолчав. — Извини, я спешу...

Он повернулся и, хромая еще сильнее, чем раньше, пошел прочь прежней дорогой. Гаг нагнал его и схватил за руку повыше локтя.

— Подожди... Ты что, разговаривать не хочешь? — удивленно проговорил он. — Почему?

— Я спешу.

— Да брось ты, успеешь!.. Вот так картинка! Встретились в этом аду два алайца — и чтобы не поговорить? Что это с тобой? Одурел совсем, что ли?

Данг попытался высвободить руку, но куда там! Он был совсем хилый, этот недоносок из южан.

Гаг ничего не понимал.

— Слушай, друг... — начал он с наивозможной проникновенностью.

— В аду твои друзья! — сквозь зубы прощедил Данг, глядя на него с явной ненавистью.

От неожиданности Гаг выпустил его руку. На мгновение он даже потерял дар речи. В аду твои друзья. Твои друзья в аду... Твои друзья — в аду! Он даже задохнулся от бешенства и унижения.

— Ах ты... — сказал он. — Ах ты, продажная шкура! За давить, на куски разодрать тварюгушу...

— Сам ты барабанная шкура! — прошипел Данг сквозь зубы. — Палач недобитый, убийца.

Гаг, не размахиваясь, ударил его под ложечку, и, когда хиляк согнулся пополам, Гаг, не теряя драгоценного времени, с размаху ахнул кулаком по белобрысому затылку, подставив колено под лицо. Он стоял над ним, опустив руки, глядел, как он корчился, захлебываясь кровью, в сухой траве, и думал: вот тебе и союзничек, вот тебе и друг в аду.. Во рту у него была горечь, и ему хотелось плакать. Он присел на корточки, приподнял голову Данга и повернулся к себе его залитое кровью лицо

— Дрянь.. — прохрипел Данг и всхлипнул.— Палач... Даже сюда...

— Зачем это? — произнес сумрачный голос.

Гаг поднял глаза. Над ним стояли двое — какие-то незнакомые из местных, тоже совсем молодые Гаг осторожно опустил голову южанина на траву и поднялся.

— Зачем... — пробормотал он.— Откуда я знаю — зачем?

Он повернулся и пошел к дому.

Ломая кусты и топча клумбы, он напрямик прошел к крыльцу, поднялся к себе, упал ничком на койку и так пролежал до самого вечера. Корней звал его ужинать — он не пошел. Бубнили голоса в доме, слышалась музыка, потом стало тихо. Отругались воробыши, устраиваясь на ночь в зарослях плюща, завели бесконечные песни цикады, в комнате становилось все темнее и темнее. И когда стало совсем темно Гаг поднялся, поманил за собой Драмбу и прокрался в сад. Он

прошел в самый дальний угол сада, в густые заросли сирени, уселся там прямо на теплую траву и сказал негромко:

— Рядовой Драмба. Слушай внимательно мои вопросы. Вопрос первый. По металлу работать умеешь?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

За завтраком Корней не сказал со мной ни слова, даже не поглядел на меня. Будто меня за столом и нет вовсе. Я, натурально, поджался, жду, что будет, и на душе, надо сказать, гадостно донельзя. Все время то ли вымыться хочется, то ли сдохнуть вообще. Ну, поел я кое-как, поднялся к себе, натянул форму — не помогает. Броде бы даже еще хуже стало. Взял портрет ее высочества — выскользнул он у меня из рук, закатился под койку, я и искать не стал. Сел перед окошком, локти на подоконник поставил, гляжу в сад — ничего не вижу, ничего не хочу. Домой хочу. Просто домой, где все не так, как здесь. Что за судьба у меня собачья? Ничего ведь в жизни не видел. То есть видел, конечно, много, другому столько и не приснится, сколько я наяву видел, а вот радости — никакой. Стал вспоминать, как герцог меня табаком одарил, — бросил, не помогает. Вместо его лица все выплывает этот хиляк, тощая его физия, вся в кровище. А вместо его голоса — совсем другой голос, и он все повторяет: «Зачем это? Зачем это?» Откуда я знаю — зачем?

Потом вдруг распахнулась дверь, вошел Корней — как туча, глаза — молнии, — ни слова не говоря, швырнул мне чуть ли не в лицо пачку каких-то листов (это Корней-то! Швырнул!) и, опять ничего не сказав, повернулся и ушел. И дверью грохнул. Я чуть не завыл от тоски, инул эти листки ногой, по всей комнате они разлетелись. Стал снова в сад глядеть — черно перед глазами, не могу. Подобрал листок, что поближе, стал читать. Потом другой, потом третий... Потом собрал все, сложил по порядку, стал читать снова.

Это все были отчеты. Корнеевы люди, которые, как я понимаю, были заброшены к нам, работали там у нас: кто дворником, кто царикмахером, а кто и генералом. И вот они, значит, докладывали Корнею о своих наблюдениях. Чистая работа, ничего не скажешь. Профессионалы.

Ну, было там про этого парнишку, про Данга. Жил он, как и я, в столице и даже недалеко от меня, напротив зоопарка.

Отца у него убили еще во время первого Тарского инцидента. Он был ученый, ловил в устье Тары каких-то своих научных рыб, ну, там его ненароком и шлепнули. Остался он один с матерью. Как и я. Только мать его была интеллигентная и пошла в учительницы, музыку преподавала. А он, между прочим, сам тоже был парень с головой. Премии всякие в школе хватал, главным образом — по математике. У него способности были большие, вроде как у меня к технике, только больше. Когда началась эта война, он чуть ли не в самую первую бомбёжку попал под бомбу, ребра ему поломало, правую ногу навеки изуродовало.

И пока я, значит, брал Арихаду, подавлял бунты и ходил в десант в устье Тары, он круглосуточно лежал дома. Я не в укор ему говорю, он там намучился, может быть, еще больше меня: в ихний дом попало две бомбы, его газами отравило, дом весь потом выселили, остались они вдвоем с матерью в этой руине — не знаю уж, почему мать не захотела переезжать. И вот, значит, мать его каждый день уходила на работу, уже теперь не в музыкальную школу, а на патронный завод. Иногда на сутки уходила, иногда на двое. Оставит ему кое-какую еду, суп в ватник завернет, чтобы он мог дотянуться — сам он с постели почти что и не вставал — и уйдет. Ну вот она однажды ушла, да и не пришла. Неизвестно, что с нею сталося. Этот Данг совсем уже загибался, когда на него случайно вышел Корнеев разведчик. В общем, жуткая, конечно, история. Прямо посреди столицы погибал от голода и холода парень, причем большой математический талант, даже огромный, и всем на него было наплевать. Так бы и подох, как собака под забором, если б не этот тип. Ну, он раз к нему пришел, два пришел, еду ему носит. А парень возьми его и расколи! Тот только рот разинул. А Данг ему вроде ульти-матума: или вы меня отсюда к себе возьмете, в ваш мир то есть, или я повешусь. Вон, говорит, петелька висит, видите? Ну, Корней дал, конечно, распоряжение... Такая вот история.

Там еще много чего было. Было там и о герцоге, и об Одноглазом Лисе, и о господине фельдмаршале Брагге, обо всех там было. Как они политику делают, как они развлекаются в свободное время... Я то и дело читать бросал, ногти грыз, чтобы успокоиться. И об ее высочестве тоже было. Оказывается, гофмаршалом во дворце служил тоже человек Корнея, так что сомневаться не приходится. Это же не то что для меня материалы подбирались. Это ведь Корней их

из какого-то дела надергал, прямо с мясом выдирал. Ну, ладно.

Сложил я эти листики аккуратной стопочкой, подбросил, взесил на руке и опять по комнате пустил. Вообщем-то, если говорить честно, оставалось мне одно: пуля в лоб. Хребет они мне переломили, вот что. Добились своего. Весь мир в глазах перевернули вверх тормашками. Как жить — не знаю. Зачем жить — не понимаю. Как теперь Корнею в глаза смотреть — и вовсе не ведаю. Эх, думаю, разбегусь я сейчас по комнате, руки по швам и — в окошко, башкой вниз. И всему конец, хоть всего-то второй этаж. Но тут как раз приперся Драмба, требует очередной чертеж. Отвлек он меня. А когда ушел, стал я уже рассуждать поспокойнее. Целый час сидел, ногти грыз, а потом пошел и искупался. И странное вдруг у меня облегчение наступило. Словно какой-то пузырь болезненный у меня в душе надувался, надувался, а теперь вот лопнул. Словно я с какими-то долгами рассчитался. Словно я этим отчаянием своим какую-то вину перед кем-то искупил. Не знаю перед кем. И не знаю какую. И в голове у меня только одно: домой, ребята! По домам! Все мои долги, какие еще остались, — все они там, дома.

За обедом Корней мне говорит, не глядя, сурово, неприветливо:

- Прочитал?
- Да.
- Понял?
- Да.

На этом наш разговор и кончился.

После обеда заглянул я к Драмбе. Вкалывает мой рядовой вовсю, только стружка летит. Весь в ошилках, в горячем масле, руки так и ходят. Одно удовольствие было на него смотреть. Быстро у него это дело продвигалось — просто на диво. А мне теперь оставалось только одно: ждать.

Ну, ждать пришлось мне недолго, дня два. Когда машинка была готова, я ее сложил в мешок, отнес к прудам, собрал там и опробовал с молитвою. Ничего машинка, молотит. Плюется, но все-таки получилась она получше, чем у наших повстанцев, которые делали свои сморкалки вообще из обрезков водопроводных труб. Ну, вернулся я, сунул ее вместе с мешком в железный ящик. Готов.

И вот в тот же вечер (я уже спать нацеливался) открывается дверь, и стоит у меня на пороге эта женщина. Слава

богу, я еще не разделся — сидел на койке в форме и снимал сапоги. Правый снял, но только это за левый взялся, смотрю — она. Я ничего даже подумать не успел, только взглянул и, как был в одном сапоге, вскочил перед нею и вытянулся. Красивая она была, ребята, даже страшно — никогда я у нас таких не видел, да и не увижу, наверное, никогда.

— Простите, — говорит она, улыбаясь. — Я не знала, что здесь вы. Я ищу Корнея.

А я молчу, как болван деревянный, и только глазами ее ем, но почти ничего не вижу. Обалдел. Она обвела взглядом комнату, потом снова на меня посмотрела — пристально, внимательно, уже без улыбки, — ну, видит, что от меня толку добиться невозможно, кивнула и вышла, и дверь за собой тихонько прикрыла. И верите ли, ребята, мне показалось, что в комнате сразу стало темнее.

Долго я стоял вот так, в одном сапоге. Все мысли у меня спутались, ничегошеньки я не соображал. Не знаю уж, в чем тут дело: то ли освещение было какое-то особенное в ту минуту, а может быть, и сама эта минута была для меня особенной, но я потом полночи все крутился и не мог в себя прийти. Вспоминал, как она стояла, как глядела, что говорила. Сообразил, конечно, что она мне неправду сказала, что вовсе она не Корнея искала (нашла, где искать!), а зашла она сюда специально, на меня посмотреть.

Ну, это ладно. Другая мысль меня в тоску смертную вогнала: понял я, что довелось мне увидеть в эту минуту малую частичку настоящего большого мира этих людей. Корней ведь меня в этот мир не пustил, и правильно, наверное, сделал. Я бы в этом мире руки на себя наложил, потому что это невозможно: видеть такое ежеминутно и знать, что никогда ты таким, как они, не будешь и никогда у тебя такого, как у них, не будет, а ты среди них, как сказано в священной книге, есть и до конца дней своих останешься «безобразен, мерзок и затхл»... В общем, плохо я спал в эту ночь, ребята, можно сказать, что и вовсе не спал. А едва рассвело, я выбрался в сад и залег в кустах на обычном своем наблюдательном пункте. Захотелось мне увидеть ее еще раз, разобраться, понять, чем же она меня вчера так ударила. Ведь видел же я ее и раньше, из этих самых кустов и видел...

И вот когда они шли по дорожке к нуль-кабине, рядом, но не касаясь друг друга, я смотрел на нее и чуть не плакал. Ничего опять я в ней не видел. Ну, красивая женщина, спору

нет,— и всё. Вся она словно погасла. Словно из неё душу живую вынули. В синих глазах у неё была пустота, и около рта появились морщины.

Они прошли мимо меня молча, и только у самой кабинки она, остановившись, проговорила:

— Ты знаешь, у него глаза убийцы...

— Он и есть убийца,— тихо ответил Корней.— Профессионал...

— Бедный ты мой,— сказала она и погладила его ладонью по щеке.— Если бы только я могла с тобой остаться... но я права не могу. Мне здесь тошно...

Я не стал дальше слушать. Ведь это они про меня говорили. Прокрался я к себе в комнату, посмотрел в зеркало. Глаза как глаза. Не знаю, чего ей надо. А Корней правильно ей сказал: профессионал. Тут стесняться нечего. Чему меня научили, то я и умею... И я всю эту историю от себя отмел. У вас свое, у меня свое. Мое дело сейчас — ждать и дождаться.

Как я оставшиеся три дня провел — не знаю. Ел, спал, купался. Опять спал. С Корнеем мы почти не разговаривали. И не то чтобы он меня не простили за тот случай или всякое там, нет. Просто он занят был по горло. Теперь уж до последнего предела. Даже осунулся. Народ к нам снова зачастил, так и прут. Не поверите — дирижабль прилетел, целые сутки висел над садом, а к вечеру как посыпались из него, как посыпались... Но вот что удивительно — за все это время ни одного «призрака». Я уже давно заметил: «призраки» у них здесь прибывают либо поздним вечером, либо рано утром, не знаю уж почему. Так что днем я как в тумане был, ни на что внимания не обращал, а как солнце сидет, звезды высыпят, так я у окна с машинкой на коленях. А «призраков» нет, хоть ты лопни. Я жду, а их нет. Я уж, честно говоря, тревожиться начал. Что это, думаю, специально? И тут он все на сто лет вперед рассчитал?

За все это время только одно интересное событие и произошло. В последний день. Дрыхну это я перед ночной своей вахтой, и вдруг будит меня Корней.

— Что это ты среди бела дня завалился? — спрашивает он меня недовольно, но недовольство это, я вижу, какое-то не-настоящее.

— Жарко, — говорю. — Сморило.

Сморозил, конечно, спросонья. Как раз весь этот день дождик с самого утра моросил.

— Ох, распустил я тебя, — говорит он. — Ох, распустил. У меня руки не доходят, а ты пользуешься... Пойдем. Ты мне нужен.

Вот это номер, думаю. Понадобился. Ну, конечно, вскаиваю, постель привел в порядок, берусь за сандалии, и тут он мне преподносит.

— Нет, — говорит. — Это оставь. Надень форму. И оправься как следует... причешись. Вахлак вахлаком, смотреть стыдно...

Ну, ребята, думаю, моря горят, леса текут, мышка в камне утонула. Форму ему. И разобраво меня любопытство. Облачаюсь, затягиваюсь до упора, причесался. Каблуками щелкнул. Слуга вашего превосходительства. Он осмотрел меня с головы до ног, усмехнулся чему-то, и пошли мы через весь дом к нему в кабинет. Он входит первым, отступает на шаг в сторону и четко по-алайски произносит:

— Разрешите, господин старший бронемастер, представить вам. Бойцовый Кот его высочества, курсант третьего курса Особой столичной школы Гаг.

Гляжу — и в глазах у меня потемнение, а в ногах дрожание. Прямо передо мной, как привидение, сидит, развались в кресле, офицер-бронеходчик. Голубой Дракон, «Огонь на колесах» в натуральную величину, в походной форме при всех знаках различия. Сидит, нога на ногу, ботинки сияют, шипами оскалились, коричневая кожаная куртка с подпалинами, с плеча свисает голубой шнур — тот еще волк, значит... и морда, как у волка, горелая пересаженная кожа лоснится, голова бритая наголо, с коричневыми пятнами от ожогов, глаза, как смотровые щели, без ресниц... Ладони у меня, ребята, сами собой уперлись в бедра, а каблуки так щелкнули, как никогда еще здесь не щелкали.

— Вольно, курсант, — произносит он сиплым голосом, берет из пепельницы сигаретку и затягивается, не отрывая от меня своих смотровых щелей.

Я опустил руки.



— Несколько вопросов, курсант, — сказал он и положил сигарку обратно на край пепельницы.

— Слушаю вас, господин старший бронемастер!

Это не я говорю, это мой рот сам собой отбарабанивает. А я в это время думаю: что же это такое, ребята? Что же это происходит? Ничего не соображаю.

А он говорит, невнятно так, сглатывая слова, я эту ихнюю манеру знаю:

— Слышал, что его высочество удостоил тебя... а-а... же-вательным табаком из собственной руки.

— Так точно, господин старший бронемастер!

— Это за какие же... а-а... подвиги?

— Удостоен как представитель курса после взятия Арихады, господин старший бронемастер!

Лицо у него равнодушное, мертвое. Что ему Арихада? Опять взял сигарку, осмотрел тлеющий кончик, вернул в пепельницу.

— Значит, был удостоен... Раз так, значит... а-а... нес впоследствии караульную службу в ставке его высочества...

— Неделю, господин старший бронемастер, — сказал мой рот, а голова моя подумала: ну, чего пристал? Чего тебе от меня надо?

Он вдруг весь подался вперед.

— Маршала Нагон-Гига в ставке видел?

— Так точно, видел, господин старший бронемастер!

Змеиное молюк! Экий барин горелый выискался! Я с самим генералом Фраггой разговаривал, не тебе чета, и тот со второго моего ответа позволил и приказал: без званий. А этому, видно, как музыка: «Господин старший бронемастер». Новоизобретенный, что ли? А может, из холопов, выслуживался... опомниться не может.

— Если бы сейчас маршала встретил, узнал бы его?

Ну и вопросик! Маршал — он был такой низенький, грузный, глаза у него все слезились. Но это от насморка. Если бы



у него глаза не было или, скажем, уха... а так — маршал как маршал. Ничего особенного. В ставке их много, Фрагга был еще из боевых...

— Не могу знать, — сказал я.

Он снова откинулся на спинку кресла и снова взялся за сигарку. Не нравилась ему эта сигарка. Он ее больше в руках держал да обнюхивал, чем затягивался. Ну и не курил бы... вон бычок какой здоровенный, а я мох курю...

Он подобрал под себя свои голенастые ноги, поднялся, прошел к окну и стал спиной ко мне со своей сигаркой — только голубой дымок поднимается из-за плеча. Думает. Мыслитель.

— Ну, хорошо, — говорит, совсем уже невнятно, и получается у него «нухшо». — А нет ли у тебя... а-а... курсант, старшего брата у нас в Голубых бронеходцах?

Даже морду не повернул. Так, ухо немножко в мою сторону преклонил. А у меня, между прочим, три брата было... могли бы быть, да все в грудном возрасте померли. И такая меня злоба вдруг взяла, на все вместе разом.

— Какие у меня, змеиное молоко, братья? — говорю. — Откуда у нас братья? Мы сами-то еле живы...

Он мигом ко мне повернулся, словно его шилом ткнули. Уставился. Ну чисто бронеход! А я вроде бы в окопе сижу... У меня по старой памяти кожа на спине съежилась, а потом думаю: идите вы все с вашими взорами, тоже мне — старший бронемастер драной армии... Сам небось драпал, все бросил, аж сюда додрапал, от своих же небось солдат спасался... И отставляю я нагло правую ногу, а руки завожу за спину и гляжу ему прямо в смотровые щели.

Полминуты он, наверное, молчал, а потом просипел:

— Как стоишь, курсант?

Я хотел сплюнуть, но удержался, конечно, и говорю:

— А что? Стою как стою, с ног не падаю.

И тут он двинулся на меня через всю комнату. Медленно, страшно. И не знаю я, чем бы это все кончилось, но тут Корней из своего угла, где он все это время сидел с бумажками, подает вдруг голос:

— Бронемастер, друг мой, полегче... не заезжайте...

И всё. По опаленной морде прошла какая-то судорога, и господин старший бронемастер, не дойдя до меня, свернулся к своему креслу. Готов. Скис Голубой Дракон. Это тебе не комендатура. И ухмыльнулся я всем своим одеревенелым лицом как только мог нагло. А сам думаю: ну, а если бы

Корней не было? Вышел бы Корней на минуту? Ударил бы он меня, и я бы его убил. Точно, убил бы. Руками.

Он повалился в свое кресло, придавил наконец в цепельнице эту сигарку и говорит Корнею:

— Все-таки у вас здесь очень жарко, господин Корней... Я бы не отказался от чего-нибудь... а-а... освежающего.

— Соку? — предлагает Корней.

— Соку? А-а... нет. Если можно, чего-нибудь покрепче

— Вина?

— Да, пожалуйста.

На меня он больше не смотрит. Игнорирует. Берет у Корнея бокал и запускает в него свой обгорелый нос. Сосет. А я обалдел. То есть как это? Нет, конечно, всякое бывает... тем более разгром... разложение... Да нет! Это же Голубой Дракон! Настоящий! И вдруг у меня как пелена с глаз упала. Шнурок... вино... Змеиное молоко, да это же все липа! Корней говорит:

— Ты не вышьешь, Гаг?

— Нет, — говорю. — Не выпью. И сам не выпью, и этому не советую... господину старшему бронемастеру.

И такое меня... веселье злое разобрало, я чуть не расхочтался. Они оба на меня вылупились. А я подошел к этому горелому барину, отобрал у него бокал и говорю — мягко так, отечески поучаю:

— Голубые Драконы, — говорю, — вина не пьют. Они вообще спиртного не пьют. У них, господин старший бронемастер, зарок: ни капли спиртного, пока хоть одна полосатая крыса оскверняет своим дыханием атмосферу Вселенной. Это раз. А теперь шнурочек... — Берусь я за этот знак боевой доблести, отстегиваю от пуговицы куртки и аккуратненько пускаю его вдоль рукава. — Шнурок доблести только по уставу вам положено пристегивать к третьей пуговице сверху. Никакой настоящий Дракон его не пристегивает. На гауптвахтах сидят, но не пристегивают. Это, значит, два.

Ах, какое я наслаждение испытывал. Как мне было легко и прекрасно! Оглядел я еще раз их, как они меня слушают, будто я сам пророк Гагура, вещающий из ямы истину господню, да и попел себе на выход. На пороге я остановился и напоследок добавил:

— А при разговоре с младшим по чину, господин старший бронемастер, не велите себя все время величать полным титулом. Ошибки здесь большой, конечно, нет, только уважать вас не будут. Это не фронтовик, скажут, это тыловая крыса

в форме фронтовика. И лицо обгорелое вам не поможет. Мало ли где люди обгорают...

И пошел. Сел у окошка, ручки на коленях сложил — хорошо мне так, спокойно, как будто я большое дело сделал. Сижу, перебираю в голове, как все это было. Как Корней сначала только глазами хлопал, а потом подобрался весь, каждое мое слово ловил, шею вытянув, а у этого фальшивого бронемастера даже варежка открылась от внимания... Но, конечно, я недолго так себя тешил, потому что очень скоро пришло мне в голову, что на самом-то деле получилась какая-то чушь, получилось, что они засылают к нам шпиона, а я этому помогаю. Консультирую, значит. Как последняя купленная дрянь. Обрадовался, дурак! Разоблачил! Взяли бы его там, поставили бы к стенке, и делу конец... Какому делу? Не-ет, это все не так просто. Я ведь почему завелся? Меня этот Дракон завел. Мне ж на него смотреть тошно было. Раньше небось не топнило, раньше пал бы я перед ним на колени, перед братом-храбрецом, сапоги бы ему чистил с гордостью, хвастался бы потом... Знаешь, я кому сапоги чистил? Старшему бронемастеру! Со шнуром!.. Нет-нет, разобраться надо.

Сидел я аж до самых сумерек и все разбирался, а потом пришел Корней, руку мне положил на плечо, прямо как тому... Дангу.

— Ну, — говорит, — дружище, спасибо тебе. Я так и чувствовал, что ты что-нибудь заметишь. Понимаешь, мы его в большой спешке готовили... Человека одного спасти надо. Большого вашего ученого. Есть подозрение, что он скрывается на западном берегу озера Заггута, а там сейчас бронечасть окопалась, и никому туда проходу нет. Только своих принимают. Так что считай: ты сегодня двух человек спас. Двух хороших людей. Одного вашего и одного нашего.

Ладно. Много он мне еще всякого наговорил. Прямо медом по сердцу. Я уж не знал, куда глаза девать, потому что, когда я их, значит, консультировал, у меня, натурально, и в мыслях не было кого-нибудь спасать. Просто от злорадства...

— Когда же он отывает? — спрашиваю. Просто так спросил — поток Корнеева красноречия немножко притормозить.

— Утром, — отвечает. — В пять утра.

И тут до меня дошло. Эге, думаю. Вот и дождался.

— Отсюда? — спрашиваю. Уже не просто так.

— Да, — отвечает он. — С этой поляны.

Так.

— Угу, — говорю. — Надо бы мне его проводить, посмотреть напоследок. Может, еще чего замечу...

Корней засмеялся, снова потрепал меня по плечу.

— Как хочешь, — говорит. — Но лучше бы тебе поспать. Ты что-то последнее время совсем от режима отился. Пойдем ужинать, и ложись-ка ты спать.

Ну, пошли мы ужинать. За ужином Корней был веселый, давно я его таким не видел. Рассказывал разные смешные истории из тех времен, когда работал он у нас в столице курьером в одном банке, как его гангстеры вербовали и что из этого вышло. Спросил он меня, где Драмба, почему его последние дни не видно. Я ему по-честному сказал, что Драмба у меня строит укрепрайон около прудов.

— Укрепрайон — это хорошо, — говорит он серьезно. — Значит, в крайнем случае будет где отсидеться. Погоди, я освобожусь, мы еще настоящую военную игру устроим, все равно ребят нужно будет тренировать...

Ну, поговорили мы про муштровку, про маневры; я смотрю, какой он ласковый да приветливый, а сам думаю: попросить его, что ли, еще разок? Добром. Отпусти, мол, меня домой, а? Нет, не отпустит. Он меня до тех пор не отпустит, пока точно не убедится, что я безопасен. А как его убедить, что я уже и так безопасен, когда я и сам не знаю этого?..

Расстались мы. Пожелал он мне спокойного сна, и пошел я к себе. Спать я, конечно, не стал. Так, прилег немножко, подремал вполглаза. А в три часа уже поднялся, стал готовиться. Готовился я так, как ни в какой поиск никогда еще не готовился. Жизнь моя должна была решиться этим утром, ребята. В четыре часа я уже был в саду и сидел в засаде. Время, как всегда в таких случаях, еле ползло. Но я был совершенно спокоен. Я просто знал, что должен эту игру выиграть и что по-другому быть просто не может. А время... Что ж, медленно там или быстро, а оно всегда проходит.

Ровно в пять, только роса выпала, раздалось у меня над самым ухом знакомое хриплое мяуканье, ударило по кустам горячим ветром, зажегся над поляной первый огонь, и вот — он уже стоит. Рядом. Так близко я его еще никогда не видел. Огромный, теплый, живой, и бока у него, оказывается, вроде бы даже шерстью покрыты, и заметно шевелятся, пульсируют, дышат... Черт знает, что за машина. Не бывает таких машин.

Я переменил позицию, чтобы быть поближе к дорожке. Смотрю — идут. Впереди мой Голубой Дракон, шнурок у него

болтается как положено, в руке стек, это они хорошо додумались: у них ведь если шнурок заслужил, то обязательно и стек, я и сам об этом позабыл. В порядке мой Дракон. Корней шагает за ним следом, и оба они молчат — видно, все уже сказано, остается только руки пожать или, как у них здесь принято, обняться и на дорогу благословить. Я подождал, пока подошли они к «призраку» вплотную, чвакнул, раскрываясь, люк, — и тут я вышел из кустов и наставил на них свою машинку.

— Стоять не шевелясь!

Они разом повернулись ко мне и застыли. Я стоял на полусогнутых, приподняв ствол автомата, — это на тот случай, если кто-нибудь из них вдруг прыгнет на меня через все десять метров, которые нас разделяют, и тогда я встречу его в воздухе.

— Я хочу домой, Корней, — сказал я. — И вы меня сейчас туда заберете. Без всяких разговоров и без всяких отсрочек...

В рассветных сумерках лица их были очень спокойны. И краем сознания я отметил, что Корней остался Корнеем, а Голубой Дракон остался Голубым Драконом, и оба они были опасны. Ох, как они были опасны!

— Или мы туда отправимся вместе, — сказал я, — или туда не отправится никто. Я вас тут обоих положу и сам лягу.

Сказал и замолчал. Жду. Нечего мне больше сказать. Они тоже молчат. Потом Голубой Дракон чуть поворачивает голову к Корнею и говорит:

— Этот мальчишка... а-а... совершенно забылся. Может быть, мне взять его с собой? Мне же нужен... а-а... денщик.

— Он не годится в денщики, — сказал Корней, и на лице его ни с того ни с сего вдруг появилось то самое выражение предсмертной тоски: как в госпитале.

Я даже растерялся.

— Мне надо домой! — сказал я. Будто прощения просил.

Но Корней уже был прежним.

— Кот, — сказал он. — Эх, ты, котяра... гроза мышей!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Гаг продрался через последние заросли и вышел к дороге. Он оглянулся. Ничего уже нельзя было разобрать за путаницей гнилых ветвей. Лил проливной дождь. Смрадом несло из кювета, где в глиняной жиже кисли кучи какого-то зловещего



черного тряпья. Шагах в двадцати, на той стороне дороги, торчал, завалившись бортом в трясину, обгорелый бронеход — медный ствол огнемета нелепо целился в низкие тучи. Гаг перепрыгнул через кювет и по обочине зашагал к городу. Дороги как таковой не было. Была река жидкой глины, и по этой жиже навстречу, из города, поминутно увязая, тащились запряженные изнемогающими волами расхлябанные телеги на огромных деревянных колесах, и закутанные до глаз женщины, поминутно оскальзываясь, плача и скверно ругаясь, неистово молотили волов по ребристым бокам, а на телегах, погребенные среди мокрых узлов, среди торчащих ножками стульев и столов, жались друг к другу бледные золотушные ребятишки, как обезьяны под дождем, — их было много, десятки на каждой телеге, и не было в этом плачевном обозе ни одного мужчины...

На сапогах уже налипло по пуду грязи, дождь пропитал куртку, лил за воротник, струился по лицу. Гаг шагал и шагал, а навстречу тянулись беженцы, сгибались под мокрыми тюками и ободранными чемоданами, толкали перед собой тележки с жалкой поклажей, молча, выбиваясь из последних сил, давно, без остановок. И какой-то старик со сломанным костылем на коленях сидел прямо в грязи и монотонно повторял без всякой надежды: «Возьмите ради бога... Возьмите ради бога...» И на покосившемся телеграфном столбе висел какой-то чернолицый человек со скрученными за спиной руками...

Он был дома.

Он миновал застрявший в грязи военный санитарный автомобургон. Водитель в грязном солдатском балахоне, в засаленной шапке блином, приоткрыв дверцу, надсадно орал что-то неслышное за ревом двигателя, а у заднего борта в струях грязи, летящих из-под буксующих колес, беспрестанно и беспомощно суетились маленький военврач с бакенбардами и молоденькая женщина в форме, видимо медсестра. Проходя мимо, Гаг мельком подумал, что только этот автомобиль направляется в город навстречу общему потоку, да и он вот застрял...

— Молодой человек! — услышал он. — Стойте! Я вам приказываю!

Он остановился и повернул голову. Военврач, оскальзываясь, нелепо размахивая руками, бежал к нему, а следом кабаном пер водитель, совершенно озверелый, красно-лиловый, квадратный, с прижатыми к бокам огромными кулаками.

— Немедленно извольте нам помочь! — фальцетом закричал врач, подбегая. Весь он был залит коричневой жижей,

и непонятно было, что он мог видеть сквозь заляпанное пенсне.— Немедленно! Я не позволяю вам отказываться!

Гаг молча смотрел на него.

— Поймите, там чума! — кричал врач, тыча грязной рукой в сторону города.— Я везу сыворотку! Почему никто не хочет мне помочь?

Что в нем было? Старенький, немощный, грязный... А Гаг почему-то вдруг увидел перед собой залитые солнцем комнаты, огромных, красивых, чистых людей в комбинезонах и пестрых рубашках и как вспыхивают огни «призраков» над круглой поляной... Это было словно наваждение.

— Р-разговаривать с ним, с заразой! — прохрипел водитель, отодвигая врача. Страшно сопя, он ухватил автомат за ствол, выдернул его у Гага из-под мышки и с хрюканьем зашинырнул в лес.— Вырядился, супчик, змеиное молоко... А ну!

Он с размаху влепил Гагу затрещину, и доктор сразу же закричал:

— Прекратите! Немедленно прекратите!

Гаг покачнулся, но устоял. Он даже не взглянул на водителя. Он все глядел на врача и медленно стирал с лица след удара. А врач уже тащил его за рукав.

— Прошу вас, прошу...— бормотал он.— У меня двадцать тысяч ампул. Прошу вас понять... Двадцать тысяч! Сегодня еще не поздно...

Да нет, это был алаец. Обыкновенный алаец-южанин... Наваждение. Они подошли к машине. Водитель, бурча и клюкоча, полез в кабину, гаркнул оттуда: «Давай!» — и сейчас же заревел двигатель, и Гаг, встав между девушкой и врачом, изо всех сил уперся плечом в борт, воняющий мокрым железом. Завывал двигатель, грязь летела фонтаном, а он все нажимал, толкал, давил и думал: «Дома. Дома...»



С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ

<i>История первая. СУЕТА ВОКРУГ ДИ- ВАНА</i>	5
<i>История вторая. СУЕТА СУЕТ</i>	71
<i>История третья. ВСЯЧЕСКАЯ СУЕТА</i>	151
<i>КРАТКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ И КОММЕН- ТАРИЙ</i>	215
ПАРЕНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ	225

Для среднего и старшего возраста

Аркадий Натанович Стругацкий
Борис Натанович Стругацкий

ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ

Фантастические повести

ИБ № 872

Ответственный редактор М. А. Зарецкая
Художественный редактор Л. Д. Вирюков
Технический редактор Н. Г. Мохова
Корректоры Л. А. Рогова и Н. Г. Худякова

*

Сдано в набор 1.02.78. Подписано к печати 11.03.79. Формат
60×84¹/₁₆. Бум. тип. № 2. Шрифт обычнов. Печать влас. Усл.
печ. л. 18,6. Уч.-изд. л. 18,56. Тираж 75 000 экз. Заказ № 1945.
Цена 70 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство
«Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.
Набор изготавлен автоматизированной системой «Союз» на
ЭВМ Минск-32.

Печатать с диапозитивов Калининского полиграфкомбината детской
литературы на ордена Трудового Красного Знамени фабрике
«Детская книга» № 1 Росгравиополиграфпрома Государственного
комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной
торговли. Москва, Сущевский вал 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

70 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

ПОЧЕРЧЕННИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ

Л. Старухин
Б. Старухин